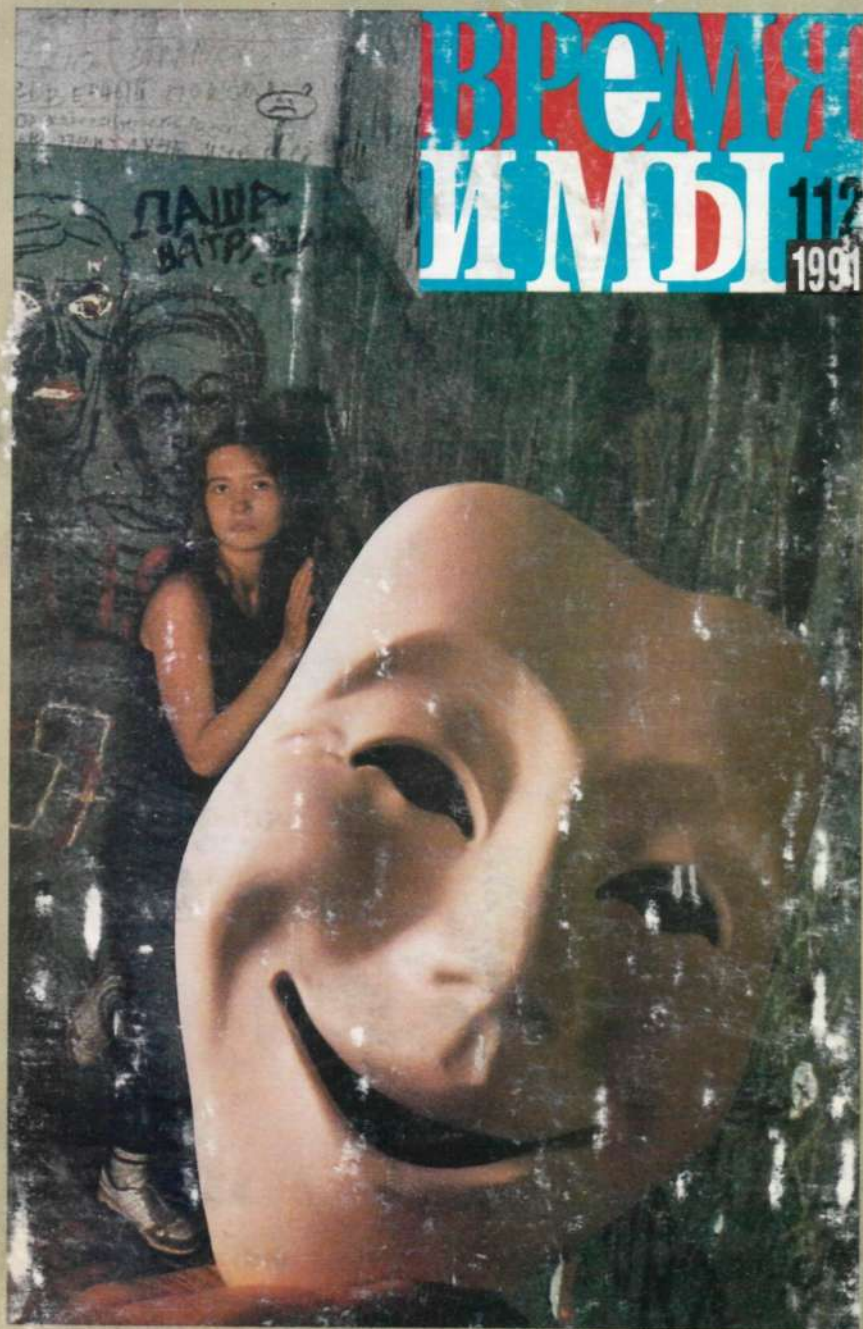


**ВРЕМЯ
ИМБИ** 112
1991



В:КТОР ПЕРЕЛЬМАН
ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Семнадцатый год издания

**Выходит один раз
в три месяца**

112
1991

НЬЮ-ЙОРК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1991

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ВАГРИЧ БАХЧАНЫН	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК	

Представитель журнала в Москве
Андрей Колесников
Москва, 121433
Малая Филевская ул., д. 54, кв. 4
Тел. 146-36-16

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине
Mariama Shmargon, Shlobstr. 30/30
1000 Berlin (West) 19

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Грехопадение Цезаря. Главы из романа.....5

ПОЭЗИЯ

Юрий АЙХЕНВАЛЬД
Всё — в никуда из ниоткуда.....118
Петр ВЕГИН
Блюзы для Бога.....125
Григорий МАРК
Завоеватели.....131

ПУБЛИЦИСТИКА. ПОЛИТИКА. КРИТИКА

Корал БЕЛЛ
К новому мировому порядку: СССР и НАТО —
«братья навек».....136
Лев НАВРОЗОВ
Галлюцинирующий Запад.....155
Ирина МУРАВЬЕВА
Чтобы гласность заменилась правдой.....170
Зара АБДУЛЛАЕВА
Мессия в зоне.....179
Б. КОНСТРИКТОР
Дышала ночь восторгом самиздата.....197

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

София ХЕНТОВА
Женщины в жизни Шостаковича.....217

ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»
Лиля ПАНН
Разговор о Василии Ситникове.....280

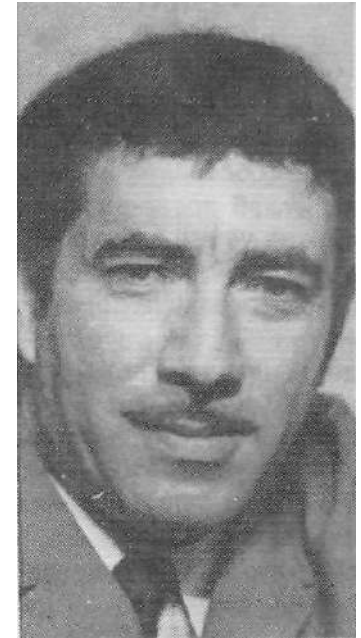
ПРОЗА

«Не в сифилитическую больницу я водил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее».

*Л. Н. Толстой
«Крейцерова соната»*

«Большинство авторов пишут из неприязни к окружающему миру. Я пишу из нелюбви к себе. В этом источник моего творческого вдохновения — выворачивать перед миром собственную изнанку. Кажется, в планетарном масштабе этим сегодня занимается Россия. Я действую на уровне души — безо всякой, впрочем, осмысленной задачи: просто, подобно герою Кафки, засовываю душу в машину для экзекуций и, наблюдая себя, испытываю наслаждение. Род мазохизма? Меня не интересуют дефиниции, меня волнует процесс».

*Аркадий Кролчер
«Грехопадение Цезаря».*



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Главы из романа

Врачам... Джерси... Сити... госпиталя...
Каждому, кто... будет... иметь... отношение
к... настоящему... делу...

Я, Кролчер... Аркадий... Ноевич... автор... романа... «Грехопадение Цезаря»... прошу... передать... текст... Федеральному... Бюро... Расследования... Крайне важно... интересах... национальной... безопасности...

Жизнь... известного... писателя-эмигранта... Реальное лицо... Гремел... печати... «Нью-Йорк таймса» до израильской... «Хамишмар». Из-за... тяжести... груди... не могу изложить... содержания... Двойной... агент КГБ и ЦРУ... Завербован... в Московск... кафе «Националь»... назы... ваемом... в узком кругу «Эпицентром»... Бешеный... успех... у женщин... Нафиксатуренные... усики. Эмигрировал в... США... Якобы... жертва... нового... процесса... Бейлиса... Выступал... по радио... «Свобод...»

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© «Время и Мы»

ISSN 0737-7061

... внушал... мысль о... психической... неполноценности... русских... чтобы... преуменьшить... советскую опасность... Издавал... собственн... журнал... Пытался... проникнуть... на Уолл-стрит... В последнюю минуту... ускользнул в Москву... Видели... на улице... Горького... с валютной... проституткой... Сейчас... возможно... снова... в Америке... Располагаю... дневником... Показания друзей... Тяжесть груди... не... могу... продолжать... Текст... в ФБР... Сразу... после... летальн... ого... исхода... Кинжаль... ная... боль... Инфаркт... Возможно... несколько мин... жизни... Сроч...но... опубликовать... Весь... роман... интересах... безопасности...

Р. С. Разыскать... моего... сына... Чекмарева Ив... 1970 года рождения... Другой женщины... Чекмаревой Эльвиры... Отбывает... за убийство... одном из мест закл... чения... Кировск... области... Передать сыну... гонорар... Записано... на компьютерных дискетах... подвале моего дома Джерси-сити... Гаррисон авеню, 298...

15 декабря 1989 года... два часа... полночи. Нотариусом... не заверено... Не было возм... пригласить... поздний час...

ГЛАВА 1

Начну с события, которое, боюсь, вы воспримете как скверный анекдот. Позже станет ясно, отчего я начал именно с этого курьеза, который в конце концов подведет к пропасти моего героя. А пока, как в милицейском протоколе, факты и только факты. Итак, случилось это в хорошо известном жителям столицы Козицком переулке, соединяющем Пушкинскую и улицу Горького, — на углу со стороны Горького расположен знаменитый Елисеевский магазин, или просто Елисеевский, что для уха москвичей куда привычнее.

По ходу уточню, что местом происшествия был третий дом по другую сторону от Елисеевского, точнее последний этаж этого дома, известного в нашем микрорайоне как Большая Бахрушенка и еще тем, что на первом этаже Бахрушенки располагался вендиспансер Свердловского района, над входом сюда круглосуточно горел красный фонарь. Вендиспансер, впрочем, упомянут лишь для достоверности повествования, а никак не для придания ему дополнительного интереса, в чем мое произведение вовсе не нуждается.

Вслед за местом события обозначим дату — 6 ноября 197... года, одиннадцать часов вечера, когда в Большом театре уже закончилось торжественное заседание, посвященное очередной годовщине Великого Октября, и в разгаре был транслируемый из Большого театра праздничный концерт. Дата эта имеет уже прямое отношение к дальнейшему, ибо кто помнит те далекие времена, тот знает, что существовал тогда прекрасный хоть и неписанный закон — выдавать накануне праздника трудящимся столицы полагавшееся им жалование.

Если бы не упомянутый неписанный закон, Цезарю наверняка бы не позвонили из издательства и не велели приходить за гонораром, а не будь гонорара, он не появился бы на улице Горького и не познакомился бы с ученицей 9 класса 635 вечерней школы Надеждой Купцовой и не было бы всего дальнейшего, о чем я даже в затруднении рассказывать в силу абсолютной идиотичности происшедшего. Даже если в этом месте и последует информация, что вечер закончился актом прелюбодеяния, совершенным членом Союза писателей Цезарем Семеновичем Семеновым, то никакого света эта информация для вас не прольет.

Позже мой герой и сам не мог себе объяснить, какая сила заставила его увязаться за Надеждой Купцовой, потом вернуться с ней в ресторан «Охотник». Не мог объяснить и того, зачем напился с Купцовой и при этом, совершенно уже навеселе, стал в ресторане всячески вольничать и рассказывать, какой он знаменитый на всю страну писатель. В ответ на что она с интересом посмотрела на него: «Цезарь, а вы не еврей? Да я чё, я ничё! Просто моя мамаша вашу нацию недолюбливает!».

Все дальнейшее и вовсе выглядит нелогичным. Потому я просто опускаю, как он оказался в подъезде Большой Бахрушенки, где жила Купцова, и как, стоя на лестничной площадке, стал выделять еще большие вольности, которые в трезвом состоянии никогда бы себе не позволил. Но и это, может быть, так и потонуло бы в ночном мраке Большой Бахрушенки, если бы Цезарь не увлекся и в тишину лестничной площадки не ворвался не по-девичьи низкий голос Купцовой: «Цезарь, что вы наделали!». И если бы этот голос не был услышан соседкой Купцовых по этажу Августой Васильевной Колгушкиной.

С этого курьеза и начинается совершенно фантастическая история, коей я был непосредственный свидетель, и к тому же

был я житель микрорайона, где все произошло.

Но прежде о главном герое, который из-за моего странно-го начала может быть принят не за того, кем на самом деле он был. Или, по крайней мере, слыл в нашем микрорайоне, протянувшемся от площади Пушкина до Манежа и имевшем в качестве эпицентра знаменитое в столице кафе «Националы».

Вы можете заметить, что расположенное на границе микрорайона кафе «Националь» геометрически никак не могло быть его центром. Но когда бомонд микрорайона здесь собирался, он вряд ли считался с геометрией. Бомонд собирался в центре Москвы, в центре мира, и никаких логических объяснений на этот счет не требовалось. Впрочем, слово «эпицентр» употреблено и по семантическим основаниям, ибо в разговорах меж собой кафе это ласкательно именовали «эпиком» («Где завтра встречаемся?» — «В «эпике», где же еще!») и вносили в это слово особый эзотерический смысл — «эпик», «эпикур», «эли-та», «эпикурейцы». «Эпикурейцами» их называли и в нашем Свердловском райкоме — в том случае, когда хотели избежать малоприятного слова «тунеядцы»: эпикурейцы звучало и элегантнее и острее.

Мне бы следовало сказать о внешности моего героя, да, признаться, опасаясь впасть в банальность. Дело в том, что самой выдающейся чертой в облике Цезаря были его усики, за которые жена звала его дома Коташей, но они-то в моих глазах и есть запрещенный прием. Ибо прием этот использовался на протяжении всей нашей литературы, включая даже Льва Толстого, наделившего такими «нафиксатуаренными» усиками отпетого мерзавца и героя-любownika из «Крейцеровой сонаты», по фамилии Трухачевский.

К «Крейцеровой сонате» я еще вернусь, но пока замечу, что усики еще не есть характер, а только деталь портрета. И в отличие от «поганенького» Трухачевского (раз уж он упомянут) с «пошло-хорошеньким лицом» и «красными, улыбающимися губами» — мой эпикуреец Цезарь был вида располагающего и ничуть не амбициозного и даже с выражением некоторого чувства вины: де, что же тут поделаешь, если природа наделила меня столь привлекательной внешностью! Вот и добавляю к его портрету замечательно крупный рост, с высоты которого он оглядывал прохожих, фланируя по улице Горького, и, конечно же, на плече плащ (в памяти ослепительно белый), в летнее время — солнечные очки шестиугольной формы. Да-

же если вы и не жили в те времена в Москве, а лишь, будучи в командировке, появлялись на нашем столичном Бродвее, то и тогда не могли его не встретить, — ну вот, покопайтесь в памяти: не случилось ли видеть такого замечательно интересного, с плащом через плечо, кастильского идальго, от одного вида которого, если вы лицо слабого пола, у вас могли нехорошо дрогнуть коленки?

Попутно о его анкете, в которой, впрочем, ничего заслуживающего внимания. Если не считать, что настоящая его фамилия была не Семенов, а Морчик, Цезарь Семенович Морчик. И далее все, как у нас с вами: «не участвовал», «не избирался», «не состоял», «не колебался», «не подвергался». Был, правда, там еще пятый пункт, но на нем останавливаться не буду. Стало это в нашей литературе неким раздражающим местом: чуть что — пятый пункт! Впрочем, и до этого пункта дойдем, но только в сообразии с событиями, а не по прихоти автора, решившего отдать дань традиции.

Что же до внутреннего мира Цезаря, то никакие кадровые документы нас не продвинут ни на шаг, да и фланирующего по Броду «милого друга», которого я привел выше, тоже недостаточно. Герой мой, хоть и могут дрогнуть от него коленки, не так прост, как вы можете подумать, сбитые с толку его нафиксатуаренными усиками и еще более его поведением на лестничной площадке в Большой Бахрушенке. А потому сделайте одолжение: не мудрствуйте и не предваряйте хода событий. Вернемся лучше в эпицентр, где Цезарь появлялся в окружении одной и той же неизменной компании, встречаемой в гардеробе мэтром «Националя» Суреном Георгиевичем и им же лично провожаемой к их столику, в самом живописном углу эпицентра, откуда сквозь зеркала витрин открывалась величественная панорама исторического музея и кремлевской стены одновременно.

ГЛАВА 2

Когда-то за этим столиком принимали по стопочке-другой Юрий Карлович Олеша, Мишенька Светлов, Боря Ямпольский... То была эпоха корифеев, оваянная переходящими из уст в уста легендами. Рассказывали, будто Боря Ямпольский именно из-за укромного столика наблюдал, не покажется ли в уличном

Зазеркалье некий стоящий его внимания объект, и если таковой появлялся, Боря катапультировался ему вслед, чтобы вручить номер своего домашнего телефона. Да что там Боря! Ходили слухи, что именно за этим, теперь уже историческим столиком Михаил Аркадьевич Светлов произнес непередаваемую по дерзости фразу в адрес Коммунистической Партии Советского Союза.

Вначале он, никого не задевая, молча досасывал бутылку «Арарата», незаметно для внешнего мира припадая головой к столу. Все случилось, когда ни с того ни с сего в его жизнь вмешался парторг Союза писателей Аркадий Васильев, который, кстати, тоже не брезговал захаживать в эпицентр, хоть и неизвестно, с какими целями. Так вот, приблизившись своей медвежьей походкой к ловившему кайф Мишеньке, стал он его увещевать, что, де, автору бессмертной «Гренады» вести себя так негоже: «Не тому, Михаил Аркадьевич, нас с тобой партия учит». В ответ на что, оторвав от стола голову, Михаил Аркадьевич, с гневом прищурился на парторга глаз, прогрессировал: «Да сгал я на твою пагтию, Агкашка!». Слова, которые, может быть, и не войдут в антологию диссидентской литературы, но никогда не будут забыты завсегдатаями эпицентра. Но, повторяю, то были корифеи, которые по причине своего величия не стеснялись в выражениях.

В нашей компании никто подобного амикошонства не допускал, хотя каждый, как теперь говорят, имел свое «персоналити». Первым в зале появлялся Цезарь, чей портрет, хоть и несколько тривиально, я все-таки описал. Грассировал, он кстати, точь-в-точь как Мишенька Светлов, а во всем прочем был полной ему противоположностью. Михаил Аркадьевич был ужасный проказник и дебошир. Я и сам в каких только невообразимых местах на него не наткался, и всегда он был в одной и той же позе — свернувшись тряпочкой на мостовой и сердито прищурился глаз (любимое Мишенькино выражение), непечатно обзывал прибывшую к месту милицию. А Цезарь ничуть не бывало. Цезарь всегда оставался Цезарем и даже в эпицентр входил сообразно своему имени. Но тему эту развивать не стану. Хватит с меня нафиксатуренных усиков. Приведу лучше картину натуральную, которой я сам стал однажды свидетелем.

Это был первый раз, когда я увидел его собственными глазами, не представляя, что жизнь повернется таким образом,

что станет он в конце концов героем настоящей хроники.

Итак, был канун праздника, кажется, опять же 7 ноября, и когда он появился в эпицентре, я был уже навеселе. Завернул сюда прямо с вокзала, после командировки в Каширу, куда был послан своим строительным органом.

По дороге, как это обычно бывает со мной, произошла неприятность: в Кашире не успел взять билета и в электричке напоролся на троглодита, попытался сунуть ему в нос журналистское удостоверение, но этим и вовсе дело испортил: троглодит оказался непрошибаемым:

— Так-так, Аркадий Ноевич, ездим зайцем, а говорим, что корреспондент? — нагло корежил он в руках мои корочки, пока не выдал из меня свою «законную» пятерку и не оставил меня без денег. Так и ввалился я в эпицентр в старом, подаренном папой торгсиновском костюме, который специально держал для командировок, и с трешницей в кармане, точь-в-точь трояк, жалкий остаток суточных после налета троглодита. Как раз хватало на сто грамм коньяку и порцию голландского сыра. По меню получалось 2.95 и еще пятак на автобус.

...Зал гудел, все были расположены к шутке, особенно сидевший по правую руку от меня курчавый молодой человек с пухлыми, детскими губами, представившийся актером Мосэстрады Дантоном Шаевичем. Был он из того типа людей, которые — не успеваешь глазом моргнуть — становятся с вами запанибрата.*

Цезарь еще не явился, а он уже звал меня Кадрилой и успел сообщить, что только вернулся из Боткинской больницы, где месяц провалялся с инфарктом. И выразительно повел глазом в сторону своей спутницы Алены: «Мол, что говорить, Кадрилла, было дело под Полтавой!». Что он имел в виду, я тогда так и не понял.

— Здгасьте, Дантон Шаевич, здгасьте, песнопевец! — наконец я увидел Цезаря. — Господи, Аленушка, и ты здесь, — обнял он пассию Дантона Шаевича, бопьшегрудую русскую красавицу в очках — по ходу замечу, очень подходивших ей — не то чтобы облагораживающих, а придававших какую-то романтическую недосказанность: мол все, что во мне видите,

*Вскоре я узнал, что Дантон Шаевич доводился каким-то потомком знаменитому революционеру Шае Голощекину — факт для моей хроники столь малозначительный, что я решил вынести его в сноску.

— это только начало, вот если бы снять очки, скрывающие меня подлинную... — вот тогда бы, вот тогда бы!..

Разговаривая с Цезарем, Дантон что-то упорно поправлял на ее груди, пока она не поймала на себе мой взгляд и не хлопнула его по разгулявшейся руке: «Уйди, урод!».

А Цезарь уже жал уши лупоглазой и замшелой личности в нелепой импортной куртке. Этого здесь знали все: нищий от-казник Куперштоккер, ждавший разрешения в Америку, куда его вызвал дядя, живший там с послевоенных лет.

— Здогово, Сеня, здгаствуй, шаромыжник!

— Слушай, Цезарь, есть закурить?

— Ясно есть, для человека чести у нас все есть! — сует ему Цезарь сигарету и плывет дальше, к персональному столу эпикурейцев, где его уже все ждут, и пока плывет, кого-то упорно высматривает. Ах вот кого! Мэтра, Сурена Георгиевича. Тот появляется лениво и враскачку. В тройке, на шее бабочка. Представитель одного из двух социальных слоев, к коим я испытываю классовую ненависть. Первые — работники райжилотделов, эти и посажены для того, чтобы их ненавидеть. В этом их социальная функция. Вторые — ресторанные мэтры в тройках и с черными бабочками, которые тщатся быть королями и кумирами публики. Перед этими я испытываю и страх, что когда-нибудь, по чистому недоразумению, у меня неостанет расплатиться. Но кто мог предвидеть, что неприятность случится именно в этот вечер, ведь я и заказал-то всего ничего и в эпицентр зашел мимоходом.

Когда я подозревал Сурена расчитаться, Дантон Шаевич уже не вязал лыка, а очкарик-Аленушка тихо умирала на его груди. Я положил на стол трояк, и мэтр, игриво чиркнув в блокнотике, очаровательно улыбнулся: «Три рубля двадцать шесть копеек!». «Чаевые! За чаевые мстит!» — понял я и, обливаясь потом, стал шарить по карманам, а негодяй, играя карандашиком, неспеша добавил: «Что, не хватает? А сколько не хватает-то? Может, в пальто забыли?». От его мерзкого голоса и ожила моя добрая фея Алена. «Дантон!» — шепнула она Дантону Шаевичу, бросив на меня взгляд из-под очков.

— Что? Где? — энергично встряхнул тот стружками волос. — Для Кадрилы всегда пожалуйста! — и пока он спросонья вылавливал из бумажника рубль, я тщетно пытался отклеить свой взгляд от ее груди.

С Аленой и Дантоном Шаевичем мы еще встретимся, но это будет уже в другой век и на другой планете.

ГЛАВА 3

А в тот год я зачастил в «Националь», где вечерами и собирались эпикурейцы микрорайона. Я вваливался с вокзала все в том же затрапезном папином костюме и, предвкушая удовольствие, усаживался по соседству с Цезарем и компанией. И теперь из принципа заказывал ту же рюмку коньяку и ту же порцию сыра — все на ту же трешницу (которая приводила в бешенство Сурена) и, посасывая коньяк, весь вечер не сводил глаз с углового столика. Я понимал, что шпионить занятие мало пристойное, но делал это без всякой корысти — соглядатай от скуки, шпион от нечего делать.

После того как из-за сухумской истории от меня ушла Руфина со своей дочерью Машкой, дома меня никто не ждал. Папа уже несколько лет жил отдельно, а в «эпике» кипела какая-никакая жизнь. Знать бы, что век спустя сяду за эту хронику и буду извлекать со дна памяти события и характеры, за которыми целые вечера наблюдал! Если бы да кабы...

Итак, вслед за Цезарем появлялся другой член профсоюза, шут и римлянин Габриель Касторский, скульптор и ближайший друг Цезаря: вся нонконформистская Москва знала его просто как Габушку. Этот и внешне был полной противоположностью Цезарю — сутулый, мощный сократовский лоб, он выглядел так, будто испускал во все стороны света радиоактивные заряды: чуть приблизишься и шибанет! Существует такой тип людей, он к ним и относился. К тому же он был полон амбиций, и всякий раз в глазах его можно было прочесть: «Вот уж сейчас вас удивлю, на всю жизнь удивлю!..» Причислял себя к продолжателям Поликлета и Фидия, а с другой стороны — великого экспрессиониста Эрнста Барлаха, но в кругах был известен как автор сверхмодернистской скульптуры «Старуха Изергиль», принесшей ему, кстати, массу неприятностей.

По каким-то причинам, возможно даже, из-за своего названия, эта самая «Старуха Изергиль» начальству в МОСХЕ стала напоминать другую старуху, возглавляющую враждебное государство на Ближнем Востоке. И Касторского приглашали даже в органы, чтобы выяснить, с кого именно он лепил старуху Изергиль. На что он, не моргнув глазом, ответил: «С Долорес Ибаррури!». На очередной выставке в Третьяковке «Старуха Изергиль» появилась под названием «Мать гладиатора». Входя в эпицентр, Касторский проделывал то же, что Цезарь, то есть оглядывал себя с разных сторон в зеркале, при этом устра-

шающе вращал глазами по сторонам и, перед тем как войти в зал, подбрасывал для разминки ногу, что получалось у него легко и элегантно. Я сам однажды слышал, как чей-то нежный голос над моим ухом проворковал: «Ах Габушка, какое очарование!».

Появлялась здесь голубая, атлетического сложения вакханка Михайлова, поэтесса и нештатница «Московского комсомольца», с длинной импортной сигаретой в зубах. Плюхнувшись в кресло и шумно дымя в лицо Сурену, она лениво, с астматической хрипотцой, спрашивала:

— И что же, Израиль Израилч, у нас сегодня из холодного?

Была у Михайловой очаровательная манера к месту и не к месту награждать своих собеседников еврейскими именами и фамилиями. Что касается самого вопроса, то задавался он из чистого гусарства, поскольку из холодного в суреновском меню всегда было одно и то же: шпроты в маринаде и сыр голландский.

— Так что же, ечменоть, нечего взять в рот? Скажи Розенблюму, что сегодня все-таки суббота, пусть сделает что-то приличное. — Розенблюм был шеф-повар с красным пористым носом алкоголика, его хохлацкой фамилии я так и не запомнил. Из эпицентра он выносил гигантские свертки, и когда я видел его бордовую, как бычий окорок, физиономию, то преисполнялся ярости против нашего районного ОБХСС, который явно не ловил мышей.

На переговоры Розенблюма вызывал Касторский. Перед отбытием домой он обычно вкладывал ему в боковой кармашек купюру, оттого и был он распорядителем — кого и чем накормить. Его стараниями появлялось заливное и помидоры маринованные и огурчики. После чего откупоривали коньяк. В мгновение все оживлялось...

— Мальчики, внимание! Чукча защитил докторскую и устраивает в Доме ученых банкет...

Чукча был любимцем компании и предметом ненависти Михайловой. Как и все поэтессы, она обожала читать собственные стихи, а чукча безо всяких отнимал у нее поклонников и ценителей, среди которых был, по ее словам, даже известный критик-новомирец С. Прочитав ее «Исповедь менады», он будто даже воскликнул: «Это потрясающе талантливо и потрясающе бесстыдно!».

— Как? Как? — прикладывал ладонь к уху Касторский, который в пику Михайловой как раз и обожал чукчу и в разговорах о поэзии обычно заявлял, что в Риме есть только два истинно великих поэта: Джамбул Джабаев и Сулейман Стальский. И стоило Михайловой извлечь из сумочки тетрадку и выразительно, нараспев начать читать: «Истязанье и экстаз — нашей жизни парафраз», как Габушка пускался в свой танец с саблями: «От Сулеймана вам привет, страна цветет для вас, ребята!..»

— Ну что ты, Рабинович, еще скажешь?

— ...В стране для вас встает рассвет, для ваших умных глаз, ребята.

— Нет на тебя товарища Сталина, мудозвон, — грустно заключает она и, кукольно улыбнувшись, добавляет свое эзотерическое «ечменоть».

Ее пристрастие к вульгаризмам римлянин Габушка объясняет исключительно ее семейным неустройством. Однажды это неустройство довело ее до того, что она выпила тройную дозу люминала, но Бог оберег, и вернувшись из больницы, решила заняться благотворительством. Для этого вступила в члены Общества советско-вьетнамской дружбы и — уж факт во все трансцендентный! — собиралась взять на воспитание младенца из борющегося Вьетнама.

— Да, да, маленького вьетнамца, ечменоть! — гусарствовала Михайлова, лениво перекатывая в зубах сигарету «Честерфильд». По словам Касторского, борющийся Вьетнам шел опять-таки от сексуального неустройства.

Однако в сексуальных перипетиях бомонда вам все равно не разобраться. И потому коснемся еще одного члена компании, мастера спорта по легкой атлетике Лолиты Гогоберидзе. В эпицентре ее звали не Лолитой, а только Лолочкой, и в ее стопроцентно славянском облике не было ничего, что объясняло бы ее фамилию. В Москву якобы помог ей перебраться Цезарь, с другой стороны, опять же по слухам, произошло это не без помощи Касторского.

Говорили, что в Грузии на интимной почве у нее произошел романтический скандал. По другим сведениям, со скандала и началась ее фривольная жизнь, что при виде Лолочки представить было решительно невозможно.

В отличие от гренадерши и матерщинницы Михайловой, увешанной с ног до головы немислимой бижутерией, она по-

являлась, играя легкой фигуркой, смертельно затянутой в джинсовый костюмчик, и в импортных солнечных очках, придававших ей определенный шарм и экстравагантность. Во всем прочем она выглядела, как воплощенная скромность: прежде чем выпить, нежно крестила пальчиками рюмку и, капризно сморщив нос, восклицала: «Ну зачем мне все это, скажите, зачем?». И выпив, ужасно себя корила: «Господи, стыдобища, набралась, как извозчик!». Она никогда не поднимала тостов, предоставляя это делать Михайловой, и та обычно начинала с одной и той же фразы: «Эпикурейцы, прошу наполнить бокалы». Впрочем, однажды, видно, опять же из гусарства, вместо эпикурейцев ни к селу ни к городу вставила сионистов. Разыгравшись, так и произнесла: «Товарищи сионисты, прошу наполнить бокалы!». Услышав это, Сурен бочком приблизился к Цезарю и, припав к его уху, проговорил: «Цезарь Семенович, скажи ей, что здесь товарищи из органов!». «Ну уж на это, Израиль Израилевич, нам насс...» — сказала Михайлова и ко всеобщему удивлению была поддержана скромницей Лолитой, которая вскинула к потолку глаза и, не выпуская рюмки, прошептала: «Органы? А о каких, собственно, органах речь? У меня, господа, к нашим органам стопроцентное почтение, да я без них вообще никуда!». И перекрестив рюмку, залпом опрожнила ее.

Я с интересом наблюдал за одуревшей Лолочкой, которая, признаться, нравилась мне: пьяный джинсовый божок, подпоясанный грубым солдатским ремнем! Ремень больше всего и будоражил меня. Ниже я опишу свою жену Руфину, и вы поймете, что к чему, и вспомните за компанию со мной о «Крейцеровой сонате», о дьяволах, раздирающих душу, когда видишь таких женщин, как Лолита. Но в момент, когда она проскрипела передо мной в своих железных джинсиках, я думал не о Толстом, а о «красивеньком». Так звали в нашем строительном органе юного графомана Закревского: он увязывался за мной в Дом журналиста и про него ходили слухи, что он еще не вылупился из светлой поры онанизма. Был он словно кадр из порнофильма: как что-то неприличное — так сразу «красивенький» с его пушистыми бачками и выделяющими всякие выкрутасы руками. Вздумай художник изобразить портрет она-ниста, я бы тут же и предложил «красивенького». Он обожал изъясняться парадоксами и в пивном баре Дома журналистов, стоило нам туда вплыть, тотчас начинал сжирать глазами сто-

явшую за высокой стойкой нашу домжуровскую лорелею. Звали ее Валеской или Валюшкой, была она в белом русалочьем кокошнике, с необыкновенной брошью, глаза держала долу, словно специально не удостаивала нас никакого внимания. «Ах, Каденька, — начинал зудеть «красивенький», — у каждого порядочного человека есть мечта: у одного написать «Войну и мир», у другого — воткнуться в «Известия» к Аджубею, а у него — «Я думаю, Каденька, ты понимаешь меня без слов», — окатывал он страстным взглядом барменшу и ударом указательного пальца одной руки по кольцу из двух пальцев другой сотворял жест, не оставлявший сомнения в его мечте.

Так вот, вспомнив о «красивеньком», я любовался Лолитой. Безо всяких надежд, поскольку мне в папином торгсиновском одеянии и заказом на трешку надежд не полагалось. Но от этой ущебрности и мазохизма как раз и выиграла фантазия: хватит ли духу вскинуть Лолочку и унести из эпицентра?

Когда-то в школе я проделал такой фортель с Изольдой. Кто такая Изольда? Ну, этой личности я мог бы посвятить отдельную хронику. Начать хотя бы с того, что она когда-то ходила в ту же 635 женскую школу, что и жертва Цезаря — семнадцатилетняя Купцова.

Ученицы этого заведения являлись к нам на уроки танцев. Наша мужская школа находилась в том же дворе, танцы преподавал дворянский отпрыск Шиттик, и неперменной их посетительницей была недотрога и стервочка Изольда — ее прозвали Изобочка, — и все в нее были безнадежно влюблены. И безнадежнее всех я, что не мешало по ночам разыгрываться моим фантазиям. Изольда носила вельветовый пиджачок с бархатными пуговицами, которые я ночью отстегивал, пытаюсь себе дорисовать то, что под пиджачком скрывалось. Своей внешности я еще коснусь. Пока же замечу, что я был неуклюж и сутул, трудно было представить что-то более нелепое, чем «мазурку» и «па-де-патинер» в моем исполнении (в разгар танца у меня начинали съезжать брюки и обязательно что-то вываливалось из кармана).

Путь, которым я выразил страсть к Изольде, был столь необычен, что мне не раз приходила мысль, а нет ли в нем особого, провиденциального смысла? Я сотворил это вечером, когда мы толпой высыпали из школы после танцев. На улице похолодало, но никто не расходился: девочки, а с ними и

Изольда, стучали каблуками по тротуару в ожидании чего-то неизвестного. Но что же я, в конце концов, сотворил? В то-то и дело, что ничего. Когда мои однокашники, кто во что горазд, стали выпендриваться, я, чтобы показать, какой я сильный, вскинул Изольду на руки и, обливаясь потом, с подгибающимися ногами, устремился по направлению к 635 школе. Я прижал ее с такой силой, что на ее вельветом пиджачке вырвалась пуговица. Пиджачок расстегнулся, и я почувствовал губами ее тело, я не понимал, где же комбинация, и от ужаса чуть не уронил ее.

Когда мы вернулись, она залилась краской и воскликнула: «Идиот! Давай ищи пуговицу!». Я ползал по ночной грязи, но пуговицы так и не нашел — обнаружил ее утром в собственной брючине, в обшлагае, — подобное могло случиться только со мной. Пуговицу я ей вручил в другой раз, в присутствии всех и с таким видом, будто предъявляю неоспоримое доказательство нашей близости.

Но это Изольда. А куда я мог унести Лолиту? Во-первых, на Центральный телеграф, что было бы самым бессмысленным. Или в подъезд, по соседству с театром Ермоловой. Под аркой театра была боковая дверь, ведущая в какую-то заупокойную контору — то ли в «Мособлавтотрест», то ли в «Мособлавто-транс». Дверь туда никогда не запиралась и ночью вела в чрево никем не обитаемого коридора. Но с третьей стороны, что бы я с ней делал, если бы и оказался в этом коридоре? Проблема сближения так и оставалась нерешенной. Конечно, оказавшись в этой шараге, Лолита и сама могла двинуть сюжет. Но могла и не двинуть, и все бы повисло в воздухе. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Это сказано у Матфея про меня: в тот вечер я прелюбодействовал с Лолочкой.

Но весь этот ход мыслей у меня возник позже (я вообще люблю анализировать задним числом), а тогда я просто задал себе этот идиотский вопрос: сколько метров я буду в состоянии с ней пробежать? Эти выбрыки, этот вынос женских тел стал пунктиком в моей жизни. Однажды я устроил его на море и напоролся на риф, на пункт уголовного кодекса — «Переход границы с целью измены родине». Благодаря этому я и стал узником Сиона. А затем случилась сухумская история.

ГЛАВА 4

Однако продолжу о братьях-эпикурейцах. Бывал еще в «эпике» знаменитый на всю столицу Митенька Гороховский, написавший за Поля Робсона книгу «Я пою тебя, мир!». И красавец с играющей талией Боба Брайнин, сын известного академика и космополита. И кто-то еще. Я рвал пуп в своем строительном органе и завидовал им зеленой завистью. За что бы я ни брался — у меня все летело. А они были везунчики и гении.

Однажды я замерзал в очереди на американский балет и перед спектаклем увидел Цезаря, он шел в Кремль безо всяких билетов, откинувши свою королевскую голову. Не помню даже, с кем, верно, с одной из подруг, и при виде рванувшегося к нему милицейского лейтенанта, едва кивнул в ее сторону: «Она со мной!».

Я рвался в «Арагви», который в этот дождливый вечер штурмовали генералы, депутаты и герои труда. Седобородый бандит-швейцар не пускал никого. Цезарь ткнул ему что-то в нос и сказал: «Член коллегии!». И бандит пропустил. И следом пропустил Митеньку Гороховского, который просто и незатейливо представился: «Поль Робсон!».

Я стоял в нашем дворе за огурцами. Незнакомый мне юный викинг танцующей походкой обогнул очередь и стал протягивать целковый продавщице. Очередь возмутилась: Как не стыдно, по морде ему, по морде! Викинг пожал плечами и, пристроившись в хвост, миролюбиво сказал: «Берии хуже!». Был это Боба Брайнин, наш районный Казанова, который играючи лишил девственности мою Изольду.

Они все были гении, а я шлимазл, как любил называть меня папа, и в такие минуты я ненавидел его.

Чуть не забыл: бывал в «эпике» Сайман Заломов, писатель-детективист и нештатный сотрудник эмвэдешного журнала «К новой жизни», называемого в Москве «Солнце всходит и заходит». Он вламывался потный, в рубахе апаш, из-под которой видна была рыжая волосатая грудь (происходило это чаще всего после командировки в очередную колонию), и восторженно кричал: «Ох, мужичье, в каком же я побывал месте: 1200 проституток со всей нашей необъятной родины!».

— Побожись! — окатывал его из холодного шланга Касторский. — Побожился? Скажите Розенблюму, чтобы накормил писателя.

Заломов был без ума от Лолочки, у которой была странная манера тянуть его за рубаху и весело восклицать: «Хороший ты человек, Ривкин, но тупой, как солдатский сапог!». Заломов не обижался. Обижаться он вообще не умел. Единственно, чего не переваривал, когда вспоминали его настоящую фамилию — Ривкин.

События будущего заставляют вспомнить и еще один персонаж, из-за коего в нашем микрорайоне разразится такая буря, что рядом с ней эпизод с Аркадием Васильевым и Мишенькой Светловым покажется вам прибрежным бризом. Это — цыганка Розалия, с не совсем цыганской фамилией Соловей, которая как явится в эпицентр, так и исчезнет из него. Но позже в связи определенными событиями вы еще воздадите ей и, возможно, даже вспомните легендарную революционерку-народницу Гесю Гельфонд. Розалия представилась подружкой Заломова и вошла в кожаных, шоколадных брюках, чем сразу вызвала подозрение у Касторского. Он спросил: «Из какой сферы будете?». И она, блеснув изо рта золотом, ответила: «Из какой сферы? Из литературной!».

— Как зовут?

— Геся! (По стечению обстоятельств она была и Розалией и Гесей одновременно, Гесей по имени бабушки и без всякой связи с революционеркой.)

— Поэтесса? — продолжал допрос Касторский.

— Поэтесса!

— А кто, по-твоему, два лучших советских поэта?

— По-моему, Джамбул Джабаев и Сулейман Стальский! — переглянулась она с Заломовым.

— Шарман! Попросите Розенблюма сделать поэтессе шашлык. А вам, Ривкин, за разглашение, государственной тайны хер с маслом.

Служила она товароведом в ГУМе, была активисткой.

И будто писала повесть или даже роман о работниках прилавка, а для гумовской самодеятельности сочиняла репризы. Однажды привела с собой в «эпицентр» двух ее участниц, двух близняшек из отдела готового платья: «Господа, будьте знакомы, наши солистки Марьюшка и Дарьюшка!». Обе были прелестны в своей непорочности и в ответ на любой задаваемый вопрос заливались краской. Но затем подсели к соседнему столу, где весело и шумно пьянствовала компания иностран-

цев. Выпили шампанского и стали всем подряд подставлять щеки для поцелуев и записывать губной помадой телефоны и творить такое, что Сурен, тут же соединившись с кем надо, объявил, что кафе закрывается. Наша компания встретила эту сцену без возмущения и, наоборот, даже с интересом, а Касторский, увидев пьяную Марью в нежных объятиях толстого немца из ФРГ, захопал и воскликнул: «Шарман!».

Но пока все это обойдем. Обойдем Михайлову, о которой в силу ее незамужнего состояния наговорено столько разных разностей. Обойдем Лолиту, которая с возмущенным выражением лица иногда оказывалась на коленях у Цезаря, а то вдруг в объятиях рыжего Заломова с выражением ужаса все на том же премиллом личике. Про нашу Гесю Гельфонд я уже кое-что сказал. Дойдет дело и до Марьюшки с Дарьюшкой: стукнет час, увидим и их в неожиданном амплуа, и может быть, даже диссидентками. Дайте только замаячить над чистым московским небом государству Израиль.

ГЛАВА 5

Но ко дню 6 ноября, открывающему эту хронику, компания наша уже распалась, и стало быть, все изложенное следует рассматривать в ретроспективе, когда Касторский еще оставался законопослушным членом МОСХа и не думал подавать заявления в Израиль и, тем более, озабоченный будущим, еще не метался по Москве в поисках дорогостоящего на Западе антиквариата. И Лолита скромно служила тренером в обществе «Локомотив», ни с кем не собираясь соединять себя узами, тем паче с Заломовым, хотя вокруг и гудели, что живут они как муж и жена в его холостяцкой хрущобе, предоставленной ему «Солнцем всходит и заходит» в Черемушках.

Лолочка относилась к тому типу женщин, про которых — сколь бы ни было свято их поведение — всегда ходят слухи один фантастичнее другого. Соединяли ее в свое время и с Цезарем, хоть не было их близости никаких доказательств: однако ж не стал бы такой мужик, как Цезарь, за здорово живешь увозить бабу из Тбилиси в Москву. А то будто видели ее около «Арагви» с Полем Робсоном — как звали в эпицентре Гороховского — де, выйдя в обнимку из ресторана, металась в поисках такси, хоть было непонятно, о чем именно этот факт свидетельствовал.

Другое дело, что однажды встретили ее с пьяным вдребадан чучелом в летной форме и пилотке: при всем честном народе, сгорая от стыда, волочила это чучело по тротуару.

Приплетали к ней даже Касторского — в том смысле, что оставшись без гроша после сокращения из очередной спортивной шараги, пошла она на содержание к Габушке, платившему ей будто месячное жалованье: слух, опять же, начисто лишенный здравых доказательств.

О Михайловой и говорить не стоило: про одно ее отравление гудели столько, что какой-нибудь Чарской хватило бы развести слюней на целый роман. Позже вам еще представится возможность установить, что тут из области правды, а что просто досужая романтика, коей еще со времен Бестужева-Марлинского украшала свои будни российская публика.

Но вернемся к исходному пункту, то есть к дате 6 ноября 197... года, и снова проследим поведение героя. Так вот, получив в этот день гонорар, он, прежде чем совершить то, что волею случая им было свершено, пытался дозвониться на службу Лолите, но получив от ворот поворот (используем это народное выражение), долго фланировал по оси микрорайона — от Пушкинской до Манежа, от Манежа до Пушкинской, пока не попалась ему в поле зрения бесцельно шатавшаяся по Горького семнадцатилетняя Надежда Купцова. И тут ради правды факта введу еще один персонаж, супругу моего героя Ваву, в девичестве Фиру Моисеевну Бланк, — лицо хоть и не ключевое, но и не последнее для развития моей хроники.

Как и полагалось жене Цезаря, она была вне подозрений, по крайней мере, в глазах супруга, с которым связывало ее столько лет, что оба запамятовали, когда и как все начиналось. Она отменно крахмалила ему рубашки и, зная, что он обожал простую и без всяких изысков пищу (другая из-за хронического колита ему не разрешалась), уходя на службу, оставляла ему для разогрева диетический обед — чаще всего паровые тефтели с рисом и замечательно вкусный молочный кисель. И каждый месяц приносила из своего НИИ все до копейки жалованье — в дом, в семью, состоявшую, напомним, из нее и Цезаря.

Детей они решительно иметь не хотели, а возможно, и не могли. Другим это объяснялось исключительно по-диссидентски: «Видите ли, дорогой (или дорогая), слоны в неволе не размножаются!».

Но если жена Цезаря была вне подозрений, то Цезарь у жены был на подозрении во всякую минуту и при всяких обстоятельствах. Не подумайте, что тут присутствовал какой-то нехороший ежовский сыск, обычно так унижающий супругов в глазах окружающих. С точки зрения окружения, это была совершенно счастливая пара, настолько самозабвенно она ухаживала за ним и так тонко, не задевая ее женской гордости, он обходил щекотливые обстоятельства. Да, если взять чисто внешние атрибуты их семейных будней: как замечательно нежно она называла его Коташей, когда, сидя в кресле перед телевизором, он любовался, к примеру, ножками Улановой, а она неслышно подкрадывалась и, пощекотав его за ухом, совершенно игриво восклицала: «Коташа, ку-ку!», и он с той же игривостью и в такт ей ворковал «Сидела птичка на суку!», — так вот, в такие минуты Вава расплывалась в улыбке, турецкий халат, с которым она дома не расставалась, распахивался, и, сообразно моменту, она погружала мужа в пучину нежности. Случались, правда, и такие казусы, когда с той же веселой артистичностью она предлагала: «А теперь, Коташа, давай поищем болванчиков!». Признаться, я даже не знаю, как это расшифровать, сказать, что Вава начинала на его теле инспекцию, — значило бы просто огрубить ситуацию, согласиться, что в нашей семейной жизни не бывает полутонов. Тем более, она все это проделывала, лукаво улыбаясь, почти что в шутку, да и Цезарь реагировал исключительно на юморе: «Не трожь рабочую кровь, оставь ее в покое!». И эта атмосфера теплоты не исчезала даже тогда, когда библейские глаза Вавы, увидев что-то несообразное, загорались охотничьим блеском: «Какой же ты, Коташа, все-таки, просто хочется тебя назвать на нехорошую букву». На это Цезарь реагировал совершенно поразительно, он начинал негромко напевать какую-нибудь из популярных песенок тех дней. Чаще всего это была песня Колмановского на слова Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь». И что уж было самым фантастичным и вопреки всякой логике, Вава оттаивала: «Ну хорошо же, хорошо, дай обниму своего Коташу!».

Все это позже поведал мне римлянин и хранитель чужих секретов Касторский — никто бы, как он, не мог живописать их семейную жизнь в столь экзотических красках и с такими исключительными подробностями.

Так вот, вечером 6 ноября, с которого я начал, Цезарь вспомнил жену дважды. Это был чудный и не по-ноябрьски теплый вечер, когда мужчине, оставшемуся наедине с собой, хочется штурмовать небо, не говоря уже о том, что сердце моего героя жег только что полученный гонорар. И все же, как уже сказано, он вспомнил жену дважды. Первый раз, когда, получив поворот от Лолочки, фланировал по оси микрорайона, решительно не зная, куда себя девать. И в тот момент, когда увидел с тыла семнадцатилетнюю Купцову и разглядев, что была она округлой и полненькой сзади блондинкой, — именно в этот момент подумал о Ваве: «Коташа! Ку-ку, поищем болванчиков!». Здесь и прибавил шагу и, нагнав Купцову, воскликнул нечто совершенно несообразное: «Ах боже, какое паблеансе!». Чем отнюдь не пронзил Купцову: «Ну, чё нужно?» — удосужилась наконец обернуться, обнаружив вовсе не девичий басок. Но во взгляде-то было явное любопытство, и Цезарь, будучи мужчиной и к тому же писателем, шестым чувством понял, что Рубикон перейден. Затем был ресторан «Охотник», Большая Бахрушенка и завершивший все это булгаковский курьез.

Второй раз вспомнил о жене, когда вышел из подъезда Большой Бахрушенки и, оказавшись под светом красного фонаря вендиспансера, обнаружил, что в лестничной суеде оторвалась пуговица, факт, не заслуживающий никакого упоминания, если бы не будущие курьезные обстоятельства.

Было четверть первого, но путь до дома предстоял короткий: жил мой герой всего ничего от Козицкого, в не менее известном Петровском переулке, в доме, по интересному для моей хроники совпадению, называвшемся Малой Бахрушенкой. О ней я также должен сказать пару слов, хотя бы потому, что вскоре после войны в Малую Бахрушенку поселили папу, и я его регулярно навещал.

Когда-то, в годы пятилеток, здесь обитали знаменитые писатели и актеры, как будто даже Марк Бернес и драматическая актриса Бабанова. А в годы нэпа — даже друг Есенина писатель Мариенгоф. В нашу же эпоху, назовем ее эпохой Цезаря и Вавы, дом был поставлен на капитальный ремонт и стал домом лимитчиков, то есть вызываемых с периферии дефицитных кадров, которыми в 70-е годы стала заселяться столица. Для нас это важно лишь в том смысле, что в этом темном царстве Цезарь и Вава были единственными москвичами и в ожидании квартиры в Чертанове владели целым этажом.

Жил еще в их подъезде подселенный также на правах лимитчика болгарин Миха Голев. Из голевской обители, когда мой герой вошел в подъезд, доносился рок-н-ролл, свидетельство того, что Голев был не один, а с кем именно, значения не имело.

Цезарь вспомнил всю невообразимую историю болгарина, я же воспользуюсь поводом и введу еще одну новеллу — о нем, о Мике Голеве. На этот раз перед нами никакой не эпикуреец, а трудовой журналист, как и я, доросший, правда, до сотрудника «Московского комсомольца». И ставший в конце концов никем.

Но расскажу по порядку, со дня, когда Цезарь впервые увидел Голева. Было это много лет назад. Легкой, танцующей походкой болгарин подымался по лестнице с двумя кошелками в руках: одна была набита бутылками «Солнцедара», другая — бумажными мешками с подушечками, которыми потчевала тогдашняя Москва бедную часть населения. «Любишь кататься — люби и саночки возить!» — рассмеялся он, кивнув на кошелки, но так и не объяснив, кому угощение предназначалось.

Он был черный, красивый, с голубыми и наглыми глазами, из тех, что и стоя у писсуара не преминут любовно окинуть себя взглядом в зеркале. Своей бьющей через край энергией напоминал Касторского, но много моложе и привлекательнее — скажем о нем так: молодой радиоактивный Нарцисс, а лысый, лобастый Габушка — радиоактивный Квазимодо.

Это был первый день, а вечером другого дня Вава, идя со службы, встретила его в компании пожилой рыжей проститутки, испуганно озиравшейся по сторонам. Он вежливо поклонился Ваве, открыл проститутке дверь, затем деловито вошел сам, словно выполнял важную правительственную миссию.

Вскоре появился с новой «девушкой», потом еще с одной и еще, словно боялся выпустить даже день из непрерывного производственного цикла, подобного мартеновским печам.

Вава решительно запретила Цезарю видаться с ним («Или я, Коташа, или этот болгарин!»), соседи — обивали пороги домоуправления и райисполкома. С него же было как с гуся вода. Раз все-таки он зазвал Цезаря к себе и, налив ему и себе по стакану «Солнцедара», поведал, что уже давным-давно пишет одну вещь. Вещь жизни. «О чем? Цезарь, надеюсь, вы — мужчина: ни одна живая душа еще не знает, но вам, как соседу, скажу: «Тропик рака» — слышали? Генри Миллера? Нет? А что

вы вообще в жизни слышали? Автор на своей вилле Боргези трахает проституток и пишет о них роман, понятно? Но вы думаете Генри Миллер такой уж большой писатель? Ах, дайте покой, невинный октябренок, который в детстве мало читал! Мои героини не просто проститутки, они — честные советские труженицы, проститутки-совместительницы — вот в чем весь шарм! — московский Пляс Пигаль!».

Разошедшийся Голев налил себе еще «Солнцедара». «Ах, Цезарь, что вам сказать, если у меня есть даже мать-героиня, «Катка-блоха»! Королева Козицкого и улицы Горького, прекрасна, как солнце мая».

Шло время. С болгаринном он уж перешел на «ты», а роман века все не выходил. Из издательств его Голеву вернули. В «Комсомольце», где он служил, из романа сделали очерк, а заголовок «Московский Пляс Пигаль» превратили в «Девушек с Козицкого», а потом в «Девушек с улицы Горького», потом просто в «Улицу Горького», а затем взяли и вернули. Но однажды в субботу Голев позвонил Цезарю и исполненным торжества голосом сказал, чтобы тот не забыл завтра купить «Труд». «Бомба, смотри, дед, не упали со стула!».

Бомбой оказалась небольшая, строк на сто статейка, озаглавленная «Щекотливая тема» и сообщающая читателям, что с проституцией в СССР покончено еще в 1917 году, раз и навсегда, хотя в семье не без урода. Последнее подтверждала фотография, на которой был изображен стоящий возле «Метрополя» рыдван неведомой марки. Из рыдвана выглядывала засвеченная, дистрофичная физиономия, и под ней подпись: «Катка-блоха за работой».

Голевская эпопея, однако, только начиналась. В «Труд» позвонили из ЦК и сказали, что товарищами допущена грубая политическая ошибка. Во-первых, если проституция давно ушла в прошлое, то зачем это прошлое ворошить («буржуазные штучки, нездоровая сенсация!»), во-вторых, женщина, оскорбительно названная «Каткой-блохой», была многодетной матерью и женой ударника коммунистического труда («думать надо все-таки, кого берем под обстрел»), и в-третьих — самое главное в-третьих — она написала три жалобы подряд в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС («И здесь уж, друзья, разбирайтесь сами!») Ну и конечно, разразился скандал, Голеву предложили уйти по собственному желанию, после чего последовали события и вовсе фантастические и к матери-

алу вообще не имевшие отношения. Но Цезарь их всякий раз вспоминал с удовольствием. «Голев был гений!». Ибо только гений, оказавшись на краю пропасти, мог обратиться с таким заявлением в районную милицию. Он просил паспортный стол исправить ему фамилию — с якобы ошибочной на настоящую: с Голева на Голдесмана... Во время войны в его метрике допустили ошибку. Желающим предлагалось справиться в соответствующих архивах Болгарской народной республики за 1941 год. Впрочем, в «Комсомолец», по месту работы, тоже послал заявление, но не об уходе по собственному желанию, а чтобы выдали характеристику для выезда на постоянное жительство в государство Израиль.

...Цезарь поднялся еще на один пролет и оказался рядом с обителью Голева, откуда на всю лестницу гремели переложённые на рок-н-ролл «Подмосковные вечера». Болгарин, державший свою историю в тайне, явно осмелел и теперь плевал на соседей. Цезарь еще не знал главного — что он им мстил. Пусть они оглохнут от его рока — за все десять лет своих подлостей, за жалобы, анонимки и пасквили. И более всего за то, что нацарапали, бегемоты, на двери в его комнату.* Как-то утром, выйдя в туалет и ни о чем не подозревая, он на своей двери прочитал: «Голдесман! Голдесман! Насрал людям в карман, отпавляйся, сука, в Израиль!». Весь мир ничего не знал, а они знали все. Карты были открыты, и Михе было море по колено. «Гений!» — снова подумал Цезарь. Но это была только одна мысль, с другой стороны, ему не давала покоя Катка-блоха, которая нокаутировала даже такого бойца и стратега, как Голев.

Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Цезарь вспомнил казус в Большой Бахрушенке и похвалил себя за то, что не оставил Купцовой телефона. Береженого бог бережет! Но что, однако, объяснить Ваве? Было уже хорошо за полночь. Все идеи испарились, и в преотвратном настроении нажал он кнопку звонка.

Самое занятное, что далее мне нечего и рассказывать. Бывает так: готовишься, ужас на читателей наводишь, адюльтер и прочее, а говорить нечего. Что есть супружество? Фельетоны и фельетончики, а на что они мне, если смазывают всю

*Тут авторская оговорка: я не хочу это цитировать, пошло это и неприлично. Но ради правды факта? Одно опустишь, другое...

картину? И потому голый диалог, лишь слепок происшедшего меж супругами:

— Где, Коташа, был? — спросила Вава.

— На фонтанке водку пил! — бодро улыбнулся он.

— Где фонтанка?

— В «Обществе дружбы с воюющим народом Вьетнама», — благодарно вспомнил Михайлову.

— И что же там было?

— Доклад о борьбе вьетнамского народа! — сообщил голо- сом уже совершенно решительным.

— Ах как интересно! — испытующе оглядела она мужа.

— А потом ужин и фильм Бертолуччи!

— Понятно, ну хорошо, дай поцелую своего Коташу.

— А я — свою маму! — счастливый подставил он щеку Ваве.

По логике вещей я должен тут поставить точку, но когда жизнь в нашей стране развивалась сообразно логике?

ГЛАВА 6

И потому снова приглашаю вас к Цезарю и Ваве, в один из послепраздничных дней, теперь уже не установить — суббот- ный ли, воскресный или просто день, когда Вава взяла в сво- ем НИИ отгул. Цезарь, приятно нежась в постели, читал «Ли- тературу». Вава, подав мужу кофе в постель, стряпала на кухне завтрак. Скажем так: если в жизни могла существовать семейная идиллия, то она как раз и была налицо в ту мину- ту, когда позвонил телефон и голос девушки, чистый и звон- кий, как весенний ручей, спросил в трубку, дома ли писатель Морчик.

— Будьте так любезны Цезаря Семеновича Морчика, — жур- чал ручей в трубку.

— Да, да, это я, слушаю!

— Цезарь Семенович, вы? Как я счастлива, что слышу ваш голос! Цезарь, миленький, любимый, даже не знаю, с чего начать.

Что бы это значило? Давно отошли годы, когда прелестные московские девушки обрывали ему телефон. Сейчас — стран- ным образом — на него пахнуло этим старым, добрым време- нем, и поблагодарив бога, что Вава на кухне, он приятным, насколько мог, голосом спросил, кто звонит.

— Не узнаете, а вы подумайте, Цезарь Семенович, вы же все- таки писатель, — продолжал нежный девичий голос.

Кто-то явно ломал комедию, и ему следовало закончить эту глупую беседу, но он не хотел этого делать. И снова попросил назвать имя звонившей. Иначе он вынужден повесить трубку.

— Повесить трубку? — обиделась незнакомка. — Вот вы ка- кой, Цезарь Семенович. А что перед этим говорил? Любовь... Единственная в жизни девушка...

— Где говорил? С кем говорил?

— А сами не помните?

— Нет, не помню... До свидания, дорогая, если не хочешь себя называть...

— В Большой Бахрушенке — вот где говорил! Лишил самого дорогого и бросил.

Цезарь почувствовал, что теряет дар речи. И даже не пото- му, что всплыла эта дурацкая история, — он интуитивно по- нимал, что рано или поздно это может случиться, — но перед ним разыгрывали дурной детектив: судя по тому, что он услы- шал, с ним говорила та самая Надежда Купцова, из-за которой он так неприятно влип. Но с другой стороны, эта не была Куп- цова. Настоящая Купцова изъяснялась совершенно несообраз- ным для ее 17 лет басом. Эта звенела серебряным весенним ручейком. Она и не она одновременно! Началось неприятное урчание в животе, в такие минуты всегда разыгрывался колит.

— Вы меня слышите, Цезарь Семенович? Может, не знаете, с кем были в Большой Бахрушенке? И кого лишили самого дорогого?

В комнату вошла Вава и стала прислушиваться к разговору.

Позже мы еще увидим, каким находчивым человеком окажет- ся мой герой, и тогда вас не удивит тот блестящий демарш, который он предпринял в этом малоприятном положении.

— Хау-ду-ю-ду, мисс Нэнси! — не спускал он глаз с Ва- вы. — Как же? Как же? Нагод богющегося Вьетнама, я сейчас же посоветуюсь с женой.

Теперь на другом конце провода наступило растерянное молчание, словно в гущу противника угодило пушечное ядро.

— Что? Придуриваетесь? — перегруппировался противник. — Значит, я не я и хата не моя?

— Ах, как мило с вашей стогоны, мисс Нэнси, — пожирал восторженным взглядом Цезарь ничего не понимающую Ваву.

— Рады, да? Я что хочу сказать вам, Цезарь Семенович, интересная у вас нация, вот что! — снова было перешел в наступление противник, но — поздно. Взявший себя в руки Цезарь спокойно положил трубку.

— Что за мисс Нэнси? — спросила Вава.

— Ах, боже. Из Общества дружбы с народом борющегося Вьетнама, предлагает взять на воспитание вьетнамского ребенка, махонького такого вьетнамца, — показал рукой над полом Цезарь — А может, возьмем, Вавочка, крошечного вьетнамца? Вырастим, будет наследник, да, да, наследник! Чем плохо? Совсем неплохо? Очень даже хорошо! — Он говорил быстро, без остановок, словно опасался, что если замолчит и возникнет пауза, Вава почувствует его состояние. Ясно, что его история стала достоянием третьих лиц: его шантажировали, но кто и с какой целью? От этой шрапнели вопросов шла кругом голова. И он обрадовался, когда телефон зазвонил снова. Теперь это был Касторский, которому Вава после того, как он участвовал в сидячей забастовке на телеграфе, строго-настрого наказала не звонить.

ГЛАВА 7

— Все остаются на своих местах, говорю из автомата, — начал в своем обычном духе Габушка, уже свыкшийся с положением изгоя. — Фира, во-первых, здравствуй, а во-вторых... — замялся он, — не появился ли на горизонте какой-нибудь стоящий антиквариат? Или, быть может, марки или старые монеты? Или, может, иконы — Николай Угодник?

Вава давно считала, что Касторский со своим Израилем тронулся, но она не знала, что на самом деле происходило в Габушкиной душе, что искал он антиквариат не потому, что в Израиле рассчитывал его продать и заработать (главные свои надежды возлагал он на «Старуху Изергиль»), — просто надо было ему куда-то направить энергию. Самым невыносимым было сидеть в мастерской на Мосфильмовской и ждать у моря погоды, пока где-то в неведомых и опасных овировских верхах решат его судьбу. Ваву ничто подобное не интересовало. Она знала одно — со своим Израилем он мог испортить им жизнь.

— Габриель, мы же просили по этим вопросам не звонить, — сказала она в отводную трубку.

— Мужу дай телефон и немедля!

— Ах, что он от меня хочет! — взмолился Цезарь, еще не очнувшийся от звонка незнакомки. Но это лишь подлило пороку, и Габушка пошел в открытую:

— Филателия? Нумизматика? Чего, Коташа, молчишь, а? — Он на расстоянии чувствовал, что у Цезаря что-то случилось, и это разбередило в нем другие эмоции. Был он из числа тех людей, которые начинали страдать физически, если чувствовали, что где-то рядом назревает скандал, а они не в курсе дела.

— Говори, что случилось? Думаешь, не чувствую, копись добровольно, пока не вмешался кто надо.

Имелось тут и еще одно обстоятельство: Касторский ёрничал и разыгрывал из себя Нат Пинкертон, но Цезарь знал, что все это пустое, одна поза, и на душе у Габушки скребут кошки: кончится ли когда-нибудь его израильская эпопея или не кончится никогда, и он, такой грандиозный скульптор, будет обречен на вечные страдания?

Наговорившись, Касторский замолчал. Цезарь тоже молчал, поскольку и говорить уже было не о чем. Но Габушка неожиданно предложил: «Слушай, давай встретимся. Когда? Да хоть сейчас, в кафе «Артистическом», блинчики покушаем».

Было это не первый раз, когда всеми правдами и неправдами он вытаскивал Цезаря из дома и все по той же причине: отщепенцу и изгою Габушке лучше было умереть, чем остаться одному, без общения.

Вава делала мужу отчаянные знаки, чтобы ни на какие блинчики не поддавался, тот понимающе кивал, но затем взял и согласился:

— Давай, стариканчик, я не против!

Хоть и долго не виделись, говорить оказалось не о чем. Публики в кафе не было. На улице, возле витрины, нервно прохаживался человек в фетровой шляпе и с букетиком фиалок: он нервничал и как будто кого-то ждал.

А они кушали блинчики с вареньем: Цезарь лениво, ничего в горло не лезло, Касторский, напротив, наэлектризованно и с аппетитом. Крупными глотками пил кофе и сжигаемый любопытством нес околесицу, начатую им по телефону: «Колись лучше сам, пока не поздно, от органов все равно не уйдешь! А так примем во внимание чистосердечное признание!».

Цезарь допил кофе, оглядел Касторского долгим взглядом, и далее произошла вещь и вовсе странная: он, который как никто другой знал Габушкин язык (доверь ему любой секрет — и назавтра будет знать вся Москва!), взял и рассказал ему о казусе в Большой Бахрушенке — и то, как Купцова на всю лестницу вскрикнула: «Цезарь, что вы наделали!», и как не далее чем два часа назад ему звонила какая-то шантажистка. Зачем рассказал? Ждал Габушкиного сочувствия? Сочувствие — лекарство от одиночества, способное лишь усугубить недуг. Почувствовал ли это Цезарь после того, как излил душу? Может быть! Да ведь слово не воробей! Особенно, когда имеешь дело с Касторским.

— Ну, хорош гусь! — пустился тот в свой танец с саблями, — жди теперь, Коташка, новостей, будешь знать, как лишать рабочих девчушек самого дорогого... Ах Цезарь, что вы наделали? Может, поумнеешь? А если не поумнеешь, знай, конец тебе, конец! — от этого шумного взрыва мужчина в фетровой шляпе даже перестал ходить и взглянул на них через открытое окно.

— Идиот, зачем я ему рассказал? Нашел от кого ждать совета! Но самое неожиданное произошло далее: наерничавшись, Габушка взглянул на часы:

— Сколько времени? Третий час? До шести сколько осталось? — Он стал подсчитывать про себя время и неожиданно заключил: — Если возьмем такси, успеваем!

— Что — успеваем?

— Не что, а куда! В ОВИР успеваем. Последний твой шанс! Сегодня там до шести.

Цезарь хотел спросить: да как он смеет об этом говорить? Кто ему дал повод? Да еще так громко! Но вместо этого задал вопрос, который вообще неизвестно как ему пришел на ум:

— А что там будет делать Вава с ее химическим профилем?

— А себя он уже устроил! — рассмеялся Габушка. — Себя устроил: главный специалист Сохнута по связям с рабочими девчушками — как лишать их самого дорогого в жизни.

Цезарь велел ему замолчать. И уже приготовил бумажник, чтобы рассчитаться, но в этот момент и произошло событие, после которого мой герой еще долго был не в своей тарелке. Человек на улице неожиданно повернулся к ним лицом, наставил на них в упор черный предмет, и перед глазами Цезаря вспыхнуло пламя. Прошла минута, а может быть, вечность,

пока он сообразил, что мужчина с фиалками, нервно метавшийся возле витрины, сфотографировал его рядом с сионистом и антисоветчиком Касторским.

ГЛАВА 8

А спустя неделю после их встречи в «Артистическом» в Комитет партийного контроля ЦК КПСС, на Старую Площадь, поступило письмо за подписью комсомолки Надежды Купцовой.

Письмо попало лично к Председателю КПК, который, чтобы не отрываться от жизни, взял за правило лично знакомиться с каждым сотым сигналом из числа поступающих с мест. Письмо комсомолки Купцовой было в этот день сорок седьмым, но Председатель, несмотря на дурное самочувствие, решил познакомиться и с ним, поскольку оно было представлено лично его помощником Петром Николаевичем Подгребным.

Хоть Высший судья партии, как его иногда называли, и не станет в моей хронике центральным персонажем, я все же, перед тем как приводить письмо Купцовой, представлю и его.

Во-первых, он был членом Политбюро и, следовательно, выдающимся деятелем партии и государства. И во-вторых, крупным теоретиком партии, требовавшим от аппарата, чтобы тот не просто штамповал решения, а всякий раз опирался на материалы Съездов и — что он считал совершенно необходимым — на основополагающие труды классиков марксизма. О его пристрастии к вопросам теории свидетельствовал даже его кабинет, уставленный снизу доверху стеллажами с многотомными собраниями классиков и видных деятелей революции.

Председатель любил эти фундаментальные, тисненные золотом тома, которые, выстроившись длинными боевыми рядами, как преданные солдаты революции, ждали по утрам его появления в кабинете. И рядом с этой славной гвардией, на столе, изнемогая от желания отдаться Председателю, ждала его неизменная утренняя спутница, замечательно свежая баночка простокваши, только-только доставленная ему из цеховского распределителя. Баночка стояла на блюдце, с салфеткой и серебряной ложкой, которой он обожал лично прорубать душистую корочку и, весело позванивая ею, приступал к чтению писем трудящихся. Добавим, что в свои семьдесят

восемь лет Председатель был красив и державен, какими бывают памятники далекому и неувядаемому прошлому. У него было белое, словно высеченное из мрамора лицо, серебряные волосы и даже будто мраморные веки, из-под которых он смотрел на мир исполненными достоинства мраморными глазами. Однако этот его беломраморный облик объяснялся не только его природной красотой и высоким положением в государстве — но и тяжелым, изматывающим Председателя почечным заболеванием. Минимум раз, а то и два раза в неделю он должен был проходить в Кремлевской больнице диализ, то есть его темная от шлаков кровь очищалась в специальных фильтрах, именовавшихся в научпоповских изданиях «искусственной почкой».

Несмотря на тяжелую болезнь, Председатель, один из последних сподвижников Ленина, находил время на все. И даже на то, чтобы в верхнем левом углу каждого из поступающих писем самым подробным образом излагать свои соображения. По общему мнению членов Политбюро, Председатель писал ленинским стилем, умея всякий раз мастерски вскрыть диалектику вопроса. Резолюции его остры и предметны. Каждая из них — школа для аппарата. При необходимости он рекомендовал сотрудникам обращаться к соответствующим марксистско-ленинским источникам. Впрочем, тон его менялся, когда налицо была безответственность и головотяпство партийных кадров. В таких случаях он предлагал взглянуть на вопрос по-государственному и посмотреть, как вообще на том или ином участке коммунисты относятся к делу. Из всего этого видно, что Председатель был душой и сердцем высшего суда партии, он был его совестью, и, возможно, именно поэтому помощник его Петр Николаевич Подгребной решил положить письмо, которое мной приводится ниже.

«Дорогой товарищ Председатель Комитета партийного контроля! Пишет Вам с горечью в сердце ученица 635 вечерней школы города Москвы Купцова Надежда, член ВЛКСМ, 1958 года рождения, русская. Надеюсь на Ваше справедливое расследование и доведу до сведения Вашей организации о нехорошем поведении члена КПСС, Морчика Ц. С, который 6 ноября сего года совершил моральное преступление и нанес мне большую душевную и физическую травму. Вечером сего числа я решила прогуляться по улице Горького и посмотреть празд-

ничную иллюминацию. Во время прогулки, около входа в Елисеевский магазин, ко мне подошел высокий мужчина с усиками и стал приглашать меня посидеть в ресторане «Охотник». Я, конечно, возразила, что вы, товарищ, для меня слишком пожилой, и вообще я по ресторанам не хожу, а если вам надо, поищите для этой цели какую-нибудь другую девушку. Но Морчик сказал, что он писатель и хочет написать про нашу рабочую семью большую книгу. Я поверила ему, а он воспользовался моей наивностью и завел меня после ресторана в подъезд дома номер 7, по Козицкому переулку, где я проживаю с мамашей, отцом и остальным семейством.

Я вначале даже не поняла его нехороших намерений, а когда сообразила, было поздно, т.к. несмотря на мое сопротивление, он лишил меня самого дорогого, что есть у девушки. Если, уважаемые товарищи, не верите, то можете запросить свидетельницу, Колгушкину Августу Васильевну, комсомолку 20-х годов и пенсионерку республиканского значения. Она из своей квартиры все видела, а мне после этого стыдно смотреть в глаза своим товарищам по школе, родителям, особенно отцу Купцову Сергею Николаевичу, который от расстройства сильно запил и уже третий день не ходит на завод.

Еще я хочу сказать, что данный товарищ, который надругался над моей чистотой, по национальности не русский. Я, конечно, ничего против их нации не имею — в нашей стране все нации равны, — но эти люди делают все, что хотят, и используют честных русских девушек для своего физического наслаждения. Настоящий факт может подтвердить моя мамаша Купцова Катерина Сергеевна, бывшая мать-одиночка, которую в свое время попользовал наш сосед по квартире лауреат государственной премии Беленький Абрам Маркович.

У мамыши было пятеро детей, она, конечно, сильно нуждалась и попросила у Абрама Марковича одолжить ей 10 рублей. На что товарищ Беленький сказал: «Зачем же, Катюша, одалживать, когда можно и так дать». Усадил мамашу на кровать и, конечно, добился своего. А когда его вызвали куда следует, он сказал: «Я не я и хата не моя». Об этой истории мы уже сигнализировали куда следует, но у него везде свои, рука руку моет, а русской женщине — хер на удочке.

Товарищ Председатель КПК, хочу сказать Вам, как комсомолка, что на их совести много безобразий. Однажды мамашу

остановил на улице Горького корреспондент из газеты «Московский комсомолец» и сказал, что он по национальности болгарин, мол, будем знакомы, журналист Миха Голев. После этого повел ее к себе домой, в Малую Бахрушенку, где соседи ее два раза обматерили — один раз, когда туда шли, другой раз, когда обратно. А угощать ничем не стал, налил дешевого портвейна «Солнцедара», а на закуску соси подушечки. Русский мужчина никогда бы так не сделал: чтоб за всю любовь только «Солнцедар» и подушечки! Когда уже были на улице, этот Миха, видно, понял, что я от его «Солнцедара» не в восторге, и говорит: «Ты, мол, Катюша, не волнуйся, ты мне очень нравишься, и я хочу запечатлеть тебя для нашей газеты «Московский комсомолец», поскольку наша газета объявила конкурс красоты. Кто в конкурсе победит, тот будет выступать в Доме моделей и демонстрировать заграничные моды. А ты специально со своей миниатюрной фигуркой для Запада создана. Я сказала: «Давай фотографируй, время нету, дети плачут». Тогда он объяснил, как нужно по-западному встать, как юбку приподнять, и сфотографировал. А потом сказал, что хочет сделать еще один снимок, в автомобиле, так как порядочная модель должна иметь собственную машину. Я, конечно, возмутилась: «Да ты кто — нормальный человек или нахал: за твой вшивый «Солнцедар» и так тебе становись и эдак!». Но все-таки поехали в Беляево-Богородское к его дружку, там еще поддали, правда, на этот раз столичной, чего еще делали, не помню, потом повели мамашу на автомобильную свалку, посадили в кузов «Запорожца» и щелкнули.

Больше этого болгарина мамаша не встречала. И вот один раз моя подруга Мадлена, тоже девушка с улицы Горького, звонит мне и говорит: «Кать, а Кать, а ты сегодняшней «Труд» видала, там снимок твой есть, в машине». У меня аж сердце от счастья зашло, бегу в газетный киоск, покупаю ихнюю газетку и вижу такой снимок: «Катька-блоха за работой». Представляете, какая моральная травма! Мамаша, конечно, через партийные органы добилась, что этого болгарина из «Комсомольца» поганой метлой. Но тут главное-то что? Главное, что болгарин никакой не болгарин Голев, а из ихних — фамилия его Голдесман и подал заявление в государство Израиль. А ну как этот Морчик возьмет и тоже к сионистам подастся, а меня с ребеночком на руках оставит! А если они такие сексуальные гиганты, то пусть в своем Израиле и действуют.

Дорогой товарищ Председатель КПК! Весь советский народ

вас ценит как справедливого партийного руководителя и легендарного латышского стрелка. Так я вас хочу спросить, за что боролись наши деды и отцы в 1917 году, если ихняя нация будет на каждом шагу пользоваться русских девушек и превращать нашу родину в государство Израиль! Копию настоящего письма посылаю товарищу Брежневу, товарищу Подгорному, товарищу Андропову, секретарю Союза Писателей товарищу Маркову, всем редакторам центральных газет, а также управдому Бахрушенских домов тов. Вахрушеву Х. И.»

Прочитав письмо, Председательствующий раздумчиво позвенел серебряной ложкой и, доев из баночки простоквашу, снабдил письмо следующей резолюцией:

«Тов. Подгребному П.Н. Письмо, конечно, абсолютно незрелое, но и выбросить в корзинку тоже нельзя. Перед нами большие безобразия, но мы не можем тащиться в хвосте у фактов и фактиков. Поступить так означало бы сползти в болото ползучего эмпиризма, против которого решительно и неоднократно предостерегал Владимир Ильич. Надо поставить вопрос по-государственному — прежде всего об аморальном поведении некоторых представителей интеллигенции. И во-вторых, как могла все это допустить Московская партийная организация, я уже не говорю о газете «Труд». Владимир Ильич учил нас семью укреплять, а не разваливать, даже если она носит и неблагополучный характер, как в данном случае. В связи с этим, очень рекомендовал бы товарищам познакомиться с работой Ильича «Советская власть и положение женщины», а также с его статьей «Международный день работниц». И может быть, даже проработать на одном из семинаров.

Ваше мнение, кому из партследователей поручить настоящее дело?».

Получив письмо с резолюцией Председателя, П. Н. Подгребной, согласно действующим в Комитете правилам, обязан был немедленно направить его для исполнения. Но это уже не представляло трудности: в аппарате КПК существовала узкая специализация. Часть партследователей занимались должностными преступлениями, приписками и хищениями, другие — повседневной борьбой с пьянством и алкоголизмом, третьи — преступлениями против личности и хулиганством. Кандидату философских наук Н. Н. Осколкину были поручены вопросы морального разложения и половой распущенности членов партии.

ГЛАВА 9

Уж так устроен человек, что по врожденному ли, генетическому легкомыслию или по иным, неведомым нам причинам он не предчувствует беды. Тем более, такой человек, как мой Цезарь.

Надо было знать, в какой стране родиться, и уж коль с этим вышла неполадка, Цезарь просто жил, как жилось. Он любил разглядывать себя в зеркале. Кто-то сказал, что он похож на Печорина, а кто-то — что на мопассановского милого друга. Кто именно? Как будто это имеет значение! Даже если в комплименте некоторое преувеличение, то все равно в этом пункте ему определенно везло. Он жил, как жилось, и абсолютно не хотел перемен, и после встречи с Габушкой думал, что на месте получит инфаркт. Не получил. С Касторским немедленно расстался. И чтобы снять напряжение, в Столешниковом зашел в забегаловку и выпил. После чего настроение поднялось, почувствовал, как пригревает солнце, и легко и весело себе под нос замурлыкал: «Мы мальчики, мы девочки, мы все — инженера, мы все индустриальчики, ура, ура, ура!». Он не знал ни имени композитора, ни автора слов, слышал, будто принадлежал этот шедевр Безыменскому, а может быть, Демьяну Бедному, какая, в конце концов, разница, если такая простота рифмы и такая игривость слов!

В эпицентре поклонялись Чукче, но у каждого были и свои приоритеты: у Габушки — Джамбул и Сулейман Стальский, про Михайлову с ее «Розенблюдами» и эзотерическим «ечмень» уже сами знаете. Ну а мой Цезарь? Про Цезаря читайте ниже.

Интеллектуальная западная критика определяет это как сверхмодернистское течение: «Возврат к примитивам» — уставший от сверхнапряжения современный человек хочет чего-то простого и прекрасного. Но Цезарь себя и этим не мучил.

Когда по утрам он ценой титанических усилий заставлял себя сесть за машинку, чтобы сотворить очередной шедевр за своего соавтора героя соцтруда Асея Саныча Залесова, — то не успевал ударить по клавише, как начинал вслушиваться, не зазвонит ли в коридоре телефон... Ах, этот волшебный звон! И как только совершалось, утробно вскрикивал: «Вот мерзавцы, поработать не дадут!». И мчался брать трубку. Он мог говорить битый час ни о чем (особенно, если звонил Габушка),

но с кем бы ни говорил, трубку на рычаг опускал с непередаваемой элегической грустью, и когда возвращался к машинке, то томился пуще прежнего.

В подобном психологическом ключе в те годы творили многие. Это я рвал пуп в своей строительной газете — да еще в вечном страхе как бы не уволили по сокращению штатов, или за передергивание фактов, или за очернение действительности, — Цезарю нечего было очернять, поскольку он сам творил свою действительность. Какую? Вот так, в двух словах и не ответишь. Расскажу лучше об одном его давнем выступлении в ЦДЛ. Его можно назвать и историческим, ибо отсюда пошла его популярность, с этого анекдота, с этого фольклора, в котором невозможно отделить, что есть правда, а что — досужая выдумка цэдээловской публики. «Цезарь Семенов? Это который в ЦДЛ с нанайцами концерт устроил? Да кто ж его в Москве не знает!». И еще: после этого цэдээловского вечера в эпицентре появилась Михайлова.

Итак, в Доме литераторов принимали группу западных интеллектуалов из стран Бенилюкса. Почему именно моему герою поручили выступить, остается загадкой. Возможно, было время летних отпусков и никакого известного писателя найти не удалось, а может быть, импозантный его вид вспомнили.

Но что же произошло в этот душный день в ЦДЛ? Да вообще-то, ничего такого. Просто титаны мысли из стран Бенилюкса вылезли с вопросом, который давно уже миру набил оскомину: де, почему определенной нации в нашей стране не дают ходу? Будь на трибуне человек с головой, он для начала осудил бы сам вопрос, назвав его чистой воды провокацией, и нужно было быть моим чудным Цезарем, чтобы вступить с интеллектуалами в спор.

«Не дают определенной нации ходу? Кто вам, господа, сказал? Да у нас эта нация на каждом шагу! Вот в этом зале сидит редактор «Литературной газеты». Да у нас, если хотите знать, даже песня есть такая...» — после чего и процитировал известный в те времена шлягер (сейчас-то он в историю отошел, а тогда его любили распевать в электричках студенты все той же упомянутой нации). Но не в прямую процитировал — если бы в прямую! — а как бы иносказательно, вспомнив ни к селу ни к городу одно невинное нацменьшинство Хабаровского края. И то ли спел, то ли продекламировал: «Нанай-

цы, нанайцы, кругом одни нанайцы!». Зал грохнул от смеха. Дежурный куда-то бросился звонить, и позже, как говорили, директора ЦДЛ долго таскали на Старую площадь. Но тогда все спустились на тормозах: интеллектуалы и сами развеселились после того, как перевели им содержание шлягера. Потом все отправились в ресторан и хорошо выпили, и кто-то, кажется, сам Цезарь, поднял тост за дружбу всех прогрессивных народов мира, и только в конце произошла маленькая неприятность: к Цезарю подошел редактор «Литературки» и, обиженно ощерившись, в ухо ему прогудел: «Скажите, дорогой, а по какому, как го-рится, праву вы причислили меня к этим так называемым нанайцам?».

— Но вы же, дружище, это самое! — сорвался с колес Цезарь.

— Это вы, как го-рится, это самое, а я, как го-рится, белорус.

Затем началась история с Михайловой. Цезарь ее еще издала отметил: красивая декольтированная кукла с голубыми ресницами. Вслед за редактором «Литературки» подошла к Цезарю и она, и, представившись поэтессой и нештатницей «Московского комсомольца», сказала: за что, Исаак Соломонович, нанайский народ обидел?

После, слово за слово, познакомились, и он как будто попросил у нее двухкопеечную, последнее ее и вывело из себя:

— Что, жене звонить хотите? Не на ту напали, — но затем ни с того ни с сего пригласила к себе. — Надеюсь, Исаак Соломонович, себе ничего не позволите!

На другой вечер Цезарь привел красавицу в эпицентр, и она, эдак экстравагантно пустив струю дыма в нос Касторскому, сказала: «Ну, чижик, представь меня этим Рабиновичам!». И добавила: «Меня, джентльмены, зовут Михайлова!».

Войдя к Михайловой, Цезарь пораженный застыл: стены были обклеены кроваво-красными обоями. Над столом, вышпанным в стиле ампира, висел пронзительно-красного цвета абжур. Кругом были одни иллюстрации из «Плейбоя», если не считать портрета самой Михайловой с великолепной голый грудью и фото старика с трубкой: а ля Эренбург, с факсимильной строкой — но не «на добрую память Михайловой», как полагалось бы, а отзыв о ее поэзии: «Это потрясающе талантливо и потрясающе бесстыдно!».

Был еще ни к селу ни к городу портрет какого-то русского генерала с георгиевским крестом — как совершенный анахронизм, как плевок всему ее плейбоевскому интерьеру.

Она поставила на ковер шотландское виски и бутылку рома и, не выпуская изо рта сигареты, стала читать и всякий раз торжественно объявляла. Вначале: «Исповедь менады». Затем «Вакхические мотивы». И все время наливала себе. И перешла почти на шепот, когда начала новый свой цикл: «Межпланетный эрос»: «Сталь Юпитера объятий исторгла крик души моей!..» «Я с Сатурна на Марс Лечу и кричу, и кричу, и кричу...»

Цезарь, откинувшись на спинку дивана, с интересом наблюдал ее. Любопытно, сколько у этой вакханки было мужчин?

— Может быть, вы, Розенфельд, мне скажете что-нибудь? Или будете и дальше меня раздевать? Я ведь могу и обидеться.

— Потрясающе! Он на Марсе, она на Сатурне! — улыбнулся он.

— Да, представьте, он на Марсе — она на Сатурне!

— Ах, я люблю тебя, жизнь, хотя, может быть, это не ново!

— Вы пошляк, Розенфельд! — грустно вздохнула Михайлова и присела на диван. Вначале поодаль, словно опасаясь нападения. Нападения не последовало. Она приблизилась и, вытащив из его кармана щеточку, поправила ему усы. Нападения снова не последовало. Потом все повторилось. Космические стихи и шотландское виски, которым из своих рук стала поить его. Потом она достала соломинку и стала пускать ему в лицо пузыри и потушила свет. И чтобы чересчур не затягивать, скажу, что вместе с первыми забрезжившими в ее обители лучами солнца она отдалась ему. Происходило это бурно, с упреками, что он камень, что он отвратительнее камня. Пока сама не ввела его в состояние шока, но не бурными эмоциями, а фактом чисто физиологическим. Подтверждение которму он увидел на постели.

Пораженный, он поделился с ней своим открытием, она разразилась нервным хохотом: это она-то девственница? С чего это он взял? В ее-то годы?

Но когда она, мертвая, заснула, Цезарь разыскал ее паспорт. И получил второй за эту ночь шок: вакханке и секс-бомбе Михайловой не было еще девятнадцати. Он внимательно оглядел ее. На сколько же она выглядела? На столько и выглядела! По крайней мере, сейчас, когда спала и когда гла-

зами он снял с нее всю штукатурку. С круглого детского лица с голубыми ресницами. Под красным абажуром... Сезанн, Моне, Ренуар... Чушь! Волосы, как пакля, из-за них и была похожа на куклу с закрывающимися глазами. Под его взглядом кукла открыла глаза и показала язык:

— Шпионишь, чижик? — Она поманила его пальцем к себе: — выбрось, чижик, этот бред из головы, договорились?

У Михайловой он пробыл до утра.

О скандале, устроенном в это утро Вавой, я узнал позже, от Касторского. «Физическую силу Фирка применила, на развод подала!» — молот Габушка, во что трудно было поверить: на другой день Цезарь снова ушел к Михайловой, хоть и рано вернулся. И на следующий день снова. Любовь продолжалась неделю, после чего Цезарь исчез. Был — и не стало. Вот вам все объяснения люминалу. Из-за чего исчез? Ну уж это вопрос не для Цезаря. Слишком много было гроз и молний — скажем так. Ему хватало радиоактивного Габушки. Михайлова была уже перебор.

Перед тем как глотать люминал, позвонила и попрощалась с ним, и разумеется, стихами, на этот раз пушкинскими. Простенько так позвонила, умиротворенно:

— Прощай, чижик, вечером улетаю по морям, по волнам мимо острова Буяна, в царство славное Салтана...

Как ее спасли, история умалчивает, однако из больницы вернулась другой, словно подменили. С Цезарем стала на дружеской ноге и заявила, что берет на воспитание вьетнамского младенца.

— Да, ечменоть, маленького вьетнамца!

Вот вам и вся история про ее сексуальное неустройство, из-за чего ее заживо сжирал Касторский.

ГЛАВА 10

Когда это происходило? В эпоху Веспасиана? Тита Ливия? Или спустя две тысячи лет, при коллективном руководстве? Словно это так важно для эмигранта, пытающегося составить из клочков своей биографии картину прошлого? Странно: я уже столько раз вызвал из этого прошлого, а о себе, авторе этой хроники, — ни слова. Так вот: Кролчер Аркадий Ноевич, 1932 года рождения, уроженец города Москвы. Могу добавить:

журналист областной строительной газеты. Но продолжать затрудняюсь, ибо даже для себя не решил, о каком Кролчере идет речь — о том ли, чья брэнная плоть катапультировалась в другой мир, или о том, чья душа навсегда осталась в России.

В моей внешности нет ни одной замечательной черты — все стерто! Оттого так и восхищаюсь нафиксатуренными усиками Цезаря. Я, кажется, опустил, что когда мчался с Изольдой через школьный двор, нечто подобное намечалось и у меня — и своим едва пробивавшимся пушком я прижался к ее бархатному телу. С возрастом пушок облез и превратился в две висящие под носом капли, которые я больше всего ненавижу в себе. Если их сбрить, то под носом образуются две белые проплешины, а если подкрасить, то я становлюсь похож на какого-нибудь Подхалюзина или на «пошло-хорошенького» Трухачевского из «Крейцеровой сонаты».

...Я сижу за компьютером и играю в американскую игру Джиг-со пазл. Джиг-со — по-английски лобзик, с помощью которого дети распиливают дощечку с изображением картины на множество причудливых кусков и кусочков. Затем собирают куски. Этим занимаюсь и я, то есть по разодранным кусочкам памяти пытаюсь восстановить историю собственной души, к которой имею все меньшее отношение.

Я вполне благополучен. Вместе с женой Руфиной владею домом в окрестностях Нью-Йорка, в городе Джерси-сити. Однако большая часть моей жизни протекает в подвале, по-английски в бэйзменте, который в силу моего осадного положения правильнее было бы назвать бункером. Бункер оборудован всем необходимым для обитающего в нем лица, включая душ и телефон и даже кресло-кровать со старым, изодранным матрацем. Все выглядит так, будто кто-то намерен меня взять штурмом, хотя я ничем не угрожаю своему окружению: какая может быть угроза от стареющего, безъязыкого эмигранта, заброшенного в чужой, неведомый ему мир? Строго говоря, я даже не могу назвать себя писателем. Во-первых, потому что еще не создал ни одного произведения, и во-вторых, все идеи ко мне приходят не тогда, когда пишу, а когда лежу на разодранном матраце и глазею в потолок. Или в окно: из него проникает в бункер солнце. Иногда вижу безумных белок, иногда — подагрные ноги моего соседа немца Постаменты, подстригающего траву с помощью грохочущей, как старый мотоцикл, косилки.

Крыша девятистолетнего Постаменты утыкана множеством антенн. В прошлом он известный радиолобитель, сейчас это толстый мизантроп в кепке и в калошах, он едва волочит ноги и вечно смотрит в мою сторону с неприязнью.

Однажды он тайком стал перебрасывать мусор со своего тротуара на наш, что меня ужасно развеселило. И с тех пор, когда я вижу в окне калоши Постаменты, у меня выделяется адреналин: в такие минуты, как ни странно, хорошо пишется.

Перед уходом на службу моя жена Руфина оставляет мне обед для разогрева. Так же, как когда-то Вава оставляла Цезарю. В отличие от меня, Руфина — истинная американка и о своих соотечественниках пренебрежительно говорит: «Ах эти рашенс!». Или: «Ну что вы хотите от этих рашенс!». Или: «Шоб я еще раз в жизни связалась с этими рашенс!».

Более всего ее раздражает, когда я в присутствии ее знакомых американцев пытаюсь изъясняться по-русски. В этих случаях она делает в моем направлении замысловатое па и, не поворачивая головы, шепчет: «Кролчер, спик инглиш!».

Меня она зовет исключительно по фамилии. Себя называет бизнесвумен, поскольку занимается реалэстейтом, то есть куплей-продажей домов. На доисторической родине про нее могли бы написать: «Всегда на трудовом посту», что в условиях Америки означает — «Всегда с клиентами».

Когда ее американская приятельница Бетти сетует, что Руфина ей редко звонит, она бывает искренне поражена: «Ах боже, дорогая, ты же знаешь, что у меня клаэнтс». Но стоит сказать нечто подобное мне (то есть, что пишу хронику и прочее), как в ее взгляде появляется улыбка: «Послушай Кролчер, да если я продам только один дом... — Она молчит за ясностью диспозиции, но если сохраняю молчание и я, продолжает: — Что ты на меня так смотришь? Давай, Кролчер, рассуждать логически».

Руфина — киевлянка, и она чуть-чуть выше меня. Ее круглое лицо со сливовыми глазами и обрамленное черными барашками, можно было бы назвать красивым, если бы не прыщики, которые она по утрам тщательно запудривает. И — если бы она не улыбалась. Когда она улыбается, у нее вздрагивает подбородок, и ее собеседнику становится неловко, ему кажется, что она вот-вот заплачет.

Ходит она, подавшись своим крупным телом вперед, так что на доисторической родине о ней могли бы написать: «Всегда в движении!».

Кстати, единственное, что делает меня в ее глазах незамеченным, — это моя фамилия. В девичестве она была Руфой Розентуллер. Ребенку ясно, что с такой фамилией карьеры бизнесвумен не сделаешь. Другое дело, когда она по утрам сильным и звонким голосом приветствует своего босса: «Мистер Уитни, хау ар ю, говорит миссис Кролчер!».

Во время ссор Руфина заявляет, что еще вполне может устроить свою личную жизнь. И если читает в моих глазах иронию, то говорит: «Что ты на меня так смотришь, Кролчер? Мне только 49 лет. Давай рассуждать логически...» Далее читайте выше. Она говорит, что не идет со мной на развод исключительно из-за Машки.

Машка — ее двадцатипятилетняя балбеска от первого брака, которую я перед отъездом удочерил и которая никак не может закончить колледж. В Америке она ни одного дня с нами не жила. Спускаясь ко мне в бункер, она всякий раз целует меня и спрашивает: «Дэди, как романчик? Гуд?». Это значит, что ей нужны деньги.

Что добавить еще? Может быть, что Руфина вылитая копия своей мамы, мадам Розентуллер, оставшейся в Киеве. Мадам Розентуллер — это Руфина в утяжеленном варианте.

Мое общение с внешним миром происходит обычно между восемью и девятью утра, когда я вылезаю на прогулку со своим соседом — пенсионером Риком. Встречаемся мы на краю парка у телефона-автомата, куда он является со своей рыжей дворнягой Кэрл и маленьким тибетским шпицем Сузи.

Рик — чистокровный англосакс-восп. Он большой симпатяга и, как истинный американец, не любит негативных эмоций. Поэтому между нами молчаливый договор — не обсуждать неприятных тем, например, тему СПИДа, рака, а также — преступности среди негров. Однажды я заговорил о либералах, которые пляшут под дудку московского КГБ. При упоминании КГБ на добром лице Рика появилось страдальческое выражение, будто его только что укусила пчела. И он стал рассказывать, что на следующий уик-энд к нему приезжает из Индианы пятнадцатилетний сын его старшей дочери Билл, то есть Рика внук, который на голову выше, чем он.

Растущие как на дрожжах внуки — коронная тема Рика. И еще прогнозы погоды. И еще Рик обожает географию и животный мир. Но эти темы не могу поддерживать я из-за языкового барьера. Однако барьер этот не мешает мне обрушиваться на происки либералов и московского КГБ.

Когда-то я встречался с Риком, чтобы практиковаться в английском. Но после того как сел за свое произведение, эта задача увяла. И теперь единственная цель моих прогулок — релакс, на который настраивает даже внешний вид Рика: его седая челка, седые усы и цвета морской волны майка с надписью на груди «Юнайтед Джерси банк».

Рик — в прошлом спортсмен и воплощение всего светлого, что есть в этой стране, без КГБ, ЦРУ и без либералов. И конечно, без дьяволов, раздирающих мне душу, когда на Брайтон Биче я встречаю русских эмигранток смертельно затянутых в джинсы и с танцующей походкой Лолочки.

В Америке девушки — другие, которые не станут за здорово живешь выпендриваться. Или улыбаться из желания разбудить в вашей душе дьявола. У улыбки должна быть цель, улыбка — это путь к семье и счастью, и, конечно, к удачному бизнесу. В этом драма Руфины. За плачущую женскую физиономию, будь она даже мадонной Рафаэля, в этой стране не дадут и цента.

Так вот, о моем друге Рике. Когда он с трубкой в зубах и с резвящимися на поводках Кэрл и Сузи вышагивает мне навстречу, я чувствую, как живительные соки релакса разливаются по моим членам. В жизни еще не все потеряно («Вот напишу эту хронику и удивлю мир»). И все будет светло и вышевненно. И надо утратить остатки такта, чтобы испошлить это мгновение разговорами о спиде или о КГБ.

— Хау ар ю? — приветствую Рика с солнечной улыбкой.

— Прекрасно, ай эм файн! — отвечает Рик и с тем же вопросом обращается ко мне.

— Ай эм файн! — отвечаю я и интересуюсь самочувствием жены Рика Джоан.

— Джоан из гуд! — отвечает он и спрашивает, как моя жена.

— Ши из гуд! — отвечаю я, озабоченный тем, не подрежет ли нам это неожиданное «гуд» крылья. И спрашиваю у Рика, что нового вообще.

— Все олрайт! — вносит он в мою душу мир и говорит, что Джоан после обеда идет к дантисту делать протез.

— Кэрл, назад! Бэд герл! — Рик драматически возвышает голос и, как только Кэрл возвращается, нежно треплет ее за ухом: — Гуд герл!.

Мы молча шагаем вглубь парка.

— Ужасная жара, — глубокомысленно замечаю я, — интересно, какой прогноз на завтра? — Я говорю «прогноз», хотя следует сказать «форкэст».

— Форкэст из файн, тридцать градусов выше нуля! — отвечает Рик и спрашивает, как моя хроника, хау из май новел?

— Май новел из файн! (Боже, насколько «файн» в своей поэтической завершенности лучше, чем расплывчатое и подозрительное «гуд»). — Но в целом момент опасен, теоретически Рик вполне может поинтересоваться, о чем мое произведение. Но вместо этого он сообщает, что муж его дочери, Джордж, тоже писатель. Неделю назад у него в Новой Англии родился сын, то есть восьмой по счету внук Рика.

— Писателю в этой стране трудно, на что, интересно, живет? — вылезает из меня провокационный вопрос, — дела его, наверное, бэд?

— Джордж из файн! — отмечает мою провокацию Рик, в глазах которого слово «бэд» не имеет права на существование и применимо исключительно к проказнице Кэрл.

Чувствуя, что нарушил конвенцию, я спешу исправиться: а как его имя?

— Чье? — не понимает вопроса Рик, — Джорджа?

— Нет, сына Джорджа, — не знаю я, как выкарабкаться.

— Авраам!

— Авраам? Авраам Линкольн? Дэтс файн! — обретаю я форму и — подальше от греха — возвращаюсь к теме подрастающих внуков: — Хау ар йор грандчилдрен, Рик?

— Май грандчилдрен — олрайт! — отвечает он и рассказывает, что его внук Джекки, сын его средней дочери Лили, вторую неделю валяется с ветрянкой, и они с Джоан собираются на новой машине его навестить.

— Файн! — явно не к месту воспламеняюсь я.

Мы давно повернули назад, и я уже вижу вдаль автомат... Боже, я чуть не забыл главное: как он вчера сыграл в гольф?

— Май гольф из гуд!

До автомата несколько шагов, солнце невыносимо печет.

— Жарко, а, Рик?

— Дэтс гуд! — стирает он с лица пот. — Сузи! Назад! Бэд герл! — И, щурясь на солнышке, чешет ей за ухом: — гуд герл, гуд герл...

Я прощаюсь с Риком, возвращаюсь домой и, спустившись в бункер, усаживаюсь за компьютер.

Прямо передо мной — большой, в полстены, плакат: «Мы придем к победе коммунистического труда!». Затем два газетных подвала из нашего строительного органа: «Рапортуют древоотделочники Шатуры» и «Бен Кагановский — прораб будущего!». Оба принадлежат спецкору Закревскому, то есть неумирающему перу «красивенького».

Но это только начало. Под Беном — предвыборный плакат израильской рабочей партии МАПАМ. «Новые олим! Голосуйте за товарища Шлему Розе! Шлема — большой друг русской алии!».

Справа от Бена, если провести диагональ по направлению к Шлеме, — объявление знаменитого доктора Рутмана: «Новый метод удаления жировых отложений на бедрах, ягодицах и других частях тела». А в самом низу, ни с того ни с сего, желтая, вся в трещинах, фотография. На фотографии мы с папой стоим на берегу Черного моря. Золотой пляж «Бемлюк». Детский курорт «Анапа». У меня с рождения малокровие и аденоиды, и по совету знаменитого доктора Берлянта папа вывозит меня каждое лето в Анапу. Ах, Анапа! «Ну-ка, солнце, ярче брызни!». «Спасибо товарищу Сталину!». «Пионер — всем детям пример!».

Папа — без своей любимой ленинской кепки. Молодой и наголо обритый, прижимает к себе надувшегося на весь мир шоколадного рахитика в бескозырке. С развешивающимися на ветру ленточками и полукруглой надписью «Броненосец Потемкин». Папа треплет рахитика по щеке. Идет очередной экзамен.

— Аркадий, а ну-ка быстренько — кто в нашей стране нарком обороны?

— Сталин! — весело кричит рахитик.

— Кадя, подумай. Товарищ Сталин великий вождь и организатор всех наших побед, а я спрашиваю, кто нарком обороны.

— Клим Ворошилов! — весело кричит рахитик.

— Кадя, подумай. Клим Ворошилов — первый маршал и герой гражданской войны, а я спрашиваю, кто нарком обороны.

— Тимошенко!

— Умница! — говорит папа и сует в перемазанный рот рахитику зеленого прозрачного петушка.

Фото намертво приклеено к стене, все остальное на прозрачном скотче и потому отваливается и выводит из равновесия Руфину.

— Что ты еще повесишь, Кролчер? Каких еще рассадников инфекции? А что, если я скажу, что не далее как вчера видела на лысине у Ноя Соломоновича огромного таракана?

Я пытаюсь Руфине объяснить, что играю в игру «Джиг-со пазл».

Она никогда не слышала об этой игре.

— Нет, правда, Кролчер, шоб мы с мамой были так здоровы, как тебе нужны все эти цацки.

Чувствую, что надо пересаживаться на другого конька, и объясняю, что я так же, как Таиров и Мейерхольд, мыслю исключительно символами. Символы добываю через советский книжный магазин «Четыре континента». Кстати, знает ли она, что такое сюрреализм? Конечно, знает. А кто же не знает, что такое сюрреализм? Но при чем тут Шлема Розе? И кто он такой, шоб из-за него разводить в доме антисанитарию?

— Как кто? Не знаешь Шлему Розе? — просыпается в моей душе дьявол. — Шлема — человек завтрашнего дня, прораб будущего!

Руфина настораживается, но поздно: не хочет ли она сказать, что не знает Бена Кагановского? Бен — большой друг русской алии! На пару с доктором Рутманом вырезают из задниц жир. И идут к высотам коммунистического труда. В компании с мистером Уитни и мадам Розентуллер.

Руфина уже жалеет, что со мной связалась.

— Дуру из меня делаешь? — смеется она. Во время смеха у нее вздрагивает подбородок, и мне кажется, что она вот-вот заплачет. — Кстати, ты напрасно это, Кролчер, мама к тебе очень хорошо относится.

ГЛАВА 11

Вернемся, однако, назад, в эпоху коллективного руководства, когда и случились неприятности у моего героя. Дело, как помним, угодило в Высший суд партии, и началась бюрократическая рутина, которую, признаться, я даже затрудняюсь описать. Сколько лет-то прошло! С другой стороны, может быть, все к лучшему, ибо теперь у меня нет другого выхода — только излагать факты и идти за сюжетом жизни.

Итак, письмо Купцовой из кабинета Высшего судьи партии перекочевало к партследователю КПК Николаю Николаевичу Осколкину, он вскоре и позвонил моему герою. В общем, все развивалось обычно для этого здания:

— Не могли бы, Цезарь Семенович, минуток на пятнадцать к нам заглянуть? Зачем вызываем? Ну, во-первых, не вызываем, а приглашаем, а во-вторых, Цезарь Семенович, чего телефонную сеть без толку нагружать. Согласны? Вот и славненько!

Любой от такого звонка был бы озадачен. Вот и Цезарь все дни ломал голову и, когда вошел в кабинет к Осколкину, то и сам не знал, что его мучило — робость перед учреждением, где очутился, или любопытство от неизвестности, которая его ждала.

Что же касается Осколкина, то внешне казался он совершенно неинтересен, стертая такая личность, на голову ниже, чем Цезарь. Единственное, что выделялось, — маленькие острые скулы, которые, словно у девушки, время от времени заливались краской.

Осколкин оглядел Цезаря («Надо ж, какой красавец!»), предложил ему кресло и, прохаживаясь по кабинету, спросил:

— И по какому вопросу, думаете, мы вас пригласили?

— А я, знаете, перед партией чист, — с достоинством ответил Цезарь, — готов отвечать на любой вопрос.

— Он готов! — рассмеялся Осколкин. — Да я сам, может, не готов. А ну как возьмете и обидитесь на мой вопрос! С другой стороны, чего вам обижаться, когда не вас и дело касается. Буду откровенен: КПК интересуется ваш сосед Голдесман! (Как это он сразу не догадался, о ком речь, ясно о нем!)

— Да я, Николай Николаевич, его, в сущности, не знаю, — обрадовался такому повороту Цезарь. — Живет себе и живет. Как говорится, нам, нанайцам, безразлично! — и от этой собственной шутки почувствовал себя совсем свободно. — Раз решите, Николай Николаевич, скинуть пиджак.

Однако Осколкин не обратил внимания на его просьбу.

— Нанайцы, говорите? — загадочно улыбнулся он.

— Ну да, живут на севере Хабаровского края... — насторожился Цезарь.

— Пойдите, пойдите, а это случайно не те нанайцы, про которых один наш писатель песню сочинил? «Нанайцы, нанайцы, кругом одни нанайцы»? (От этого замечания Цезаря неприятно передернуло, заурчало в животе.) Да вы не берите в ум, Цезарь Семенович, сейчас КПК не песня интересуется. Хотя в свое время можно было бы и о ней поговорить. А как этот маленький братский народ вечера проводит — вот что партии интересно!

— Какие вечера? Да у них и письменности нет!

— А для некоторых дел и письменность не нужна, а одна игривость. — Осколкин пригнулся к нему, словно боясь, что Цезарь не услышит, и почти в самое ухо сказал: — Ладно, Цезарь Семенович, поваляли дурака и хватит. В ресторане «Охотник» под праздник с кем был? — Цезарь почувствовал запах из его рта. Осколкин весело рассмеялся. — Что, испугался? Испугался, а? А чего пугаться-то? В рестораны у нас никому ходить не запрещено.

Теперь Цезарь уже не ломал голову, что все это значило. Значило самое пренеприятное, и следовало что-то срочно придумать. Осколкин — это не Вава. И не Габушка... И Цезарь придумал. Что придумал, другое дело. Но характер его увидите еще раз. Кое-что-то уже знаете. Теперь пойдем дальше.

— Испугался, да? — уже третий раз спросил Осколкин.

— Да чего мне пугаться? — будто даже весело посмотрел он на Осколкина. — Думаете, что? Все отрицать буду? Что было — то было!

— Отрицать? Чего вам отрицать, когда вы и обвинения никакого не получили?

— Обвинения не получил, а отрицать не буду, вот так! — решительно сказал Цезарь. Да! Он знает, о ком говорит Николай Николаевич, он действительно провел с этой девушкой вечер. С лучшими побуждениями. — А теперь чувствую, Николай Николаевич, что стал я в некотором смысле жертвой этой... «ж».

— С которой познакомились на улице Горького? Под праздник, шестого ноября? — покраснели у Осколкина скулы. — А я-то думал, что все это клевета. А букву эту «ж» для лихости употребили или, как бы это сказать, объект вспомнили?

— Какой же вы, Николай Николаевич! Сразу что-то неприличное. Да ведь это просто сокращенно: «д» — это девушка, «ж» — это женщина... Я в своем блокноте исключительно все буквами, аббревиатурами записываю. А чего, кстати, не спросите, для чего я на это знакомство пошел?

— А как же я буду спрашивать, а вы возьмете и не ответите? Вы вон у нас какой филолог! Так зачем остановил Купцову на улице Горького?

В лице у Цезаря опять появилось то же выражение, что и перед этим, словно насмехнуться готовился.

— В том-то и дело, Николай Николаевич, не я, а она меня остановила. Видно, фото где-то видела.

— Как славненько! Женщины прямо на улице его останавливают! Ну а потом-то? Пригласила в ресторан «Охотник»?

— Видите вы какой! Может, зря я с вами так откровенно?

— Зря? Как это зря? Вон над моим столом Владимир Ильич, за каждым коммунистом наблюдает и дневник ведет: кто чист перед партией — тому пятерка, а кто, извините, яйца крутит — тому кола. В общем так: Купцову в ресторан приглашал?

— Не отрицаю, приглашал! А зачем приглашал? Скажу, как было, а там хоть стреляйте. Затем пригласил, что решил писать об этой рабочей девушке очерк! Иногда, знаете, всю страну изъездишь. Слышали бы вы, как о жизни рассуждает.

— В подъезд зачем девку потащил? — снова обдал его запахом изо рта Осколкин.

— Опять? Еще скажете, что у меня с ней было что-то? Ведь намекали же, намекали! Да я могу вообще замолчать. Я коммунист, в конце концов! — сорвался вдруг на дискант голос Цезаря. По спине его текли ручьи, в животе урчало.

— Ладно, не дуйтесь, Цезарь Семенович! Ну ее клешему. Кто нам дороже — писатель, инженер человеческих душ? А с другой стороны, сознайтесь, ведь было дело под Полтавой, а?

— Будет дело, будет! Когда очерк появится. Скорее всего в «Московском комсомольце». У меня даже заголовок есть: «Один вечер с девушкой из Козицкого!» А вы, интересно, о чем думали? — погрозил он пальцем Осколкину, и они вместе рассмеялись. И оба замолчали. На минуту или две.

— Милиционер родился! — сказал Цезарь. — Но одну промашку я все-таки дал. — В его взгляде появилось то же, что давеча, насмешливое выражение.

— Дали промашку, дали, дорогой! — расхаживал Н.Н. по кабинету.

— Не надо было с ней один на один оставаться, но как я ее мог оттолкнуть? Не поверите. Все время за один предмет держала. Как бы вам это сказать — взялась и не отпускает! Даже дрожать стала от нетерпения.

— Какая героиня-то у вас темпераментная! И в какой же предмет вцепилась, а?

— В какой предмет? А вы сами, думаете, в какой? Только, пожалуйста, вслух не произносите, знаете, на какую букву? На букву «п»...

— «П!» — удивленно вырвалось у Осколкина.

— Ну да, на «п»! Вначале «п», потом «у»... потом «г»... Не догадались? В пуговицу на пиджаке вцепилась! А вы о чем, Николай Николаевич? — снова погрозил ему пальцем Цезарь. — Вцепилась и не отпускает: «Подарите, говорит, мне эту пуговицу как сувенир, на память!».

— Так и сказала — сувенир? Ох и интересная у нас с вами пьеса! — не спеша прохаживался по кабинету Осколкин. — В высшем органе партии. Под портретом Владимира Ильича! — Он подошел к телефону и поднял трубку (отчего мгновенно Цезарю стало не по себе). — Это кто, дежурный? С вами Осколкин говорит (Вот сейчас вызовет охрану и все кончится!) — позвоните в гараж, чтобы мне дали машину. Спасибо. — Он положил трубку и повернулся к Цезарю. — Смотрю я на вас, Цезарь Семенович, и думаю: а на какую вы у нас букву будете? Такой симпатичный мужчина, писатель. И знаете — на какую? На букву «ш»!

— Шутник? Шутки шучу? Нет, не знаю, Николай Николаевич!

— Шут гороховый! — сказал Осколкин и дернул его за кончик усика, потом растрепал волосы. — А все же вы мне чем-то нравитесь! Партийного в вас, конечно, ни на грош, а все равно нравитесь, люблю остроумных людей, — подал ему руку Осколкин.

— И вы мне, Николай Николаевич! — поднявшись с кресла, пожал ее Цезарь. Перед тем как идти, он тщательно причесал волосы, Осколкин проводил до двери:

— Да, чуть не забыл спросить: вы, Цезарь Семенович, блинчики любите? Какие блинчики? Очень обыкновенные, те, которые в кафе «Артистическом» кушали? Нет, нет, не отвечайте — не надо! Это вам на дорожку вопрос на сообразительность, чтобы не скучно было, — весело похлопал он гостя по плечу и снова растрепал ему волосы.

Когда, выйдя в коридор, Цезарь взглянул на себя в зеркало, то ужаснулся: на него смотрела потная, растерзанная личность, брюки спадали с живота, в животе бурлило. Он хотел было их подтянуть, но обнаружил, что отстегнулась подтяжка. Скинув пиджак, стал было ее пристегивать, но проходящий мимо сотрудник, увидев это, сказал: «Гражданин, здесь оправляться не положено, уборная есть!».

Цезарь отправился в уборную и лоб в лоб столкнулся с девушкой в короткой юбке, по-видимому, технической сотрудницей.

Отпрянув в коридор, он увидел с наружной стороны двери букву «Ж» — женский туалет. Сотрудница (то ли машинистка, то ли секретарша), показавшаяся ему совсем молоденькой, громко прыснула ему в спину. Разумеется, он не мог заподозрить, что судьба еще сведет его с ней — и при обстоятельствах, которые вряд ли кто-то в этом мире мог предвидеть.

Ночью мне приснился сон, будто все произошло не с Цезарем, а со мной. И выхожу я не от Осколкина, а от своего следователя бурбона-Потапова. По спине ручьями катит пот, табачище от его «Беломора» так шибает в нос, что с ног валит. Выхожу в состоянии, точь-в-точь, как у Цезаря, только расстегнулась не подтяжка, а ширинка. Ношусь по темным коридорам высшего Органа и никак не найду места, где бы ее застегнуть. И, как шекспировский Тринкуло, выкрикиваю: «Рыба! Пахнет рыбой! Так и несет старой, тухлой рыбой!». Вдруг вижу, выходит из женского туалета молоденькая секретарша, та самая, что Цезарь давеча встретил: «Вы кто же, спрашивает, гражданин, будете?» — «Как кто? Разве сами не видите? Узник Сиона!». «Ну и что вам надо, господин узник?» — «А вы сами, девушка, не догадываетесь?» — «А, понятно... Но тогда отнесите меня на телеграф или в соседнее с ним учреждение. Там у меня как раз прием узников Сиона». Не успел к ней приблизиться, как вдруг сзади кто-то кирпичом меня по голове! А я ни боли, ни крови не чувствую. Даже, напротив, состояние блаженства. И уже утро, в окне снежок и солнышко, и слышу над ухом бесконечно родной голос: «А что ты скажешь, Кролчер, если я в гараже опять мышшь увидела?». Какую еще мышшь? Опять этого Зорге? Это я так зову поселившегося в нашем гараже мышонка. У меня привычка — всякой живности давать имена — белкам, бурундучкам. А этого и вовсе зову сюрреалистом Зорге. Я и видел-то его всего один или два раза, и оба раза, когда я разрывал книжную свалку. Зорге, как черное привидение, взблеснул и исчез перед моими глазами в небытие. А я, надо сказать, с раннего детства, еще от папиной приятельницы Стелочки, жившей вместе с нами, унаследовал неприятие мышей. (Когда она в коридоре видела мышонка, то вскакивала на табурет и оглашала мир ужасающим криком, ее ужас передавался мне, и я молил Бога, чтобы черный негодяй сгинул с глаз.) На этот раз все было проще: я взял и принес от своего соседа Рика их кота Джона. По словам Рика, он действовал против мышей, как нейтрон-

ная бомба. В нашем доме Джон прожил больше месяца. Наутро после того как его унесли, этот мерзкий комочек, этот неуловимый Ян снова промелькнул среди книг, после чего к его дурацкой кличке я и добавил — «сюрреалист». Теперь он попался Руфине, обожающей задавать вопросы, на которые нет ответа: что я намерен предпринять, если она увидела в гараже мышшь? Однако какая тут связь с моим рассказом? Ах, никакой: просто отдаю дань таинствам жизни и возвращаюсь к своей хронике.

ГЛАВА 12

Первый раз я прочитал «Крейцерову сонату» в школе, кажется, той же осенью, когда произошел случай с Изольдой. Я искал у Толстого ответ на вопрос: отчего, оказываясь рядом с девушками, я начинаю себя ненормально вести? Не со всеми, а с такими, например, как Изольда. Нормальный человек никогда бы не учинил того, что учинил с ней я на школьном дворе. Я так и не нашел ответа у Толстого, зато пришел к заключению, что он величайший лицемер всех времен и народов. Я также понял, что не так уж важно, о чем пишет писатель, а то важно, что он сознательно умалчивает и о чем проговаривается, не в силах заглушить собственные эмоции. Толстой восстал против общества, превращающего женщин в «развращенных рабынь». Но обличая их, он изнемогал от наслаждения, получаемого от их разврата. Он лицемерил на самом святом, его оргазм я чувствовал между строк.

Вот так годами «Крейцера соната» развращала меня и расщепляла мне душу. Благодаря ей, как ни странно, я и стал узником Сиона, угодив на пять лет в Потьму. Тут я должен кое-что уточнить. Все произошло из-за женщины, которую я пытался обратить в веру Толстого. Не в ту, что он декларировал, а в ту, что лицемерно умалчивал. И сам того не замечая, я вербовал в эту толстовскую паству все новых «развращенных рабынь».

С одной из них я и попытался сотворить то, что почти проделал с Лолочкой в эпицентре. Лолочку я пытался унести в «Мособлавтотрест», а эту переправить на другой берег Черного моря в Турцию. Последнее прямо вытекало из следственных материалов: после отсидки и реабилитации мне дали с ними ознакомиться.

Это было типичное сталинское дело, по которому вместе со мной проходил начальник Закавказского военного округа, пара секретарей обкомов и еще несколько шишек того же калибра.

Особое Совещение длилось сорок минут, и ту, что я пытался перебросить через границу, даже не вызвали: необходимые показания она дала на следствии. Главным свидетельством против меня должна была стать развешанная на стене карта Черноморского бассейна с указанием начального и конечного пунктов моей преступной антисоветской деятельности: курортный поселок Цихидзири, расположенный в двадцати километрах от Батуми, и по другую сторону моря — столица Турции Стамбул. Из Цихидзири в Стамбул через всю карту была направлена стрела — путь, по которому я с подельниками планировал перебрасывать юные кадры в Турцию.

Как вытекало из следственного дела, я познакомился с ней в столовой дома отдыха «Ударник», как раз и расположенного в этом злосчастном Цихидзири. Не помню, сколько ей было лет — семнадцать? Восемнадцать? Во всяком случае не больше девятнадцати. Я узнал, что, окончив школу, она работала машинисткой в Воронежском облстройтресте. Чем меня покорила? Да само слово «покорила» тут было совершенно некстати. Она выглядела так, как и должна была выглядеть аппетитная восемнадцатилетняя машинисточка из Воронежского облстройтреста.

В ночь, когда все произошло, на ней был толстый вязаный купальник с розочкой, который обтягивал ее юную тушу с парой мощных загорелых грудей. Я волок ее в море, и она вскрикивала мне в ухо: «Ой! Ой, сейчас уроните!», Нет, не так: «Ой! Ой, сейчас урони-тя!».

— Какая ты тяжелая! — шептал я ей в ухо.

— Не тяжелее вас! — кричала она.

Как познакомились? Как знакомятся в домах отдыха? Обычно я появлялся последним за нашим столом, и она всякий раз констатировала: «Опаздываете?». Нет, не так: «Опаздываете!» — одно это должно было меня насторожить, но почему-то вызывало умиление.

Началось все в первый день, когда она, как пионерка, привстала из-за стола и, протянув мне холодную ладошку, представилась: «Эльвира!».

— Как? — не выпускал я ладошку.

— Эльвира Зеленец!

— Руки холодные! — заметил я.

— Сердце горячее! — ответила она.

Зачем я отправился с ней на море? Если мне было 19 лет, и у меня еще не было в жизни женщины, и я выкручивал перед зеркалом свой нос, пытаюсь его сделать хоть чуть-чуть приличнее, то зачем я повел ее ночью на пляж? Философствовать о «Крейцеровой сонате»? Как это ни странно, но именно этим я занимался у нее в палате во время «мертвого часа»: не готовил ли ее к тому, что собирался совершить ночью?

Здесь я, пожалуй, сделаю отступление и расскажу о моих соседях по столу. Кроме Эльвиры за столом сидела старая болтливая бухгалтерша из Москвы Берта, к слову скажу, поразительная зануда, и преподаватель диамата из Воронежского пединститута Чекмарев, представившийся профессором философии.

Что до меня, то в это лето я перешел на второй курс библиотечного института. Несмотря на серебряную медаль, в МГУ меня, понятно, не приняли, и имя своего храма науки, готовившего кадры для библиотек и книжных коллекторов, я стеснялся произносить вслух. Поэтому за столом представился студентом факультета журналистики. Сделал это на свою голову. Берта с первого дня изводила меня вопросом: «Ну как там, Аркадий, нашего брата не очень прижимают?». Подразумевалось, что «там» — это в органах советской печати, где я был своим человеком.

Но если Берту я еще с грехом пополам терпел, то марксиста возненавидел с первой минуты. Во-первых, его голос... он гудел, как иерихонская труба, но это еще не все. Он пребывал в уверенности, что весь мир и, следовательно, наш стол, должен неустанно познавать законы диалектического материализма. И он, отдавший этому благородному делу жизнь, видит свою цель в том, чтобы помочь в этом и нам. Короче, о чем бы не заходила речь, он всякий раз пускал в ход четыре черты диалектики.

Его сын от первой жены, Иван (профессор был вдовец), три года поступал в институт. Но все-таки поступил. Количество перешло в качество. Вторая черта диалектики.

Особенно он любил демонстрировать нетленные законы на мне. Когда я опаздывал к обеду, он тут же разъяснял:

— Конфликт передового бытия и отсталого сознания. Первая черта диалектики.

Мое отсталое сознание вообще не давало ему покоя: «Простите, молодой человек, а сколько у вас по марксизму-ленинизму?» — спросил он однажды. «Три, профессор!» — завелся я с полоборота. «Оно и видно по вашим рассуждениям!». «Как учили, так и выучили!» — толкнул я тупым пальцем босоножку Эльвиры. К моему удивлению, она обиделась: «Чего толкаетесь? Послушали бы, чё умные люди говорят!».

Она смотрела на марксиста широко раскрытыми глазами, и у меня появилось отчетливое желание его прикончить. Ко всему прочему мы оказались в одной палате, и по вечерам он не уставал меня просвещать: что бы ни говорили про русских людей, мудаки и прочее, а он их ни на каких американцев не променяет. Ну и конечно: он Иван и сын Иван... «А что если надвинуть на твою красную морду одеяло, думал я, а самому скрыться, уплыть, например, в Турцию, сколько интересно плыть, если третий разряд по плаванию?»

Мне не пришлось его душить, поскольку он, как говорят боксеры, открылся сам. Как-то за завтраком попросил одолжить ему денег, на днях ему из дому вышлют аккредитив. Было это в присутствии Эльвиры, и я не мог себе отказать растянуть удовольствие: долго рылся в бумажнике, десять вам хватит? Но можно и двадцать... И с этого дня потерял покой: отдаст марксист десятку или не отдаст? Я жаждал, чтобы не отдал. Будет марксизм в действии. Это стало для меня вопросом жизни и смерти, быть или не быть.

Домой, в Воронеж, он уезжал в пятницу вечером, а утром я прочел в «Правде» сообщение об аресте врачей-отравителей. Читая его, я заметил, что каким-то образом марксист оказался позади меня. Раньше из-за одолженного червонца он не позволял себе задирать глаза, а тут нагло выкатил глаза и спрашивает: «Ну как, молодой человек?» — «Что как?» — сделал я безразличное лицо. «А ничего, молодой человек!».

Я почувствовал, что не знаю, куда себя деть. Все тут смешалось: и долг, и марксист, и врачи-отравители. Куда я ни появлялся, весь дом отдыха не сводил с меня глаз: мол все им про меня известно, и недалек уж мой час и прочее и прочее. В этом пароксизме отчаяния и заглянул я в окошечко к моей машинисточке — она лежала, раскинувшись на койке в одном купальнике и открыв миру пару выпроставшихся из бретелек загорелых грудей. Изнемогая от желания и душевной скверны, я устремился к ней в палату и, усевшись с ней рядышком, сразу

положил на плечо руку, она руку сняла и сказала, что «нельзя». Чего «нельзя»? Ничего «нельзя»! Вот тогда я стал философствовать о «Крейцеровой сонате». Я не испытывал никаких трудностей, все, что я ни говорил, ей было внове, ведь в школе они эту вещь не проходили.

— Не слышала о «Крейцеровой сонате»? — расхаживал я по палате и объяснял ей, что мужчины, будучи сильным полом, держат женщин в рабстве. Вы — наши развращенные рабыни, которые действуют на нашу чувственность и подчиняют нас своей воле. Я упивался собственным красноречием, и можно было подумать, что хочу сразить свою дульцинею интеллектуально. В этом случае я достиг победы еще до наступления темноты, когда она, глядя на меня широко раскрытыми глазами, сказала, что не прочь стать моей рабыней, но ужас как меня боится. «Ужас, как боюсь», — сказала она. «А ты не бойся!» — упивался я победой и пригласил ее на ночное купанье. В этом была своя логика, но то, что на пляже я сграбастал ее и помчался с ней в море, отдавало идиотизмом. Точно так же, как когда-то с Изольдой.

Припав к ее загорелым грудям, я врезался с ней в волны. С ее плеч сползли бретельки, и я думал, что вот-вот рехнусь.

— Ой! Ой! Сказала нельзя! Куда понесся?

— Куда? В Турцию!

Я задыхался в пене волн. Она сдавила изо всех сил мою шею и на все море вскрикнула:

— Пусти! Ты русский человек или нет?

Первое, о чем спросил поджидавший на пляже патруль: с какой целью я вошел с гражданкой в море в неположенный ночной час? Надо было видеть их уставившиеся в меня хамские физиономии.

— Так ви нам скажете, с какой целью? — допрашивал меня черный и хмурый хохол в зеленой фуражке. У него был длинный пористый нос, которым он все время ко мне принюхивался.

— Говорите, же Хролчер, с какой целью?

— А вы сами не догадываетесь с какой?

— Нам это не известно! Может, хотели перебежать в другую страну?

В этот момент я и сорвался с тормозов:

— Вот именно! Перебежать в Турцию!

— А куда хотели деть гражданку? — и глазом не моргнув хохол.

— Сдать в один из гаремов Стамбула! — летел я в пропасть, не подозревая, что через минуту хохол мне предложит подписать протокол.

— Да вы что, товарищ лейтенант, какая Турция? — почуял я, что пахнет жареным. — Какие гаремы? Что вы, шутки не понимаете?

— Товарищ лейтенант, простите нас, мы больше не будем, — захныкала моя дульцинея.

— Вас последний раз, Хролчер, спрашивают, будете подписывать или нет? Не будете? Тогда напишем — «от подписи отказался!». Только не думайте, что это вам поможет.

Первый, кого я увидел в Доме отдыха, был марксист. Я-то был уверен, что он уже отбыл, и, когда отправлялся с Эльвирой на пляж, даже подумал: «Вот и с долгом все решится по-марксистски!». А он стоял одетый, с чемоданами в руках — видно, ждал меня и задерживал целый автобус, отбывающий в аэропорт.

— Специально, что ли, скрылся? Думал, не верну долга? На, держи, не на того напал! — затем подозрительно оглядел меня и сказал: — Интересно, куда это ходил в такой поздний час?

Я молча вертел в руках червонец: когда же этот гад сгинет с моих глаз? Но он вел себя так, словно у него еще вагон времени.

— По волосам вижу, плавал. Забыл, что государственная граница рядом? Куда, интересно, плавал-то?

Это было уже свыше моих сил — последняя капля! И я почувствовал, что теряю над собой контроль.

— В Турцию — вот куда! В Турцию хотел уплыть!

— Вот оно что... — понимающе протянул он. — А девка-то, интересно, где? Отдыхающая Зеленец?

— Девка-то? Нет ее! Сдал в гарем Стамбула.

— Ишь ты, остряк какой! В гарем Стамбула! — зло рассмеялся марксист и махнул рукой водителю, что можно будет двигаться.

— А на что мне червонец-то? — чуть не крикнул ему вслед. Было у меня желание этот червонец утопить, вот сейчас же пойти в уборную и бросить в унитаз. Но я не сделал этого, вокруг были люди, и я испугался, что за мной следят.

ГЛАВА 13

Когда я вернулся в институт, меня встретила стенгазета, на которой был изображен гигант-пограничник с обнаженным штыком и во все лопатки удирающий в пучину моря гном с паяльником в полгазеты.

Вечером собралось комсомольское собрание, чтобы дать оценку моему поведению. О чем говорили? О чем могли говорить, если в самом разгаре было дело врачей. Тут, конечно, можно сослаться на культ личности. Но, признаться, меня от него уже давно воротит. Узника Сиона из меня сделала литература, но не та, что творят шестерки из Союза писателей, а создаваемая истинными творцами истории. Так вот, литература началась с того, что меня пригласил партследователь КПК Потапов и спросил, знаю ли я Мирона Паписмедова. Все остальное даже не хочется вспоминать — вроде карикатуры гнома с паяльником или заметки в газете «Батумский рабочий» о нарушении мной правил поведения в Домах отдыха и санаториях. Потом горком комсомола объявил мне выговор за издевательство над комсомолкой Зеленец, затем обком вкатил строгача: «За хулиганство на воде»...

Сюжет начался в Комитете Партийного Контроля, куда меня и вызвал партследователь Потапов. Он располагался в том же здании, где много лет спустя находился Осколкин. Но Осколкин сидел в левом крыле, ближе к Солянке, а Потапов — в правом и двумя этажами выше. У него была бычья шея, одет он был в военную гимнастерку и не выпускал изо рта чинариков от «Беломора», которые докуривал до самой бумаги. Из-за этого в кабинете воняло, как в правлении колхоза.

Когда я первый раз вошел, он, не предлагая стула, как раз и задал свой вопрос насчет Мирона Паписмедова. Я знал этого человека, но сказал, что первый раз слышу его фамилию.

Мирон Исаакович Паписмедов работал инструктором по путевкам Московского горкома культуры. (Как я вскоре понял, он-то и был главой «шпионского Центра» по переброске кадров комсомолок в Стамбул.) Неприятность заключалась в том, что именно Паписмедову я дал на лапу 120 рублей, чтобы в лучший осенний месяц устроил мне путевку в Цихидзири. Я не ведал, как насчет переправки комсомолок, но за взятку должностному лицу мне вполне могли дать срок. Потому я и

не хотел знать никакого Паписмедова. Кого угодно, но только не его!

В глазах Потапова была ненависть: из-за того, что я так нагло тянул резину, когда дело давно предрешено. Он со злостью прижег беломорину о стол и сказал: «Хорошо, Кролчер, не знаете Паписмедова, пеняйте на себя, познакомим вас с другим человеком». Он сдержал слово: сразу после ареста в моем деле появился известный еврейский националист Михозелс, и с тех пор я не только перебрасывал женские кадры в Стамбул, но и стал агентом известной сионистской организации «Джойнт Дистрибушен».

— А что за разговоры о женщинах-рабынях вели с комсомолкой Зеленец? — не успокаивался Потапов. Я даже не успел ответить, что это не я, а Лев Толстой, как последовал следующий вопрос, который меня и вовсе развеселил: какие у меня были отношения с писателем Мариенгофом?

— Да я с ним на одном горшке сидел! — воскликнул я, сорвавшись с тормозов, и тут же пожалел.

— Агройсе хохом! — вышел из себя в тот вечер папа, — из-за тебя посадят и меня (по-моему, вопрос о моей посадке он уже считал предрешенным).

На другой день после заседания КПК меня действительно забрали. По прошествии времени я, разумеется, запомнил, что мне предъявлялось в КПК, а что — в Лефортовской тюрьме, куда меня увезли после партийного суда.

Как я уже говорил, на КПК присутствовали большие шишки, и даже начальник Закавказского военного округа. И все они, включая закавказского генерала, стали участниками заговора Паписмедова. Но был в материалах еще один пункт, которого папа не мог мне простить, — это когда я заявил пограничникам, что хочу сдать комсомолку Зеленец в гарем Стамбула.

— Что? Что вы сказали, в гарем? — оживился дремавший до этой минуты председатель КПК Шкирятов.

— Так точно, Матвей Федорович, в гарем! — подтвердил партследователь Потапов.

— Постойте, постойте, товарищи, да где же мы находимся? — не мог очухаться от сна председательствующий.

— Это же шутка! — воскликнул я с места, — кто в это поверит!

— Шутка! — встрепенулся генерал КГБ, сидящий по правую руку от Шкирятова, — а что за разговоры вел с Зеленецовой,

перед тем как поплыл в Турцию? Чтобы она рабыней стала?

— Позор! — возмущались члены КПК, — для турецких гаремов кадры вербовал! С писателем Мариенгофом!

— Для каких гаремов! — сопротивлялся я из последних сил.

— Ну так изнасиловать хотел? — ожила вдруг старая вобла, сидевшая по правую руку от председателя. — Зачем девку в море тащил? В куклы играть? Хотят, чтобы русская женщина вкалывала, а они книжечки почитать будут.

Я хотел было напомнить о «Крейцеровой сонате», хотя уже неизвестно зачем, но гебешный генерал обрушился на начальника Закавказского округа:

— А вы где были? У вас на глазах советских женщин крадут, а вы? Надо, Матвей Федорович, посмотреть, чем они вообще там занимаются!

В Лефортове мой сокамерник, который, в отличие от меня — интеллигента, был вором в законе, прожужжал мне все уши, что за гарем не постоят и вышку дать. И этим сразил меня окончательно. Я решительно заявил следователю, что на счет гарема не подпишу, и он прочитал мне протокол допроса моей дульцинеи.

«Вел ли подследственный такой-то разговоры о рабынях и рабовладельцах?» — «Да, вел». — «А как вы реагировали?» — «Я сказала, что я боюсь». — «А что сделал он?» — Он сказал: «Не боись, поплывем лучше в Турцию, где сдадим тебя в гарем». — «Ну и что, поплыли?» — «Да, поплыли, но не доплыли, спасибо нашим пограничникам».

— Ну и что? — кисло протянул я.

— Ничего! Лучше подписывайте, а то на вас еще есть документик.

И познакомил меня с показаниями преподавателя диамата Воронежского педагогического института. Он ставил органы в известность, во-первых, о моих антисоветских разговорах о плохой постановке преподавания марксизма в нашей стране, во-вторых, о моем провокационном поведении с денежным долгом, который я специально всучил ему, чтобы скомпрометировать его как ученого-марксиста. А кроме этого, он часто видел меня в палате с одной молодой отдыхающей, чью фамилию он по определенным соображениям называть не хочет. Однажды ночью я ушел с ней на пляж, а когда после он спросил, где я был, то я ответил: «В Турции!». — «А куда, спросил он, исчезла отдыхающая?» — «Нету! — ответил я, — сдана в турецкий гарем».

В Потьме я часто думал, какую бы устроить им обоим месть. И что ни приходило в голову — казалось слабо. Позже про месть уж не думал, а, как и все, старался выжить. Но про это читайте у других авторов. А у меня другая сенсация, что с Эльвирой Зеленец я встретился еще раз. Через год или два после отсидки. И опять же в Доме отдыха «Ударник», но не в Цихидзири, а в «Ударнике» сухумском. Всякому свое, а мне вот это...

ГЛАВА 14

Имея за душой такую историю, отчего я не сел за эту хроннику раньше? Много лет назад, сразу после возвращения из Потьмы?

Единственным человеком, не давшим это сделать, был мой папа. За годы моего сидения он сильно сдал, с какой-то старческой фанатичностью мотался по врачам и диетическим магазинам, но стоило ему завести разговор о моем будущем, как в его глазах просыпалась юношеская энергия.

— Ты знаешь, Кадя, я — твой отец, и ты обязан меня выслушать. Дело в том, что пора тебе становиться человеком, ты уже не юноша, и так можно без толку прошататься всю жизнь, — словом, папиной «идеей-фикс» стала моя женитьба. Если бы я был женат, то не связался в Цихидзири с этой ныкеевой и жил бы как все нормальные люди. («Ныкеевыми» папа называл всех женщин, ведущих себя неподобающим образом.)

Смотрины готовились, как тщательно разработанная военная операция, согласно которой первыми на мою будущую благоверную должны взглянуть папа и его приятельница Стеллочка. Операция начиналась в воскресенье, когда папа и Стеллочка приглашались к двоюродной сестре мадам Розентуллер, на Проспект Вернадского. Ожидалось, что там появится и сама мадам, по такому случаю приехавшая в Москву. Притом не одна, а с дочерью, уже давно перебравшейся в столицу и успевшей побывать замужем. Так вот, если папа со Стеллочкой скажут «да», то вся компания — но уже в полном составе и, конечно, случайно — встречается в зале Чайковского: все, кроме мадам Розентуллер. У последней не было больше времени болтаться в Москве, и потому она затеряется в зале взглянуть одним глазом: если «да», то тут же возвращается в Киев.

Давали первый концерт Чайковского, я рассматривал свою будущую благоверную боковым зрением, а она напряженно изучала программку. Это была сильно накрашенная молодая интеллектуалка с маленьким лицом и обрамлявшими его черными барашками. И еще запудренные прыщики, которые я в тот первый раз не разглядел.

Перед началом она окинула меня любопытным взглядом и, подав сильную, холодную ладонь, назвалась: Руфина. «Руки холодные», — сказал я. «Не волнуйтесь — голова тоже!» — рассмеялась она звонким, фарфоровым смехом. Когда она засмеялась, подбородок дрогнул, лицо ее изменилось, и мне показалось, что она вот-вот расплачется.

После концерта я пригласил ее в эпицентр.

— Только ненадолго! — предупредила она.

— Это уж как получится.

— А ничего не получится! — взглянула на меня так, будто разгадала мои тайные намерения. Да будет мне известно, что дома ее ждет дочь...

— Дети — цветы жизни! — тотчас откликнулся я.

— Хорошо говорите, Кролчер.

Когда мы вышли из кафе, на Горького не было ни души. Накрапывал дождь. Я чувствовал, что надо что-то сказать.

— Тишина, как в зоне, я же старый сиделец, — решил я поставить ее на место.

— А что за такая тишина в зоне?

— Нехорошая! — ответил я и замолчал: меня определенно что-то смущало в ней.

— О чем думаем? О бренности бытия? — спросила она, у нее была высокая, впрочем, наглухо закупоренная в костюме грудь.

— Разрешите? — попытался я придвинуть ее к себе.

— Много бы дала, чтобы понять зачем.

Я приподнял ее, чтобы перенести через лужу, и с размаху чуть не уронил.

— Ну знаете, эти акробатические номера не для меня! — фарфорово воскликнула она.

— И не для меня тоже, — глупо улыбнулся я и, чтобы как-то выйти из создавшейся ситуации, нежно чмокнул ее в щеку.

— Вот это другое дело! — она с благодарностью взглянула на меня и сказала, что во мне что-то есть.

— Мускулы? — сказал я.

— И голова тоже, — сказала она.

За одну эту фразу я готов был ей простить все и главным образом ее фарфоровый голос, который, как я понял, как раз и смущал меня.

Свадьбу справляли у папы. После ее окончания решили, что он удалится, предоставив нам свое жилье для медовой ночи. Сам же переспит в моем десятиметровом закутке, который я снимал в Столешниковом и где мы планировали начать семейную жизнь.

Папа лично рассаживал гостей, одного вдавливая в другого и приобдабривая: «В тесн-о-те, да не в о-биде!». Когда он бывал в хорошем расположении, то обычно по-волжски «окал».

В папиной голове был какой-то особый план расположения гостей, против которого сразу восстала Руфина. Папа обиженно засопел и сказал, что если он кому-то мешает, то вообще может уйти. «Ной Соломонович? — взглянула на него Руфина. — Чтоб вы только были здоровы!».

На свадьбе присутствовал весь цвет нашего строительного органа. Папа произнес длинную и замысловатую речь, смысл которой состоял в том, что он с первого взгляда полюбил свою невестку, но в любой семье основная ноша ложится на плечи мужчины. Хотим мы или не хотим, товарищи, но мужчина глава семьи, тем более, если он прошел через сталинские лагеря. Руфина нетерпеливо комкала платочек. Ее дочь Машка пугливо озиралась по сторонам.

— За м-о-л-о-дых! — воскликнул папа.

«Красивенький», как оглашенный, взрычал мне в ухо «горько» и стал в то же ухо зудеть: «Кому, Каденька, мама, а кому дочка!». Я впился в губы Руфины и, когда открыл глаза, увидел, что она с интересом меня рассматривает:

— Слушай, а ты совершенно не похож на своего папу.

— Папа гений! — пьяно воскликнул я.

— Не простой, а всех времен и народов.

Когда мы уединились в папиных апартаментах, она не спеша задернула шторы, и я с интересом стал наблюдать, как она раздевается.

— Может быть, ты все-таки отвернешься?

Я отвернулся.

— Теперь можно! — скомандовала она и потушила свет.

Я нарочито медленно направился к кровати, желая снова поставить ее на место, но после двух-трех ее движений под

одеялом почувствовал несбыточность этого желания. Было ясно, что несмотря на все мои заслуги перед человечеством мне была уготовлена участь раба. Все развивалось отнюдь не по «Крейцеровой сонате», где Лев Николаевич требовал, чтобы женщины перестали быть орудием наслаждения мужчины. Обнаруженное мной в эту ночь было из другой области. Я не знаю, как это сформулировать. Но утром Руфина встала в каком-то задумчивом настроении. Впрочем, может быть, все из-за папы.

— Аркадий! Руфина! Что, молодые не спят? — вернулся он с дороги, когда мы были уже под одеялом.

— Ной Соломонович! — насторожилась Руфина.

— Я очень извиняюсь, но совсем забыл предложить вам второе одеяло.

— Скажи, чтобы он загорелся! — выдавила Руфина.

Папа, по-моему, услышал и, обиженно засопев, изо всех сил хлопнул парадной дверью.

Он возненавидел ее с той первой ночи, и мы довольно скоро разошлись. Как раз после того, как в сухумском санатории «Ударник» я встретился со своей феей из Цихидзири.

...Мне бы проще всего изложить факты по порядку. Но лишённые логической связи, они превращались в беспорядочную грудку обломков из игры «Джиг-сопазл». Я так и не знаю — удалось ли мне что-то объяснить про нашу с Руфиной первую ночь. Я переделываю и меняю фразы — и так до позднего вечера, пока, выключив компьютер, в бессилии не валюсь на разорванный матрац. Матрац мне всякий раз напоминает приключение с моим добрым ангелом Аленой, женой Дантона Шаевича. Да ведь вы не знаете, что произошло с Аленой! О, это отдельная повесть, и о ней речь впереди. Но все как раз и случилось на этом королевском ложе, перед которым на тумбочке стоит маленький телевизор марки «Сони». Телевизор помогает мне расслабиться, но при условии, что я смотрю на него лежа. Тогда мне не важно, что именно на экране: облаченный в джинсы и бегущий на меня президент Буш или плавающие в океане жира гигантские гамбургеры. Что бы там ни творилось — хоть атомная война, — меня охватывает безразличие. Но когда я сижу и, всматриваясь в происходящее, ничего не могу понять, во мне просыпается зверь, готовый перегрызть глотку всему человечеству.

В этот вечер показывали новейший американский боевик:

«Но вэй аут», что означает «Нет выхода из западни» — о доблестной американской разведке и пустых хлопотах КГБ. Самое ужасное, что и лежать у телевизора я тоже не могу. У телевизора я могу засыпать, но максимум на час-полтора, после чего разбитый уползаю в кровать, где из-за перебитого сна мне обычно гарантирована бессонная ночь. В эту ночь я также не заснул, а утром не успел задремать, меня разбудил своей электрической косилкой сумасшедший радиолобитель Постамент, и я снова включил компьютер.

ГЛАВА 15

Так вот, сухумская история, после которой от меня ушла Руфина. Она в это лето защищала кандидатскую, и в отпуск я отправился один, в Дом отдыха «Ударник» на 24 дня.

Сухумское солнце сжигало отдыхающих. Изнемогая, я стоял по пояс в море, когда у меня под носом выплеснулась загорелая туша: весь нос ее был в веснушках, на его кончике газетный клочок. И была она в вязаном купальнике с розочкой. Эта деталь, эта розочка на купальнике мне все напомнила. Вначале я не верил глазам, но она себя вела так, словно вчера расстались: «Здрасьте! Не узнаете? В Цихидзири отдыхали!». Сказала, что она здесь с мужем, в доме отдыха «Шахтер», и прямо из воды, плескаясь во все стороны, потащила меня к нему. На солнышке лежала другая туша с седым животом и лицом, прикрытым газетой «Правда». Из-под газеты доносился негромкий и мерный храп.

— Познакомься, Иван, — стала будить мужа Эльвира. — Да господи, вы же знакомы!

Когда он, кряхтя, выпростал голову из-под газеты, я снова не поверил глазам: обладателем седого живота и мужем Эльвиры оказался марксист Чекмарев из Цихидзири, с которым они напару меня топили.

Он-то меня узнал сразу и тотчас перешел на «ты»:

— Здоров! Слышал, у тебя неприятности были! Что тебе сказать: лес рубят — щепки летят!

Чекмарев снова задремал, Эльвира, укрыв его газетой, странно-пронзительно взглянула на меня и сказала, что есть разговор и предложила встретиться в 8 вечера на скамеечке, в платановой аллее, между моим «Ударником» и их «Шахтером». Говорилось это таким голосом, будто связывает нас об-

щее дело, которое нам давно пора обсудить, да все не было okazji, и вот наконец вечером, в платановой аллее, будет самый раз.

При вечернем свете она уже не казалась тушей, а такой же привлекательной, как в Цихидзири, даже приятней. Тогда из-за этой пары загорелых грудей была в ней какая-то несообразность. Теперь как будто все завершилось.

— Ну как живете? Женились? Есть детишки? — придвинулась она ко мне, и я подумал, куда же испарилась ненависть? Столько лет лелеял... И вот, пожалуйста... Может быть, пока суд да дело, отомстить другим способом? Как раз и свершится правосудие над марксистом. С другой стороны, довершу свое мужское дело — появится хоть какое-то оправдание у Потьмы. Даже интересный поворот получался у этой истории. Но я был бы не я, если бы и на этот раз жизнь не подстроила мне сюрприза.

Именно в ту минуту, когда у меня выстраивался план, из аллеи вышел высокий, неопределенного возраста охламон в спортивной фуражке-бобочке и, не обращая на меня внимания, поприветствовал ее:

— Эличка, мое почтение! Где была? Где, ласточка, пропадала?

— Где была — там нету!

Ничуть не смущенный таким приемом, он сел между мной и ею на скамейку и дружески нас обоих обнял.

— Говори, чё надо? — сказала она.

— Да я, может, по тебе соскучился! — стал он ей нежно делать глазки, затем повернулся ко мне и сказал:

— А вы, гражданин, отсюда проваливайте!

После ресторанных мэтров и предисполкомов третья социальная группа, которую я не переваривал, — это хулиганы. Последних я еще и побаивался. Короче, в этот вечер я свел счеты не с марксистом и, понятно, не с охламоном, а с администрацией «Ударника» — поскольку ко всем моим неприятностям добавился еще их ужин, их отвратные, холодные битки по-флотски. Взбешенный, я сказал толстой абхазке, завстоловой, что, во-первых, я являюсь корреспондентом газеты «Советская торговля» и, во-вторых, наш орган осветит на всю страну, как они кормят отдыхающих. На что она, не удостоив меня взглядом, крикнула повару: «Гиви, давай поджарь ему цыпленка!».

Поздно вечером, когда я в преотвратном настроении, уже облачившись в пижаму, крутил «Спидолу», в палату постучали. Я не поверил глазам: это была Эльвира.

Ее приход выглядел, как Божий знак: всего час назад мой сосед, отставной полковник, уехал на экскурсию в Сочи. Мог бы уехать на день раньше, мог бы — на день позже, но уехал в ночь, когда появилась Эльвира.

— Чего пришла? — замылась она. — Так просто. Разговор есть. А вы-то чего умчались? Господи, Чекмарева испугался! Псих, думает своего добьется, а вот ему! — вскинула она в воздух фигу.

Я сидел на койке и хлопал глазами: при чем тут марксист и чего ему, в конце концов, добиваться? Тут последовал детектив, который только и мог иметь место на Руси великой. Подсевший к нам на лавку охламон был на самом деле Чекмарев и тоже Иван, но только Иван-второй, сыночек марксиста от первой жены, на примере которого тот иллюстрировал переход количества в качество: три года потел, пока попал в вуз. Папаша, однако, передернул, ибо количество так и не перешло в качество, и Иван-второй так и остался великовозрастным неучем.

— На нашей шее сидит, — пояснила Эльвира. — Отец завкафедрой марксизма, а сынок у нас физруком в пионерлагере.

Дальнейшее было ясно: марксист оставался марксистом и использовал чадо в своих личных, гебистских целях. Таскал его по санаториям, чтобы присматривал за молодой женой, ну и тот, конечно...

— В общем понятно, да? Только вот ему! — снова показала она фигу, затем под села ко мне на койку и как-то странно, словно испуская дух, облокотилась мне на плечо,

— Я, знаете, чего хотела спросить?

— Чего? — прилила к голове кровь.

— Да так, ничего! Проехали. — Она подвинулась еще ближе, так что мог я разглядеть веснушки, рассыпанные по ее носу. — Вы на меня за тот случай не сердитесь?

Мог я ожидать всего, но только не воспоминаний о происшедшем в Цихидзири.

— Я чего хотела сказать...

— Чего? — это становилось уже интересным.

— Да так, ничего, проехали!

Кажется, она сама хотела, чтобы я свел счеты с марксистом.

том. Так она себя вела. В сущности, почему бы и нет, — стучало у меня в висках, — а с другой стороны, который час? В таких условиях? Нет, пожалуй, лучше все-таки завтра. На море... — усмехнулся я.

— Что сказали, на море? Я что хотела объяснить, нельзя мне тогда было! Я извиняюсь, конечно. Господи, эти пограничники. Сколько отсидел-то? Очень сожалеем, но в те дни не положено было.

— Почему же не положено? — входил я в роль, которой сам не понимал.

— Не знает, почему женщине не положено! — неожиданно рассмеялась она. — Эх, простота, простота, а еще еврей, — и, похлопав меня по плечу, встала с койки.

— Куда ты? — испугался я.

— Да так, никуда, — сказала она и, подойдя к выключателю, погасила свет.

Остального описывать не стану. Все произошло так быстро, что и описывать нечего.

— Вот такушки... — вздохнула она в темноте.

— Чего — такушки?

— Да так, ничего, проехали.

— Нет, ты скажи! — рвался я получить свое.

— А чё говорить? — нежно погладила она меня по лицу. — Все без нас сказано: поспешишь — людей насмешишь.

— Я говорил — сегодня не надо, говорил же! — вскричал я.

— Ну чё ты сердисься? Конечно, говорил, это все я, — прижалась она к моему плечу. — Я, дура, не послушалась. Поспешила с этим выключателем.

— Неправда! Думаешь не знаю, что ты имела в виду! — закусив удила, гнул я свое...

В эту минуту постучали в дверь. И я понял, что моя поспешность спасла нас от позора. Задрыга-полковник, которого я ждал к утру, вернулся ночью — то ли катер сломался, или еще что-то. Эльвира зажгла свет, он тут и ввалился. Мне показалось, что он стоял под дверью, но войдя не произнес звука, а просто многозначительно на меня взглянул: «Хорош гусь — чем занимается в Доме отдыха ВЦСПС!».

Из палаты полковник с Эльвирой вышли вместе. Она отправилась к себе, в «Шахтер», а он... он никак не возвращался, и я, кое-что подозревая, отправился в Ленинский уголок. Он сидел весь вспотевший и, утирая пот, катал на меня телегу. От-

куда я это узнал? Наутро меня пригласил директор и сказал, что насчет ужинов он примет меры, но и они по определенному вопросу кое-что предпримут.

Далее все и началось. Телега была послана в наш строительный орган — на имя редактора, который был в отпуску, и письмо перехватил «красивенький». Он, ясное дело, ознакомился с ним, запечатал и направил папе, чтобы тот сразу же, как вернусь, передал мне. Но тут папа лег на очередное обследование и на всякий случай послал его по почте. Рассчитывал, как приеду, так и получу, а оно пришло раньше... прямо в руки Руфине.

Руфину я не застал, она собрала чемоданы и уехала, не оставив даже записки. Но я забегая вперед.

Закончив свое черное дело, полковник отправился в палату, а я остался в Ленинском уголке и по обломкам собирал мысли. И все свои многочисленные неприятности. Получалось, что гаремы Стамбула вообще ни при чем. Это была уже не литература, а опровержение литературы: ей в этот день было просто не положено — мелкое гигиеническое обстоятельство, за которое меня укатали в Потьму! Но зачем она на меня клепала? Интересно, вместе с марксистом или отдельно? С другой стороны, какое это имеет значение теперь, например, для моего произведения? В этом мире все клепают друг на друга. Да и я сам... уже... без пяти минут... в газету «Советская торговля»... на администрацию... Дома отдыха «Ударник».

Два человека встретили случившееся с восторгом. Во-первых, папа: он был просто счастлив, что я расстался с этой «ныкеевой» (да, да, так он называл даже мою жену Руфину). Другим был «красивенький»: «Никогда, Каденька, не думал, что ты такой джигит!». Уже в Израиле я получил от Эльвиры письмо, но это уже другая история, и не будем обгонять событий.

ГЛАВА 16

Снова за меня взялась Руфина. И все из-за моих картинок в бункере. Это стало в порядке вещей: когда она мной довольна, то обрушивается на мою «антисанитарию».

«А если я скажу, что эта наглядная агитация делает меня больной!» — задает она вопрос, на который, как всегда, нет ответа, А я, как всегда, говорю, что эти плакаты и вырезки —

куски моей жизни. «Хорошо, я согласна, куски, но при чем тут "Мы придем к победе коммунистического труда"? Кстати, ты можешь из-за этого иметь крупные неприятности — кто-нибудь напишет в ФБР!». ФБР для Руфины страшнее КГБ. КГБ — это все же что-то свое, а ФБР... лучше уж умереть, чем попасться в лапы ФБР. Да еще из-за какого-то мусора!

А что в этой ситуации делать мне? Не объяснять же ей, что это юность моего Цезаря, о котором она не имеет понятия, что это солнечная Грузия, город Рустави и Закавказский металлургический завод, что это прошлое Цезаря и Лолочки. Я уже не говорю, что это и бывший его шеф — редактор «Труда» Дим-Димыч Толстохват (или, как его звали в газете, ДДТ), что это, наконец, Лазарь Моисеевич Каганович, под его началом Дим-Димыч служил в Наркомпути и ссылался на него как на высший авторитет. Все это и есть «Джиг-со пазл» в действии, кусочек к кусочку, когда все соответствует всему. И если бы Цезарь умер своей смертью и газета «Труд» вздумала поместить некролог, она бы должна была упомянуть, что с именем рабочего писателя Цезаря Семенова связано рождение в Закавказье нового, коммунистического человека. Не более, не менее! А то обстоятельство, что будучи в командировке он познакомился с Лолитой Гогоберидзе и что они встречались в тбилисской гостинице «Сакартвелло» и что увез он ее вскоре в Москву, — все это навеки осталось бы тайной. Даже Касторский, с которым мы близко познакомились в Израиле и который в конце концов стал для меня главным источником информации, и тот, видно, решил об этом умолчать.

В Израиле Касторский предстал передо мной как гений лицедейства, как театр одного актера, театр всех мыслимых и немыслимых жанров, включая опереточный.

...Вот сидим мы с ним на скамеечке возле гостиницы новоприбывших Бейт Бродетский. Габушка в коротких цветных шортах и в неизвестно где купленной военной панаме. Не скрывая удовольствия, он выбрасывает ступни на горячий песок. Это и есть ДимДимыч. Вытянув разбухшие подагрные ноги на ковре, он инструктирует Цезаря перед его боевым крещением. Крещение должно произойти в грузинском городе Рустави, где обожал бывать Лазарь Моисеевич Каганович.

— Морчик, здравствуйте, — густым басом ДимДимыча начинает Габушка, — из ЦК партии пришло закрытое письмо: некоторые наши люди увлекаются зеленым змием и нехорошо ве-

дут себя на стороне. Поезжайте и найдите человека будущего, на примере которого партия могла бы учить других. Раздуйте, Морчик, соревнование за коммунистический труд. Задание ясно?

- Дмитрий Дмитриевич, а что если это самое?
- Что, Морчик, это самое? — снова басит ДДТ.
- Что если не найду?
- Кого не найдете?

— Ну этого замечательного человека... Где найти-то его?
— Морчик, сколько вам лет? Однажды Лазарь Моисеевич поручил мне разыскать локомотив большей грузоподъемности, чем американский. Когда я спросил, где его найти, знаете, что ответил Лазарь Моисеевич? «Послушайте, Толстохват, если бы я знал, где найти этот ебанный локомотив, я бы нашел его сам!»

— Ну и что, нашел он этого человека? — неизвестно зачем спрашиваю я Габушку.

— А то нет! Не нашел! — яростно вращает глазами Касторский и вдруг сникает. — А пошли они все, знаете куда? Антракт. Обедать.

В столовой он, вспомнив что-то, отставляет в сторону харчо (из-за этого харчо по нашим лицам льется ручьями пот) и припадает к моему уху.

— Габриель, — умоляю я, — давайте поедим, вы же сказали, что антракт!

- Сам нашелся!
- Кто нашелся?
- Нужный человек нашелся!
- Где нашелся?

Я уже знал, что, когда Касторский сгорает от желания что-то поведать, сопротивление бесполезно. Напрасная трата сил! И прямо в столовой за дымящимся харчо, заправленным израильским хацилимом, следует фантастический рассказ о появлении буревестника будущего на Закавказском металлургическом заводе. Я бы, разумеется, его опустил, если бы тут не примешивалось появление Лолиты. Нет, Лолита появилась позже. А вначале Цезарь сбивался с ног в поисках посланца коммунизма: ни одного нормального человека не интересовала эта профсоюзная муть. Все решила случайная встреча. Она произошла в заводской забегаловке, расположенной возле проходной Закметзавода. Сюда завернули два старых друга — знатный сталевар Алексей Александрович Залесов, или, как

его звали в цеху, просто АсейСаныч, другой — инженер по охране труда и технике безопасности Вахтанг Георгиевич Гогоберидзе. Хотели взять бутылку и быстренько распить, и, естественно, встала проблема третьего. Третьим пригласили Цезаря, в те годы еще совсем молодого и находчивого, но на этот раз в печальном одиночестве присевшего у окна: перспектива предстать перед ДДТ с пустыми руками радовала мало.

— Не побрезгуйте, товарищ, — кивнул Алексей Александрович на бутылку «Московской».

Все дальнейшее в исполнении Касторского выглядело чистой буффонадой. Будто после того как расправились с первой бутылкой, взяли вторую, после нее Цезарь и задал Залесову вопрос, от которого сам пришел в веселое расположение. АсейСаныч едва держался на ногах, объяснял Цезарю в любви и даже полез целоваться, и когда полез, Цезарь, может быть, просто ради понта произнес:

— Всем ты, АсейСаныч, хорош, одно в тебе не понимаю: почему бы тебе не взять и не раздуть пламя соревнования за коммунистический труд? Ты же прирожденный человек будущего. Откровенно тебе скажу!

На что АсейСаныч, по словам Касторского, будто бы воскликнул: «А что, братцы, в натуре! Что мы, дурее других?».

Все это можно было взять под сомнение, как Габушкин бред и галлюцинации, если бы на заводе не собралось совещание передовиков, на котором АсейСаныч выступил с новым почином. И если бы Цезарь по приезду в Москву не написал за него статью для газеты «Труд» (после чего они и стали соавторами), и если бы самому АсейСанычу не дали звание Героя труда, а Цезаря бы не приняли а партию, и если бы ДДТ, в свою очередь, не написал бы статьи в журнал «Журналист». О молодом газетчике и коммунисте Цезаре Семенове. Статья называлась «Заботливо растить молодые кадры».

Но все это лишь введение к главному. К знакомству Цезаря с женой Вахтанга Георгиевича Лолитой на вечере, устроенном по случаю нового почина. Вскользь замечу, что все там прилично выпили, и Вахтанг Георгиевич каким-то образом заснул, из-за чего и осталась в одиночестве на вечере его жена.

Но о подробностях Касторский умолчал. Вообще при имени Лолита его выразительное лицо обретало задумчиво-бессмысленное выражение, и театр одного актера прекращал функционировать.

— Говорят, что они встречались с Цезарем в гостинице «Сакартвелло»?

— Говорят, что кур доят, — становится каменным Габушка и, утратив от жары способность к логическому мышлению, начинает новую сагу — о том, как Вахтанг Георгиевич соединился по телефону с Вавой и рассказал, что его жена взяла их сына Бесо и уехала из дому. И у него есть подозрение — ему даже неловко об этом говорить, — что его супруга Лариса Ивановна Вошанцева-Гогоберидзе проводила время с ее мужем, журналистом Цезарем Семеновым. Затем, по словам Габушки, Вахтанг обратился в партком завода, где к его ситуации отнеслись с полным пониманием: все верно, никому не дано право разрушать семью. «Но с другой стороны, и ты, Вахтанг Георгиевич, должен понять членов партийного комитета: писатель из Москвы разжигает пламя соревнования, находит человека будущего... А мы что ему скажем? Скажи, Вахтанг Георгиевич, что сказать, и мы скажем. Но ты тоже, наверное, не враг своему коллективу?».

И наконец последняя деталь грузинской драмы. Это возвращение блудного сына домой, далеко за полночь, когда Вава, так и не дождавшись мужа, легла спать. Однако встретила его как нельзя лучше, накормила праздничным ночным ужином. Лишь когда собирались укладываться, будто невзначай поинтересовалась: кто такая Вошанцева? Дело в том, что звонил ее муж и как-то странно с ней разговаривал.

— Болван! — прокомментировал Цезарь.

— Ясное дело, болван! — согласилась Вава.

И когда уже разделись, что-то увидела на теле Цезаря:

— Ой, что это? И вот еще! Давай, Коташа, поищем болванчиков...

Так, словно бы невзначай, было положено начало семейному обряду. Вот сколько значил для меня этот плакат «Мы идем к победе коммунистического труда», найденный мной с такими трудами в советском книжном магазине «Четыре континента». Но попробуйте это объяснить Руфине!

ГЛАВА 17

Но с другой стороны, стоит мне прикоснуться к душам моих героев, как погружаюсь в сюрреализм и фантастику. Все вместе — и прошлое, и настоящее, и жизнь, и нежизнь — все в одном потоке: то я — узник Сиона и владелец дома в грани-

цах Большого яблока, то — мои персонажи, встающие из пепла и оживающие на этих страницах. И ближе всех папа, прижавший к животу шоколадного рахитика, — папа, давно погребенный в Израиле, на Хулонском кладбище. Под лучами солнца, пробивающегося в бункер, он оживает, и вместе с ним оживает шоколадный рахитик:

— Кадя, а ну-ка быстренько, кто написал «Коммунистический манифест»?

— Фридрих Энгельс!

— А еще кто? Кадя, подумай...

Когда еще я стану узником Сиона и, катапультировавшись на другую планету, окопаюсь в доме в границах Большого яблока! Кстати, сколько лет было бы сейчас папе? Мой воспаленный мозг рисует меня и папу в старости, припавших друг к другу на черноморском солнце: из одного сыплется песок и его ноги — две дистрофичные палочки, другой еще пыжится, хотя гордая маленькая плоть давно уже развалилась под московскими трусами.

За папой возникает Изольда: я ползаю по школьному двору, чтобы найти ее бархатную пуговку, а когда вручаю ей, она искренне удивлена:

— Чего это ты? Мама уже давно пришила другую!

Да, она была сама непосредственность, эта волшебница Изобочка, которую я на глазах всей школы вознес к небесам. Такова, увы, жизнь: чтобы вознесли в небеса, необходимо быть стервочкой, во что бы то ни стало, кондицию сине кванон!

Когда Боба Брайнин, наш районный Казанова, лишил ее невинности, весть мгновенно облетела обе наши школы. Брайнин выглядел задумчивым и гордым, как Чайльд Гарольд, как в той очереди за огурцами, когда, чуть не схлопотав по физиономии, пожал плечами и сказал: «Берии хуже!».

Изольда ходила зареванная. Говорили, что обо всем поведала ее мама и велела ей не приходиться домой. В классе все с любопытством смотрели на меня. У меня переворачивалась душа. И мучило желание Изольду успокоить: «Полноте, Изобочка, не переживай, Лаврентию Павловичу было хуже...» Кто-то же должен был за меня отплатить!

Между тем, в Москве в день возвращения Цезаря происходили следующие события: утром на имя Касторского пришла телеграмма из Тбилиси. «Вылетаю самолетом 12.10 утра. С племянницей и ее сыном. Мосфильмовской буду 11.30 вечера. Обнимаю твой Ц.»

Открыв дверь, Касторский в изумлении застыл: рядом с Цезарем стояла девочка-блондинка в смертельно обтягивающем ее джинсовом костюме. И с ней черноволосый мальчуган.

— Познакомься, Габриель, моя племянница и ее сын Бесо.

— Боже, какой позор, двенадцать ночи! — не находила себе места гостья.

Затем Цезарь откланялся. Он будет утром и надеется, что его друг не обидит его близких.

Касторский поставил на плиту чайник и спросил гостей, где им стелить. А дальше все развивалось рутинно. Точнее, почти рутинно, поскольку в ту же ночь начались отклонения.

Странности начались, когда гостья растолкала задремавшего Касторского и сказала, что не сможет уснуть, пока не задаст ему один вопрос. Может быть, вопрос покажется странным, но она задаст.

— Задавайте! — как человек интеллигентный, он подвинулся, чтобы дать ей место присесть.

— Что за намек? — обиженно сказала она. Понятно, в ее положении с ней можно делать все, что угодно. И он, конечно, уверен, что у них с Цезарем что-то было... — Нет, нет, не отрицайте, я вижу это по вашим глазам. Какие все мужчины одинаковые! Ах, не придвигайтесь! — Но когда Касторский, почувствовав неприличие, собрался уйти, взмолилась: — Мне страшно, не оставляйте меня, но и не придвигайтесь!

От греха подальше он постелил себе на кухне, а утром выяснилось, что Цезарь бесследно исчез. Или Вава его просто не звала к телефону: говорила, что уехал, а куда, она не имеет понятия. Касторский мог бы и сам догадаться, знай он в то время о звонке Гогоберидзе и о сцене встречи супругов. Была она совсем не так идиллична, как я ее изобразил.

— Или давай адрес Вошанцевой или ухажу! — сказала Вава, но не ушла, и, как мы знаем, все кончилось этими семейными болванчиками.

Но Касторский ни о чем не знал, оттого его поведение выглядело особенно благородным. Утром, в дополнение к ночному бескорыстию, сварил гостям кофе и к тому же попытался одолжить 500 рублей новыми деньгами. Я говорю «пытался» потому, что она изо всех сил сопротивлялась. («Боже мой! До чего докатилась!») Но деньги все-таки взяла. И уходя даже поцеловала Касторского, и время от времени звонила ему и докладывала о развороте ее столичной одиссеи.

Далее начинаются провалы и белые пятна, если не считать того, что вскоре в Москве появился Вахтанг Гогоберидзе. И через наш райотдел милиции почти разыскал жену, но бог ее оберег, и она довольно скоро вышла замуж за отставного летчика, вдовца Баранова.

По ее словам, летчик сдувал с нее пылинки, пока однажды в припадке ревности чуть не убил ее.

Все произошло из-за Вавы, проявившей в поисках Вошанцевой немалую изобретательность. Звонила по справочным и даже два раза в Рустави и, каким-то образом разыскав, решила соединиться с Лолитой лично.

Что сказала по телефону, неизвестно, может быть, даже ничего особенного, но вдовец Баранов, сидевший на параллельном проводе, еле удержался на стуле. И уже в затемненном сознании запустил в молодую жену пепельницей.

Однако была в ее рассказе только половина правды. Другая половина состояла в том, что отставной летчик был хоть и мужчиной интересным, но абсолютно запойным. Из-за этого и употребил во зло подаренные Габушкой 500 рублей. Получал он вполне приличную пенсию, но в течение первой же недели ее спускал и оказывался на иждивении жены. Если к тому же не считать позора, когда у всех на глазах таскала своего героя, как бездыханное чучело.

Впрочем, наутро после случая с пепельницей он прочухался и, рыдая, просил на коленях прощения. И она простила его, как простила и 500 рублей, подаренные Касторским. Лолита была добрая душа и, возможно, никогда бы не оставила своего воина, если бы в обществе «Спартак», где тогда служила, не произошло сокращения штатов. И следовательно, рухнул весь материальный базис их существования.

Касторскому во всем признаться не решилась: получалось бы, что на его деньги содержала пьяницу-мужчину.

— Ах, если бы не Бесо! — вздыхала она и спросила, нельзя ли у Габриеля на пару дней остановиться.

Как и в первый раз, он спал с ней отдельно, но на этот раз не на кухне, куда спровадили Бесо, а в той же комнате.

— Боже, до чего дошло! — Она не приблизится к своей кровати, пока Габриель не оборудует ширму. Он оборудовал. Утром для матери и сына приготовил завтрак и хотел ей снова одолжить 500 рублей.

— Нет уж, на сей раз увольте, Габриель, никогда не унижусь!

— С голоду помрешь! Бери, пока не передумал.

В конце концов согласилась, но взяла с него слово, что это в самый наипоследний раз.

— Ясно, в последний! — сказал Касторский. Затем стала рассказывать о маленьком Бесо, какой он даровитый, что голос у него, как у юного Карузо, и когда он вырастет, то поступит в консерваторию. А сейчас... Что говорить про сейчас!

— Сколько? — спросил Габушка.

— Да вы в своем уме! Вам просто нельзя ничего рассказать.

— Сколько? — не обращал он внимания на ее слова.

— Но с одним условием, что в долг. — Ах как она себя ненавидит!

— Говори сумму, время нету! — сказал Габушка и дал ей еще 200 рублей для Бесо на музыкальную школу.

Следующий звонок был спустя время при вовсе странных обстоятельствах. Она позвонила рано утром и от душивших ее слез не могла вымолвить ни слова. Этой ночью она могла погибнуть, сгореть... Сколько она пережила за последний год! Верит ли Габриель в божью кару, когда мужчина обманывает женщину?

— Формулируй вопрос! — прервал ее Касторский.

Ах, какой вопрос, когда у нее такая неприятность!

— Формулируй неприятность. Время нет, работа ждет!

Она звонила из Малаховки, с дачи нового мужа, аспиранта Алекса Золотусского. Но дачи уже нет, дача сгорела, и Золотусского с тяжелыми ожогами увезли в больницу.

Наутро Касторский дал ей снова денег. Она плакала и виновато глядела на него: скольким она этому человеку обязана!

И снова ее рассказ был бы чистой правдой, если бы не одна малость: она не была, а только должна была стать женой аспиранта Золотусского. При условии, если выполнит просьбу его мамы, которая настаивала, чтобы Lolita сделала аборт. И что же? Она сделала. И последние две сотни Касторского пошли не на маленького Бесо, а на гинеколога, заломившего тройную плату. А Золотусский так и не женился. Оттого и произошел пожар — божья кара сыну и маме за то, что не сдержали перед Lolitou слова.

Со стороны может сложиться впечатление, что она вспоминала о Габушке лишь тогда, когда ей чего-то требовалось. Уверяю, что это не так: Касторский был для нее как наставник, как ребе, которому поверяла все на свете. Иначе зачем

же безо всякой корысти позвонила и стала говорить о новой своей привязанности. Была она в эпицентре уже своим человеком и могла бы рассказать лично, и звонила скорее всего по инерции. Так вот: «ее новый друг — писатель, актер и к тому же такой добрый и веселый человек!». Говорила, не называя предмета. Тут-то вышел казус, и скандал кругами пошел по Москве.

В разгар ее излияний, когда описывала Касторскому предмет, он и услышал восклицание: «Дантон, хулиган, что ты задумал!». Что делал в этот момент Дантон Шаевич не так уж важно. И что Lolita тут же схватилась: «Какой Дантон? Что я болтаю — Антон!» — это было тоже не важно.

На этот раз Касторский обиделся: столько терпел, а тут не выдержал и назавтра с особым выражением лица (какое у него только и бывает) подошел к столу, за которым как раз все сидели: и Дантон Шаевич с Аленой, и Lolita, и, вращая глазами то в одну сторону, то в другую, загадочно произнес: «Любовь побеждает смерть!».

Никто ничего не понял, и все бы, возможно, обошлось (Габушке не такие номера сходили!), если бы Lolita, прилично выпившая, не заявила, что ей известно, зачем Касторский явился.

— Зачем? Посидеть в кругу коллектива! — мрачно заерничал Габушка.

— Неправда! — сказала Lolочка, пришел, чтобы долг с нее взыскать. И она не возражает. Долг платежом красен. И на глазах у ошарашенной компании раскрыла сумку и извлекла оттуда все свои наличные деньги. Касторский, как ни странно, деньги взял и при всех стал считать. И сосчитав, насмеялся: «Астрономическая сумма — 75 рублей! Говори, когда остальные отдашь: 1025!».

— Остальные? Остальные отработаю! — она зло засмеялась, затем на глазах у всех придвинула к себе курчавую голову Дантона и, видно, совсем очумев, поцеловала его в губы. Запахло скандалом, которого, однако, не произошло, если не считать ухода Алены. Она поправила очки, придававшие ей нездешне серьезный вид, и сказала, что ей пора. И вдруг, словно вспомнив о чем-то, побежала к выходу. Дантон Шаевич крикнул: «Алена!» бросился за ней, но не догнал и, расстроенный, вернулся к столу, где все еще царил молчок.

— Из-за меня все, боже мой, какой стыд! — стала каяться Lolita и повернулась к Дантону Шаевичу.

— Дантон, отдай ему мой долг. Ты же не потерпишь, чтобы я у него отработывала, отдай, хочешь, ручку поцелую? — встала перед ним на колени, — боже мой, кому я что сделала, я честная русская баба Воштанцева Лариса Ивановна!

— Да бог с тобой, что-нибудь придумаем, достанем, — забормотал Дантон, еще не очухавшийся от происшедшего. «С другой стороны, где достать-то, откуда у меня такие деньги!» — этого не сказал, это Лолита прочла в его глазах.

— Ну тогда придется отработывать! — пьяно засмеялась она.

— А я от него и не возьму! — решительно заявил Касторский, на котором не было лица. — Кому давал, тот пусть и платит! — и так же решительно встал и отправился к выходу.

Вскоре все стихло и, казалось, про все забыли, но Дантона Шаевича неожиданно вызвали на заседание парткома Союза писателей, и парторг Аркадий Васильев лично поставил перед ним вопрос: или — или... Или жизнь в семье, или, Голощекин, не поминай лихом. Не тому нас с тобой партия учила!

От волнения Дантон Шаевич всплакнул и дал честное партийное слово, что вернется к жене и сыну. Но слова не сдержал. Не успел. Наутро его увезли с тяжелым инфарктом в Боткинскую. А через месяц я встретил его и Алену в эпицентре.

ГЛАВА 18

Лучи солнца пробиваются в окно бункера. Зайчики весело бегают по папиной лысине. И почему-то по шоколадному животу рахитика, припавшего к папиному животу. Снова Анапа и снова золотой пляж «Бемлюк». Какой же это год? Скорее всего — тридцать седьмой. Или тридцать восьмой. Вокруг сплошное веселье. На пляже оркестр: «Эй, товарищ, больше жизни...» Папа в своем репертуаре:

— Кадя, три-четыре: кто у нас в стране живет всех живых?

— Я-я-я! — орет во все горло рахитик.

— Аркадий, подумай... Мы же читали эту поэму вслух.

— Сталин!

— Ты абсолютно прав, Кадя. Товарищ Сталин всегда живет всех живых. Но о ком писал великий советский поэт Маяковский? Не спеши, Кадя, подумай.

Какой-то прохожий в майке и галифе неожиданно остановился позади нас, возле кустов дикого винограда.

— Ленин! — без энтузиазма говорит рахитик, — в уборную хочу, по-большому. — Прохожий в галифе присаживается, папа явно нервничает.

— Повтори немедленно: Ленин и сегодня живет всех живых!

— Ленин и сегодня живет всех живых!

К моему удивлению, прохожий снимает галифе.

— Какает! Ему можно, а мне нельзя! — ревет на весь пляж рахитик и во все горло кричит: — я! я! я!

— Что «я»? Что ты этим хочешь сказать? — спрашивает папа, расстроенный неожиданным оборотом дела.

— Я никогда не умру! Я живет всех живых!

— И что же, надо орать на весь пляж, агроисе хохом! — припечатывает меня папа.

...В бункере темнеет, и я включаю телевизор — на экране бессмертный боевик «Но взй аут» — «Нет выхода из западни», о доблестной американской разведке и пустых хлопотах КГБ. Я смотрю на экран, и живительные соки релакса разливаются по моему телу. Самое лучшее закрыть глаза и отдаться во власть сюжета. Самое опасное сопротивляться и уползть вверх в объятия бессонницы.

Пора, однако, объяснить, как я пришел к мысли об эмиграции. Ну, во-первых, стремление воссоединиться со своим народом на его исторической родине. Однако я мог испытывать это стремление до конца дней и не стронуться из своего десятиметрового закутка в Столешниковом. Во-вторых, у меня в одном месте иголка, с детства не дающая мне пребывать в покое. Но опять же, это еще не причина катапультироваться на историческую родину. Поэтому главное третье. Третье — смерть нашей замредакторши Беатричи Наумовны и все последующие обстоятельства.

Лишь занятостью другими персонажами объясняется тот факт, что я до сих пор не обмолвился о ней и словом. Она пришла в газету в дни основания нашего органа и пережила в общей сложности четырех редакторов. И время от времени даже недоумевала: отчего бы товарищам из МК не назначить ее редактором?

— Чем я хуже всех остальных: двадцать лет в партии, тридцать лет в газете. Хорошо, я согласна: пятый пункт, но ведь я давно переросла это!

В такие моменты «красивенький» многозначительно вскидывал вверх палец и, припав к моему уху, тихо восклицал: «Бог, он, Каденька, все-е-е-е видит!».

«Красивенького» Беатрича Наумовна решительно не перерывала: ее выдвижение означало бы его конец. Зато он был любимцем редактора, который при каждом удобном случае обожал сматываться на лоно природы. Он был заядлым охотником, рыбаком, грибником и лыжником, и «красивенькому» в его глазах не было цены. «Пока Александр Генрихович (имя и отчество «красивенького») жив, гундосил он себе под нос, газета без материалов не останется». То была святая истина, ибо «красивенький» мог в одиночку заполнить своими писаниями целый номер.

Возвращаясь к Беатриче Наумовне, должен признаться, что я в жизни не видел такого сгустка энергии в облике представительницы слабого пола. Она была старой девой, отдававшей весь жар своего молодого сердца нашему строительному органу. Единственное, что портило ей настроение, — когда товарищи из обкома партии вызывали ее на ковер. В этих случаях она бежала после заседания в эмковский буфет и, чтобы успокоить душу, покупала пару эклеров, а иногда и три и четыре...

С эклерами и были связаны обстоятельства, при которых Беатрича Наумовна отошла в лучший мир. Перед этим ее вызвали на ковер в МК, кстати, все из-за того же «красивенького», неожиданно для всех допустившего невообразимый ляп.

Всех подвел прославленный герой его романтических опусов перовский прораб Бен Кагановский. И все потому, что Бен дал «красивенькому» картбланш писать о нем все, что нужно нашему органу. В ответ на эту широту «красивенький» раз и навсегда объявил Бена правофланговым славной армии подмосковных строителей и из номера в номер эту славу приумножал, без телефонных звонков, проверок и прочих тяготин.

Ляп вышел с очерком «красивенького» «Бен Кагановский — прораб будущего». Дело в том, что когда очерк вышел в свет, Бена пригласили в ОБХСС: у него обнаружили недостачу, приписки и очковтирательство. А назватра Беатричу Наумовну вызвали на ковер и прилюдно четвертовали, то есть без лишних слов вlepили строгача: стояло бабье лето, и редактор, как всегда, был где-то на природе.

Просто невозможно описать, как это ее потрясло: после заседания она, как ошпаренная, устремилась в эмковский буфет и, чтобы успокоиться, съела десяток свеженьких экле-

ров. Затем купила еще, от всего этого у нее и произошел заворот кишок с летальным, как было сказано, исходом.

В буфете, как говорят, ее даже кто-то спросил: «Разве можно есть столько пирожных?». Беатрича Наумовна ответила: «Ах, что же делать, если душа в отчаянии!».

Речь на кладбище произнес «красивенький», избранный председателем комиссии по похоронам замредакторши. Он сказал, что с Беатричей Наумовной его связывают лучшие годы жизни и что она была на редкость светлым, бескорыстным человеком. В этом месте он шумно высморкался, и мне показалось, что его глаза стали влажными. «Представьте, дорогие товарищи. После ее кончины не осталось никакого имущества, разве только рукопись, над которой она работала многие годы». Что это за рукопись, он сообщил мне на обратном пути, в автобусе.

— Знаешь, Каденька, как называется? Рассказы о любви... — вскинул он вверх указательный палец. И припав к моей щеке одним из своих пушистых бачков, сказал:

— А вообще, Кадя, я скажу тебе так: порядочные люди должны рвать когти!

После смерти Беатричи Наумовны «красивенького» назначили Вр.и.о. зама редактора, и вознесясь на небо, он решил в один из вечеров пойти на штурм своей Лорелеи в Доме журналиста. Для храбрости выпив, он долго стоял около нее и ерничал на тему недоливов-переливов и договорился до того, что он вообще не журналист, а агент ОБХСС. «А нам-то что, — и глазом не моргнула Лорелея, — мы люди честные, не крадем, не воруем, чего нам ОБХСС?». После чего «красивенький», отчаявшись, пошел на бордаж: «А что если, Валюша, — вскинул он к небу глаза, — я вам назначу у памятника Пушкина свидание?». На что она, невинно залившись краской, сказала: «Да что вы, молодой человек, мне нельзя, у меня муж ревнивый!». И не моргнув глазом, навек отвернулась от «красивенького».

Возникает вопрос, какое это имеет отношение к моей эмиграции? Все дело в словах: «Порядочные люди должны рвать когти». И не столько в словах, сколько в последующих событиях. Но вначале о словах — теперь мне кажется, что «красивенький» высказался в автобусе, когда возвращались с похорон на Востряковском кладбище. А может, раньше, когда Беатриче вlepили строгача?

В автобусе трясло, «красивенького» бросало из стороны в сторону, и он всякий раз налетал на что-то юное и капризное, пытавшееся от налетов «красивенького» увильнуть, пока не разыгралась на весь автобус драма: «Слушай, чё делаешь? Левон, чё он делает!». Левон, оказавшийся грузином в гигантской, как аэродром, кепи, сделал «красивенькому» знак глазами: давай, друг, выйдем! И показал ему из-под полы нечто такое, что заставило «красивенького» измениться в лице. Кажется, тогда он мне в ухо и вдавил: де, порядочные люди должны рвать когти.

Но я не уверен, возможно, это было в обкоме партии, когда из Беатричи делали кекс, и секретарь обкома сказал, что сотрудники нашего органа утратили ответственность, если такого, как этот жучок Кагановский, могли назвать человеком будущего. И Московскому комитету, естественно, интересно, что предпримет редакция для исправления своей политической ошибки. Так вот, может быть, тогда он и высказался, а совсем не в автобусе, а возможно, это было дважды — он любил закатывать к небу глаза и по два-три раза выдавать свои парадоксы.

Но если такие, как «красивенький», рассуждал я, будут рвать когти, то получалось, что порядочным людям как раз нужно оставаться.

Домой после кладбища я ввалился зверски усталый, в почтовом ящике обнаружил газету: «В Ленинграде начался суд над воздушными пиратами!». «...Пытались угнать самолет в сионистское логово!». «По стране прокатилась волна протестов!». Я бросил на себя взгляд в зеркало: папин торгсиновский пиджак, который я напялил, отправляясь на кладбище, оброс у обшлагов бахромой. На свое лицо я вообще был не в состоянии смотреть. Что есть жизнь? Умру, как Беатрича, от заворота кишок, инфаркта или гипертонии. Или просто повешусь от всей этой грязи. Мои мысли прервал звонок папы: «Кадя, сказал папа, ты не забыл для меня взять талончик к кардиологу?» — «Папа, ты читал сегодняшнюю газету? Начался самолетный процесс!» — «Кадя, я не понимаю, какое это имеет отношение к кардиологу?». «Ах действительно, никакого!» — с горечью смотрел я на себя в зеркало. Порядочным людям нигде не будет хорошо, хоть они вырвут на себе все до последнего когтя. «Что ты говоришь? Порвался пиджак? Я тебе дам другой!

Какой у тебя размер, пятидесятый? Так купи себе новый. Сколько стоит новый? Скажи сколько, и я тебе одолжу».

Вечером я встретил нищего отказника Куперштоккера, косоглазого Куперштоккера, который видя меня, подобно тому, как павловские собаки выделяли желудочный сок, издавал следующие фразы: «Ну как, Кролчер, созрел? Созреваешь? Все созреем!».

— Все, кроме меня: порядочные люди должны оставаться на Родине!

Но это были только слова, игра в слова — дела начались наутро, когда посвежевший и загоревший редактор вызвал меня и сказал, что Московский Комитет партии оказал нашему органу большое доверие — никого из нас за этого жучка Кагановского не уволил — более того, разрешил нам своими силами исправить грубую политическую ошибку.

— Короче, Аркадий Ноевич, боевое задание: написать правдивую, партийную статью. И есть даже тема — согласованная с товарищами. Какая? Очень интересная. — Редактор спросил, видел ли я, как одевается этот «прораб будущего»: — Какой костюмчик — жатка! Какая шапка — пыжик! В общем, тема такая — жизнь не по средствам! — сделал он ударение на последний слог. И хорошо бы, прежде чем писать статью, завернуть к этому «жучку» на Ленинский проспект, побеседовать и тут, конечно, бросить взгляд на его житье-бытье.

Самым интересным оказалось не то, что Кагановский жил не по средствам, в этом-то я был уверен — кооперативная квартира с чешским гарнитуром, ванна в черно-белых шашечках, лейпцигские тарелки... — я, конечно, привык к причудам сюжетов. Но это был такой виточек!

Бен — решительный, квадратный и голубоглазый — курил импортные сигареты или гаванские сигары — опять же не помню — и рассказывал мне, как на него клеветают. Какие еще приписки! Он фэзэушник, он рабочий класс. Я думаю, что вы, Аркадий Ноевич, соображаете, что тут на самом деле происходит!

Если бы я знал, что ее встречу, думал я, то хоть оделся бы по-другому, я бы хоть подготовился морально — а эдак же подобно нокауту. Я машинально что-то записывал в блокнот. По квартире, обдавая нас благородными духами, расхажива-

ла красивая, в японском кимоно женщина, принесшая нам с Беном на серебряном подносе две чашечки с турецким кофе. Поздоровалась, сделав вид, что не узнала меня, — лишь высокомерно взглянула в мою сторону. Но я-то понял сразу, что это она, Изольда, — взгляд все той же юной стервочки, хотя она была уже не первой молодости.

...С нее и начну, с ее взгляда и японского кимоно — без имени, конечно, — с обобщенной стареющей Изобочки. Хорошенькое дело: я должен рвать себе пуп и влачить жалкое существование в своем смрадном углу, в Столешниковом, а они, воры и очковтиратели, будут пить из народа соки. И еще смотреть на меня, журналиста и интеллектуала, таким наглым взглядом? На руке фээзушника Бена было золотое кольцо с брильянтом. Он извлек из бара бутылку «Арарата» и налил мне и себе в кофе коньяку.

— За дружбу рабочего класса с тружениками пера, Аркадий Ноевич!

«Но это вам не поможет, друзья, нет, нет... Все поставим на свои места!».

Статьи я не написал. Пока я сидел и скрежетал зубами, Бен незаметно вмешал одно обстоятельство, и мне ничего не осталось, как сказать себе, что в этой стране невозможно жить, и, следовательно, как порядочный человек, я должен был следовать девизу «красивенького» и рвать когти.

Главное, я не мог понять, когда он «это» успел проделать, мы пили кофе и ни на шаг не отходили друг от друга. Получалось, что это сотворила Изобочка.

Я даже не пересчитал толком, сколько денег появилось в кармане пальто — пачка новеньких ассигнаций, кажется, пятьсот рублей. Как и тогда, с марксистом первый порыв был их выбросить, но, как и в тот раз, я не сделал этого: все равно отмыться не удастся. Никогда! Разоблачат. Выгонят. Сгноят. Вспомнят, как подкупал Паписмедова!

Наутро редактор меня спросил, когда я собираюсь сдать статью.

— Какую? — почувствовал я, что срываюсь с рельс.

— Как какую? О которой договаривались — «Жизнь не по средствам».

— Не будет статьи, все по средствам! — летел я в пропасть.

— Это почему же не будет, если редакционное задание?

— Да я, видите ли, получил взятку...

— И не остроумно, Аркадий Ноевич, совсем и нет!

— А я не претендую...

Через неделю я подал заявление об уходе по собственному желанию.

ГЛАВА 19

В этом месте я обязан снова коснуться папы, хотя полагалось бы рассказать о том, как я уезжал в Израиль. Кое-что из папиной жизни уже знаете, например, то, что уже в пенсионном возрасте его поселили в Малую Бахрушенку, где когда-то жили артисты Бернес и Бабанова, а еще раньше писатель Мариенгоф. Сделал это Моссовет из лучших побуждений. Папа всю жизнь проработал в его системе, и, желая поощрить ветерана, ему предоставили шестнадцатиметровую комнату с двумя роскошными итальянскими окнами.

Может возникнуть вопрос, а какое папа вообще имеет отношение к настоящей хронике? Этот вопрос был бы справедлив, если бы, во-первых, вы знали моего папу, а во-вторых, если бы он, как Миха Голев, не оказался в окружении лимитчиков. Дело в том, что после того как папе дали эту комнату, Малую Бахрушенку поставили на капитальный ремонт и бывшую обитель Марка Бернеса, с которым жил по соседству папа, разделили на десять частей. Папину шестнадцатиметровую комнату не тронули, чем оказали ему дурную услугу: у него как у одиночки получилось серьезное превышение нормы. Появилась, конечно, зависть, но все же до поры до времени отношение к нему было вполне лояльным. И соседи по утрам даже по-рабочему весело приветствовали его: «Здрасьте, Ной Соломонович, как ваше ничего себе?».

Причиной неприятностей послужила целая цепь событий. Началось с того, что врачи, обнаружив у папы гипертонию, посадили его на строжайшую диету и предписали ему по утрам есть свежий творог, желательнее из банок по 76 копеек. Творог в магазине «Диета» на улице Горького давали только рано утром, и чтобы он достался, очередь надо было занимать за час до открытия. В этом не было бы ничего страшного, если бы не факт уже чисто коммунального порядка. В общей квартире, где кроме папы проживало теперь десять се-

мей, была только одна уборная, возле которой по утрам выстраивалась длинная очередь. И жильцам, чтобы справить нужду и поспеть на работу, приходилось вставать на час-полтора раньше. Так вот, с каких-то пор папа стал занимать очередь первым, что и вызывало у соседей недоумение: «Ной Соломонович, а вы-то куда спешите, вы же у нас на заслуженном отдыхе. Мог бы работающих пропустить!».

Однажды и вовсе произошел скандал: изо всех дверей папе кричали, что если ему невтерпех, пока люди уйдут на работу, пускай идет в общественный туалет, к Петровским воротам! Кончилось тем, что папе сожгли его новый эмалированный чайник, за которым он простоял в ГУМе полдня и заплатил 11.50 новыми деньгами.

И все же, как только заходил разговор об эмиграции, папа становился неприступен, как скала. «Что я сумасшедший?» — говорил он и добавлял, что не представляет себе страны, где бы нашему народу жилось так хорошо, как в СССР. «И тебе, Аркадий, тоже», — припечатывал меня папа, пока однажды вечером не позвонил и тоном заговорщика, какой появлялся у него в подобных случаях, не сказал мне: «Кадя, я должен с тобой поговорить как отец с сыном».

Когда я у него появился, то понял, что папа перешел Рубикон без моей помощи. Он сидел за своим антикварным письменным столом (папа с гордостью рассказывал, что это личный стол Саввы Морозова, приобретенный в комиссионном в Столешниковом), как ни странно в кепке и писал письмо своим племянникам-фермерам в Америку. Рядом лежала сорванная им с двери вырезка из журнала «Крокодил» с портретом Голды Меир. На мудром лице Гопды ярко-желтым карандашом было выведено: «Ной Соломонович + Голда = любовь!».

К папиной чести, он в письме в Америку не утратил собственного достоинства: «Дорогие Йоська, Ицик и Зямка, — писал папа, — прежде всего хочу сообщить, что живу я очень хорошо и абсолютно ни в чем не нуждаюсь». (Слово «абсолютно» он дважды подчеркнул жирной чертой.)

Советское правительство платит ему хорошую пенсию и предоставило прекрасную шестнадцатиметровую комнату в доме, где жили знаменитые советские актеры и писатели. И хотя в его квартире проживают еще десять соседей, все они порядочные люди и совершенно не антисемиты, и вообще он

не представляет страны, где бы нашему брату жилось так хорошо, как в СССР.

Не исключено, что затеянная папой переписка продолжалась бы по сей день, если бы в конце письма он не задал племянникам странного вопроса: много ли они зарабатывают? И уже в постскриптуме не приписал, что жаждет всех троих крепко обнять, вспомнив, как он провожал их вместе с их мамой с Казанского вокзала в 1921 году.

В своем ответе, который предварительно изучался папой на свету, племянники писали, что они все втроем плакали от счастья, получив письмо от дяди Ноя. На вопрос, много ли они зарабатывают, прямого ответа не последовало, зато подробно описывалось, какая в Америке ужасная безработица и дороговизна и преступность, словом, их беспросветное существование даже отдаленно не напоминало счастливой жизни папы. В заключение они написали, что также жаждут обнять дядю Ноя и ради этого готовы приехать к нему в гости в Москву.

Весточка от племянников окончательно укрепила его во мнении, что историческая родина — это единственное место, где его ждут. Все остальное было уже следствием. Следствием того, что папины соседи сделали из него изгоя и прикололи ему на дверь то самое: папа + Голда = любовь.

Было тут еще кое-что дорисовано, что и убило папу окончательно.

Но мне это уже не изобразить, одно дело знаки плюса и равенства, а другое депо — нахальные художества соседей-лимитчиков, решивших сжить папу со света.

Итак, лед тронулся, но я плохо знал своих домочадцев. Да, сказал папа, он готов ехать, но ни в какую ни в Америку, а только в Израиль, где его сыну как узнику Сиона будет оказано должное внимание. «Но я, Кадя, прошу тебя, как отец сына: уедем без этих «ныкеевых». Если тебе нужны деньги на развод, я дам тебе деньги на развод».

На другой день я позвонил Руфине и сказал, что мы с папой уезжаем. И я надеюсь, что она даст мне разрешение, после «сухумской истории»-то? Тогда она говорила, что раскусила всю мою подноготную и что в самом кошмарном сне она не подозревала, что у нее будет муж, способный волочиться за каждой «ныкеевой» (таки любимое слово уже не только папы, но и Руфины!)

Теперь, выслушав меня, Руфина сказала: да, она все понимает и готова дать мне развод, но хотела бы задать один вопрос: почему я прежде не поговорил с ней и с Машкой. Может быть, они тоже хотят ехать? Надо же быть логичным: если у тебя есть жена и приемная дочь, то ведь следует подумать об их будущем! Или бросать их на произвол судьбы? «Скажи, Кролчер, сам! Кстати, я надеюсь, ты не потащишь с собой своего папу. Ной Соломонович — ветеран и старый большевик, и логично рассуждая, ему куда не следует трогаться».

С этого все и началось: папа против Руфины, Руфина против папы, — в какой-то момент я почувствовал себя главнокомандующим двух враждующих армий, которые необходимо было повести к сияющим вершинам победы.

При этом у каждой из армий были свои цели.

Высшей целью папы было получить вызов из Израиля втайне от соседей. Если они пошли на провокацию с Голдой, когда он еще был нормальным советским гражданином и пенсионером республиканского значения, то страшно было представить, на что они могут пойти теперь. Была у папы цель и поскромнее — пересыпать нафталином все свои пиджаки, чтобы их не съела моль, пока доедут до Израиля.

Но все получилось не так, как хотел папа. Почтальон, которого он дежурил с утра до вечера, сподобился принести вызов в семь утра, когда папа находился в кабинете задумчивости, и вручил его под расписку главному хулигану и алкашу Сеничкину. (По подозрению папы он как раз и нарисовал хулиганскую иллюстрацию к провокации с Голдой.) Но нет худа без добра: накануне была получка, и не просыхавший всю ночь Сеничкин принял вызов за какой-то важный официальный документ и, боднув лбом папину дверь, сказал: «Поздравляю, Ной Соломонович, с правительственной наградой».

У Руфины было другое. Ее «идея-фикс» было копировать и заверять у нотариусов свои аттестаты, дипломы и главы из кандидатской диссертации, хотя было не ясно, какое применение Руфина найдет своему научному труду на исторической родине. Она защитилась в институте права Академии наук после того, как Леонид Ильич Брежнев призвал развивать демократию на селе. Тема ее диссертации была «Гласность в работе сельских советов». Тема эта потешала меня, но когда я высказывался вслух, Руфина ссылалась на своего научного

руководителя профессора Перчинского. Уехав в Израиль, он увез с собой девятисотстраничный труд своей жизни «Право жалобы в условиях развитого социализма». Монографии был предпослан авторский эпиграф: «В праве жалобы, как в капле воды, нашли отражение все преимущества социалистического строя».

Самым неожиданным образом повел себя редактор нашего строительного органа. Он позвонил и пригласил меня попрощаться и, пожимая мне руку, даже смахнул с лица слезу. Сколько вместе проработали? Без малого двенадцать лет!

— Двенадцать с половиной, — уточнил «красивенький». По поручению редактора он уже успел сгонять на угол и принести по такому случаю все, что полагалось.

— Еще большим человеком станете, Аркадий Ноевич, — министром или еще каким деятелем, — задержал редактор мою руку в своей. Взгляд, которым он меня окинул, имел только один смысл: если я все-таки стану большим человеком, то недурно бы вспомнить и о нем, редакторе нашего строительного органа.

— И о своем коллеге Закревском, с которым ходил на большие дела, — «красивенький», как всегда, не хотел быть обойденным историей.

Последний день в семье прошел под знаком идиллии. Воюющие стороны братались. За столом снова появилась приятельница папиного детства Стеллочка, и пока мы с Руфиной паковали чемоданы, она гудела папе на ухо: «А ты знаешь, Ной, мы в зале Чайковского проделали неплохую работу!».

Улетали мы опять же тихо и прозаически, если не считать, что перед отъездом позвонила Изольда. Если бы позвонил Брежнев, я был бы удивлен меньше. По телефону сказала, что у нее ко мне срочный разговор. Совершенно беспардонно вплыла в мою пустую предотъездную берлогу в Столешниковом, окатив ее ветром дорогих духов. Она выглядела шикарной амазонкой с играющей на плечах жгучей волной. Подала мне холодную ладонь и сразу перешла к делу: «Послушайте, Аркадий, не могли бы вы послать из Израиля вызов?». Я хотел спросить, откуда известно про мой отъезд, но тут же передумал.

Все было упаковано, и под рукой не было карандаша, чтобы записать ее данные. Она деловито извлекла из сумочки

авторучку и вместо бумаги вручила газету, чтобы записать на краешке.

Я сразу узнал наш строительный орган. На первой странице был очерк «красивенького»: «Бен Кагановский — прораб будущего».

— Вы же знаете его, — со значением усмехнулась Изольда, на лице ее я прочел: «Надеюсь, ты не окажешься неблагодарной свиньей». По-моему, она специально взяла эту газету, чтобы все увязать: своего мужа, прораба будущего, «красивенького» и меня, получившего от них круглую сумму и по гроб жизни им обязанного, — вы же знаете его! — повторила она, будто одного раза было недостаточно, и снова подала руку.

Исчезла Изольда так же величаво, как появилась, оставив после себя запах дорогих духов и газету с творением «красивенького». Я провез ее через весь земной шар, пока в конце концов не повесил на стенку в «бункере» своего дома — прямо над папой и шоколадным рахитиком. На самом верху: «Мы придем к победе коммунистического труда», а чуть ниже: «Бен Кагановский — прораб будущего».

— Кролчер, сколько, в конце концов, можно сидеть? — звенит наверху фарфоровый голос Руфины. — Завтра у тебя опять подскочит давление!

— Иду! — кричу я на весь дом. Я счастлив, что закончил эту положительную главу, столь важную для освещения моей биографии. Но главное, для баланса еретичеству и разгулу, который вот-вот появится в моей хронике. Если скажут, что посягнул на самое святое, то налицо здоровый противовес: семья узника Сиона Кролчера репатрируется на свою историческую Родину.

ГЛАВА 20

Еще немного и я снова вернусь к Цезарю, а пока заглянем в кабинет к Председателю КПК — в тот момент, когда помощник положил ему на доклад новую жалобу Купцовой. После очередного диализа Председатель снова выглядел мраморно-белым, каждое движение ему стоило труда, и все же он твердо решил прочитать скопившиеся за время его отсутствия письма. Поступательное движение страны не должно зависеть ни от какого диализа. Председатель придвигает к себе баночку

ку простокваши, пробивает ложкой желтую корку и приступает к работе. О чем эта Купцова пишет сегодня? Он устал от ее длинных, сумбурных писем. И все об одном и том же — оказывается, сосед по квартире Беленький ее не только соблазнил, но от этого самого Беленького у нее растет дочь, а эту дочь обесчестил писатель Морчик. Какой-то дурной детектив! И все происходит на грязной лестнице. В центре Москвы. В стране победившего социализма. Зачем она это пишет? Каждый день по письму. Но с другой стороны, надо взглянуть на это дело с партийных позиций, глазами Владимира Ильича, учившего прежде всего задаться вопросом: кому это выгодно? Выгодно, чтобы рабочая женщина, пусть и отсталая, превратилась в орудие наслаждения определенных лиц. Совершенно недопустимо, чтобы они пользовались социальной незащищенностью наших рабочих женщин. Архивредно для всего дела коммунистического строительства!

Конечно, с такими, как Купцова, коммунизм трудно построить. Одно то, в каком неподобающем тоне пишет о гражданах еврейской национальности! Но снова необходима ленинская объективность, ибо существует оборотная сторона медали: угроза буржуазного национализма и сионистской идеологии. Заманивают в свое логово наших людей. По-видимому, пришло время, чтобы рабочий класс и здесь сказал свое веское и решительное слово. Может быть, в центральной печати, чем быстрее, тем лучше.

Председатель поднялся, чтобы пройтись по кабинету — такие разминки способствуют кровообращению. К тому же, на стеллаже, в противоположном конце кабинета появилось новое, дополненное собрание сочинений Энгельса: прислали из Института Маркса-Энгельса. Сколько у него на полках книг — средоточие мысли лучших умов человечества! Его охватило острое, почти физическое желание полистать эти свеженькие, пахнущие типографской краской тома. Но приподнявшись над столом, понял: отяжелевшие ноги не дадут совершить даже этого короткого путешествия. И чтобы хоть как-то себя успокоить, придвинул поближе баночку простокваши и снова погрузил в нее ложку.

Какая еще гигантская работа предстоит партии, как сильны еще пережитки прошлого в людях! Неподвижный взгляд его снова упал на письмо Купцовой, и с неожиданно вспыхнув-

шей тайной обидой он подумал о Морчике и иже с ним. Весь народ занят созидательным трудом, а они, видно, всерьез решили, что живут при полном коммунизме и можно позволить себе так называемую свободную любовь. Так они поняли Энгельса! Совершенно необходимо за это дать по рукам, хорошо, по-партийному дать!

Председатель вспомнил, что врач ему велел избегать отрицательных эмоций. А он опять не сдержался и почувствовал себя нехорошо. Он выскреб со дна баночки остаток простокваши и позвонил помощнику, чтобы тот вызвал ему машину.

— Да, кстати! — вспомнил Председатель. — Позвоните товарищам из отдела пропаганды и попросите созвониться с кем-нибудь из редакторов: нам, как воздух, нужна статья хорошего, передового рабочего против сионистской идеологии.

Если бы существовала телепатия, Цезарь не мог бы не почувствовать биотоков, исходящих из кабинета Высшего судьи партии. Я бы сказал, из его души, если бы это не звучало чересчур выпренно. С другой стороны, кто знает, каков на самом деле эффект телепатии.

Раньше, когда Цезарь глядел на себя в зеркало (делал он это чуть откинув назад голову и едва заметно себе улыбаясь), — так вот, в такие моменты просыпалось в глубине его души тайное желание сравнить себя с великим римлянином. В момент, когда провозжал тот своих воинов на великие битвы древности. «Аве Цезарь, моритури те салютант!». Теперь он видел себя в зеркале совсем другим. Печальным и нерешительным. С таким, вероятно, лицом метался униженный и несчастный герой «Процесса» Кафки. Но тот еще не ведал, что представляет собой эпоха коллективного руководства и потому имел возможность спокойно предаться страху перед грядущим Процессом. А Цезарь? Даже если он чувствовал биотоки, идущие со Старой площади, он не мог себе позволить ослабиться, и в те дни, когда в высшем Суде партии нависла над ним угроза, он должен был засесть за новую статью АсейСаныча. Какую уже по счету и почти все по заданию ДДТ!

Когда-то ДимДимыч послал его на боевое крещение и теперь обратился к нему как к бывалому, проверенному сотруднику: «Послушайте, Морчик, боевое задание. Сегодня утром звонили товарищи из отдела пропаганды ЦК и просили АсейСаныча подумать над одной острой политической темой. Какая

тема? Товарищи из Центрального Комитета сказали, какая тема. Но меня интересуют вы. Оглянитесь вокруг — неужели у вас нет политического чутья?».

— Снова, Дмитрий Дмитриевич, «нанайцы»? — спросил Цезарь.

— Да, Морчик, снова «нанайцы»! — засмеялся Толстохват. Они столько лет работали вместе, что понимали друг друга с полуслова..

По мнению товарищей из ЦК, новая статья АсейСаныча Залесова призвана была выразить сокровенные мысли советского рабочего.

— Мы тут даже название придумали, — похвалился ДДТ, — «Крапленые карты сионизма. Думы советского сталевара».

Вот так и связало одной ниточкой Высшего судью партии и героя моей хроники. И меня, ее автора, тоже. Какой Кафка, какой член ССП мог бы сотворить подобный сюжет! А ведь к главному еще не подошли.

Между тем, Катька-блоха писала новые жалобы, и Цезарю звонили все новые лица, и он уже терял счет звонкам. «Так вы, товарищ Морчик, уже в курсе? Да, да, есть жалоба. От многодетной матери... Купцовой Катерины Сергеевны... Клевета? Ясное дело, клевета! Но ведь у каждого гражданина есть право жалобы, да вы хоть знаете, где находится дело, в какой организации? То-то и оно!».

Цезарь взглянул на часы. Время уже час. Время разогревать оставленный Вавой обед, и ни одного порядочного звонка. Умер цивилизованный мир. Стих Касторский (но это как раз к лучшему). Умерли прекрасные женщины.

Слава богу, телефон зазвонил снова. Может быть, этот? Может быть! Взяв трубку, он не поверил ушам:

— Гладиолус? Не узнал? Вощанцева Лариса Ивановна!

Еще бы не узнать ее пронзительный, сквозь весь московский кабель голос. Наконец-то она входит в норму: все ясно, что общего между ней и этим тупым валенком Заломовым...

— А у меня, Гладиолус, новость.

— Ребенок родился! — входит в форму и Цезарь.

— Фу! Как ты можешь? Впрочем, поделом мне, буду знать, как звонить мужчинам и о чем-то просить.

Вот так же позвонила ему в Рустави, в гостиницу «Сакартвелло», в тот их первый вечер, сто лет назад. В театре Рус-

тавели шла премьера «Фауста»: не может ли он, как гость из Москвы, достать билет? Ах, как неудобно, замужняя женщина звонит мужчине. Ради бога, но так хочется послушать «Фауста»!

Кончилось покаяние в гостинице «Сакартвелло», впрочем, опять же покаянием: «Ах господи, как дальше жить! Как взглянуть Вахтангу в глаза? А ведь не хотела... Не хотела...»

Сколько ей тогда было? Двадцать? Двадцать два? Она была совершенной девочкой, и Цезарь, любуясь, как в неглиже она смертельно затягивала себя в джинсы, воскликнул: «Ах какая газбойница!» — едва не вырвалось назвать какая, да побоялся обидеть...

— Но почему, Гладиолус, ты не спрашиваешь, что за новость? Даже не представляешь. Уезжаем с Сайманом в Израиль!

— Поздравляю, — сказал Цезарь, мгновенно решивший закруглить разговор.

— А почему не интересуешься, что у меня за просьба? Право, так неудобно, но дело в том, что завтра на партсобрании разбирают Заломова, хотя вписать в характеристику секретность. А какие у него секреты? Солнце всходит и заходит, вены в лавочку идут! Надо выступить, защитить...

— Да, да, почему нет? — бормочет Цезарь.

О, она не сомневалась, что он настоящий мужчина и не предаст товарища!

Если бы Цезарь веровал в бога, он бы решил, что бог решил оставить его, перевернуть вверх тормашками его жизнь. Сразу после Лолиты позвонил парторг Иван Иванович Зевин, завхоз группкома и известный на весь мир матерщинник. Начал он странно и издалека, что, де, жизнь прожить — не море перейти и что есть у него к Цезарю два вопроса, один, понимаете ли, нет, вопрос вашенский, другой, как говорится, вопрос нашенский. «Какой вопрос вашенский? Ишь ты, запомнил, какой евонный вопрос, — бесшумно рассмеялся Иван Иванович. — С Купцовой, подлючкой, вот какой вопрос! Пишет по всему свету, что ваша нация задумала Россию захватить. Но это что! У нее есть сосед Беленький, соблазнил ее, дочь от него родилась. А дочку эту ты, Цезарь Семенович, взял и в подъезде сподобил».

Он уже понял, что все эти кренделя были прелюдией к другому вопросу, «нашенскому», который, как выяснилось, касался того же Заломова. «Это ведь надо какую подлянку парторганизации подстроил! В общем так, Цезарь Семенович, посо-

ветовались мы тут с товарищами и единогласно решили: вломить этому сионисту первую форму секретности, а тебя от имени парторганизации просим выступить. Товарищи из органов нас проинформировали, что тут у них целая компания: какая-то блядища из ГУМа возглавляет — не то Циля, не то Роза, в общем, задание парторганизации понятно?».

— За пагтию мы в огонь и в воду! — как можно решительнее произнес Цезарь, с ужасом вспоминая звонок Лолочки.

— Да зачем же в огонь? В огне пушай горят сионисты, а тебя мы просим самую малость: выступить и, говоря по-партийному, въебать этому деятелю секретность. В лагеря, подлый человек, ездил, по тюрьмам нашим, потрох, ходил, а теперь всему миру разболтать хочешь? Я тебе, Цезарь Семенович, как коммунист коммунисту скажу — нет на них отца родного — вот кто, понимаете, умел с ними разговаривать!

От этого звонка и вовсе испортилось настроение. К счастью, все обошлось, и на собрании вообще выступать не понадобилось. Но о собрании ниже, а пока о нашей Гесе Гельфонд, вскользь упомянутой парторгом.

Было это как раз в дни, когда папа стараниями своих соседей дрогнул и сообщил мне, что рубикон перейден. А я стал по субботам навещать к московской синагоге, где толпилось много таких же, как и я, решивших катапультироваться на Родину предков. И, естественно, один из первых, кого я встретил, был нищий отказник Куперштоккер.

— Что, Кролчер, дозрел? Лучше поздно, чем никогда! — обрадованно жал он мне руку и сунул два скелотых листка. Признаться, вид у них был настолько странный, что я вначале не понял, что к чему. На первом листе было от руки написано «Ночной звонок. Поэма о счастье».

Поэма состояла из двух четверостиший. Но самое интересное шло затем: «Памятка отъезжающим коммунистам. Прочти и передай товарищу».

Стихи были следующие:

**По ночам ты мне не звони,
Понапрасну себя не расстраивай,
Фараону письмо напиши,
Провокаций чтоб не устраивал,
Чтобы миру очки не втирал,
Чтобы людям сказал: «Я сдаюсь!»
И когда я приеду к тебе,
В Иордане родном обольюсь!**

Говорили, что стихи принадлежали какой-то отказнице и совсем не писательнице, а, как ни странно, бывшей коммунистке и завсекцией ГУМа, и что эта отказница по имени Геся Соловей отличалась редким мужеством. Ее уже допрашивали в КГБ, и она отбрила их. Человек, который вел допрос, представился Михаил Михайловичем, именно он и выламывал ей руки:

— Простите, а кто это, Геся Евсеевна, вас беспокоит по ночам?

— Вопрос провокационный, отвечать отказываюсь! — сказала Геся.

— А кто такой фараон?

— Ответа не будет, провокация!

Затем гэбешник пристал и вовсе с глупостью: на каком берегу Иордана она собирается искупаться — на правом или на левом?

Могла бы сказать, что это образ, поэзия, но нет: она решительно отрезала:

— Какая разница — на правом, на левом, оба берега наши! — и в знак протеста позвонила начальству гэбешника. А они, разумеется, в своем репертуаре:

— Какой Михал Михалыч? У нас такой не работает. Может быть, Андрей Андреич?

У синагоги не удивились, когда увидели Гесину «Памятку отъезжающим коммунистам». Она была прирожденным тактиком и знала, как реагировать на каждую провокацию. Самым опасным был вопрос: с какой целью едете на историческую родину? Реагировать Геся рекомендовала так: во-первых, чтобы воссоединиться со своим народом, но не только для этого, а и чтобы вступить в тамошнюю компартию и строить на своей исторической родине коммунизм. И ни в коем случае не вступать в полемику. Полемизировать не с кем и ни к чему — а сразу же заявить, что вопрос задан с целью провокации.

На собрании рыжий Заломов (одетый в свою всегдашнюю хемингуэевскую рубашу-апаш) долго растолковывал присутствующим то, от чего я вас решительно избавляю: когда он впервые почувствовал тягу на историческую Родину. Парторг в знак небрежения к теме демонстративно зевал, а когда Заломов закончил, выразительно взглянул на Цезаря.

— Итак, прошу выдать характеристику, — сказал Заломов. Все молчали...

— Характеристика или я... — последнее он произнес столь устрашающе, что можно было понять лишь в одном смысле: «Характеристика или я сотворю что-то непотребное», однако закончил вполне миролюбиво: «Характеристика или... я покидаю собрание».

А далее и вовсе пошла рутина, нарушил ее пенсионер и нештатный лектор райкома Петр Никитич Рябоконе: «Как увязать ваше желание уехать к сионистам с вашей принадлежностью к КПСС?» — спросил Петр Никитич.

Ответ строго соответствовал «Памятке» Геси Соловей. По прибытии на историческую Родину Заломов тут же вступит в Коммунистическую партию Израиля.

— Но ведь в Израиле две компартии! — словно ждал такого ответа Рябоконе, — в какую же именно вознамерены вступить, товарища Вильнера или Микуниса?

Естественно, следовало ответить, что в партию верного ленинца товарища Вильнера. Но от волнения фамилию последнего Заломов запомнил и, как советовала в таких случаях Геся, воскликнул:

— Провокация!

— Ясно, — язвительно усмехнулся Петр Никитич, — а в израильскую армию пойдете?

— Снова провокация! Последний раз спрашиваю: характеристика или... смерть! — почти воскликнул он, но слово «смерть» не произнес, а негромко сказал: не дадут характеристики, он, не сходя с места, звонит западным корреспондентам.

Между тем, парторг, уставши делать Цезарю знаки, показал ему под столом кулак, на что тот беспомощно развел руками. В этот момент присутствовавший на собрании инструктор райкома взглянул на часы и проделал указательным пальцем спираль, что, де, пора закругляться. Заломова единогласно исключили, и на том все кончилось. Если не считать, что, выйдя с партсобрания, он зашел в телефонную будку и, набрав номер Геси, стал рассказывать, как все происходило, а она велела подождать, пока возьмет сигарету, затем стала стыдить его: неужели не слышал, что в Эрец Исраель две компартии. Хорош сионист!

Если бы в эту минуту мы заглянули в квартиру к Гесе на Земляном валу, то мгновенно бы поняли: звонок был явно не ко времени. В момент, когда зажегся свет, там можно было увидеть мужчину (причем, мужчину нам знакомого!). Он делал

Гесе знаки, чтобы закруглялась, а Геся, с распущенными волосами, от того настоящая цыганка, и с золотым магендавидом на груди, отбивалась от зануды Заломова. Захоти она, тут же и отбилась бы. Но в жизни все не так просто, и совсем неизвестно, что было Гесе дороже — то, чем она занималась в тот вечер, или великое дело сионизма, которому решила посвятить жизнь. Во всяком случае, когда ее гость хотел приблизиться к ней, она даже оттолкнула его и как ни в чем не бывало продолжала распекать Саймана: де, какой же он все-таки валежник, если не способен отличить Вильнера от Микуниса.

ГЛАВА 21

Новый год Цезарь встречал вдвоем с Вавой — случай беспрецедентный за семнадцать лет их семейной жизни. Было на Ваве исключительно красивое, декольтированное платье, делавшее ее в эту ночь таинственно-привлекательной и совсем молодой, такой же, какой была когда-то. Куранты пробили полночь. Выпили шампанского.

— С Новым Годом! — взобралась Вава к нему на колени. — Дай поцелую своего Коташу. Нет, не так, так не хочу!

Цезарь обнял ее. Ему стало жалко Ваву. И еще более самого себя. Оттого, что складывалось все так, что он вынужден был вечно обманывать ее, а ведь она обожала его, да и он по-своему ее тоже любил. Не раз давал себе слово стать другим, честным и прямым, каким и следовало быть порядочному человеку. Но слова не держал, обстоятельства оказывались сильнее его. Другого — кроме обстоятельств — объяснения не находил — ни казусу в Большой Бахрушенке, ни своим отношениям с Лолитой, которая слава богу, уезжает навсегда. К нему приходили мысли, что надо бы повиниться перед Вавой (ему даже нравилось слово — «повиниться») и начать все сначала. Час раскаяния как раз и любил откладывать на Новогоднюю ночь. А тут еще были совсем одни. Хорошо бы в эту ночь решиться. Но как решиться? Как убить ни за что ни про что столь счастливую Ваву?

На экране телевизора появилась физиономия тогдашнего председателя Верховного Совета Подгорного, отчего на душе у Цезаря стало совсем нехорошо, и он грустно подумал: раз сейчас так муторно, то и весь год будет так.

Однако примета не подтвердилась. В том смысле, что в первую же неделю Нового года все стало разворачиваться так бурно, что я сам в тупике, в какой последовательности развивать сюжет.

Началось с события совершенно малозначительного. Еще перед Новым годом Цезарь позвонил в Литфонд, чтобы заказать путевку в Переделкино, в писательский Дом творчества. В Литфонде сказали, что членам секции литзаписи предусмотрели для отдыха другой, не лыжный месяц — март. Поэтому и снял комнатку в Доме приезжих, на границе Переделкина со следующей станцией. Оно, может, вышло и к лучшему: был у него в этих планах свой расчет. Со дня на день должен был умотаться в Израиль Касторский, давным-давно получивший разрешение. К тому же ходили слухи, что в связи с прибытием делегации американских сенаторов устроят в столице грандиозную чистку и разом арестуют всех сионистов. Поэтому и решил уехать и пересидеть неделку-другую вне столицы, пока уляжется. Но чего никак не предполагал, так это что в последнюю ночь, перед отъездом в Москву, нагрянет Лолита.

Стоял чудный январский вечер, Цезарь напился чаю, зажег над головой зеленый светильник и уж даже задремал с «Литературкой» — было примерно полдесятого, а в десять она как раз и позвонила. Нет, не так: в номер позвонила коридорная — через нее в этом заведении осуществлялась связь с внешним миром: «Товарищ Морчик, вассс!» — сказала она с утренней шипящей, и в трубку ворвался далекий голос свалившейся как снег на голову Полочки. Цезарю показалось, что она звонит из другой страны, может быть, из Израиля, но она была совсем рядом, на станции.

— Гладиолус, ты? Наконец-то! Думала, уж не дозвонюсь. Надо срочно увидеться, буквально на пять минут! — Ну да, попрощаться, Заломов ничего не знает, меня все ждут.

Не успел Цезарь положить трубку, как коридорная (чье имя и отчество он уже знал — Арина Ивановна) позвонила снова: — Вы уж будьте ласковы, товарищ Морчик, но гостям у нас разрешается только до одиннадцати.

Что есть коридорная в советской гостинице? Высший блюститель! Но эта казалась коридорной из сказки. Или благодаря царившей вокруг идиллии он сделался сентиментальным и про себя ее даже сравнил с пушкинской няней Ариной Ро-

дионовой? И все развивалось согласно этому сравнению, когда она, одетая в белый чепец и уютно семеня в тапочках, ввела его в номер: «Добро пожаловать, товарищ Морчик, чемоданчик сюда, а пальто, будьте ласковы, вот куда!». Теперь все получалось по-иному.

Цезарь вспомнил Грузию и гостиницу «Сакартвелло», куда пришла первый раз Лолита. «Ах боже, за что мне — эта ужасная коридорная!». «Ну уж это предоставь мне», — сказал Цезарь, начинавший все свои дела в командировках с решения проблемы коридорных. Так и теперь — он вышел к этой пушкинской няне, высокий, элегантный. Обворожительно улыбнулся и, играя ключом от номера, сунул ей под скатерть червонец.

— Товарищ Морчик! — взмолилась она, — будьте ласковы, нам ведь это не разрешается — и решительно препроводила десятку к нему в карман.

В номере Цезарь снова вспомнил Рустави. Это уже позже Лолита пришла к нему в «Сакартвелло», а познакомились они на банкете в столовой Закметзавода, где праздновали коммунистический почин АсейСаныча. Сидел тот рядом с директором и, чокаясь через стол с Цезарем, все восклицал: «Цезарь Семенович, твое здоровье! Вот это, ребята, журналист, в натуре! Все «бля-бля-бля», а этот по-рабочему: сказано-сделано!».

Цезарь не помнил, где сидел Гогоберидзе — рядом с ним или напротив — с юной девочкой-блондинкой. Цезарь вначале подумал, что это его дочь, но оказалась жена. Покраснела и представилась: «Меня зовут Лолочка». Не Лолита, а Лолочка. Потом были танцы, и он пригласил ее. Потом провожал до автобусной остановки, поскольку пьяный Гогоберидзе уже не вязал лыка. Когда шли, он хотел взять ее под руку, а она воскликнула: «Ах, Цезарь, прошу вас, сохраняйте дистанцию, но и не оставляйте меня, мне страшно!».

Позже, когда все кончилось, она, наморщив носик (как только она одна умела), сказала, что ужасно боится одной вещи, — Какой же? — насторожился Цезарь.

Ах, она боится, что он не будет ее уважать. Пусть скажет, что о ней думает, сейчас же, кто она такая? Или она умрет, вот здесь же, в этой гадкой, мерзкой гостинице!

Цезарь внимательно взглянул в ее широко раскрытые глаза (только у нее были такие невинные глаза!) и улыбнувшись

назвал ее разбойницей. Так же, как перед этим, когда еще в неглиже пыталась ввинтиться в свои джинсики. Ему нравилось называть ее разбойницей. И когда в Москве она назначала ему свидания в самых диковинных местах, он вспоминал это слово, будто применительно к Лолочке оно приобретало особый, со своим поворотом, смысл.

Однажды я шел по улице Горького и встретил их вместе, выходящими из-под арки театра Ермоловой. Поздно вечером. Ясно, что вылезли из этого «Мособлавтотранса», словно специально существующего для бесприютных московских парочек. Лиц я их не видел, но это были они. Единственно, чему я удивился, как это пришла ему на ум идея — затащить Лолиту туда, куда хотел унести ее я?

Я решил проследить, куда они двинутся дальше, — и пристроившись шагах в десяти, пошел за ними вниз по Горького, в направлении центра, затем обогнули площадь Революции — и вдруг уже у метро исчезли. Не стало и все. Слово мне все привиделось, осталось одно лишь недоумение: как же он все-таки додумался завести ее в этот «Мособлавтотранс»?

Но я отвлекся. Вернемся к Цезарю, теперь уже проклинавшему себя за то, что не отказал Лолочке. Нашел время и место! «Пушкинская няня» как пить дать гэбешница. И в потолке наверняка подслушивающие устройства. Да их просто могли сфотографировать, как в тот раз с Касторским...

Когда Лолита вошла, он первым делом показал ей на потолок, чтобы старалась поменьше говорить. А она возмутилась: почему он встречает ее в пижаме? «Одно из двух, Гладиолус, или ты наденешь костюм или я ухожу!».

Разговор не клеился. Он налил себе и ей коньяку, поправил ей сзади куртку и словно бы невзначай приспустил молнию — в номере ведь ужасно душно.

— Не смей, ты в своем уме? — отпрянула она и, потеряв равновесие, оказалась на тахте.

Далее события стали развиваться вовсе необъяснимо. В ответ на ее «не смей!» Цезарь олимпийски спокойно сказал: «Вот и славненько, не смею!». Может, вспомнил Осколкина (даже наверное вспомнил, иначе откуда бы взяться этому «вот и славненько») или подумал, что и впрямь вмонтировали аппаратуру и лучше обойтись без шума. Или вспомнил гэбешницу коридорную — наверняка гэбешница, раз середь бела дня чер-

вонец отвергла. Да и голосок гэбешный: «Товарищ Морчик, вассс...»

Лолита же, почувствовав его смирение, будто необыкновенно обрадовалась и сказала, что разрешает ему на прощание себя поцеловать. «Нет уж, — сказал Цезарь, — раз дружба, так дружба!». Она приблизилась к его креслу и больно дернула за щеточку усов. «Нет уж — раз дружба, так дружба!» — повторил он и, сграбастав ее, решительно понес ее обратно на тахту. И пока нес, на ней треснули джинсы.

Да он же просто садист, выступили у нее слезы, да садист! Из-за слез по лицу ее потекла краска, что ее мгновенно состарило. Поднявшись с тахты, она снова направилась к нему, уже почему-то без брюк, в одной джинсовой кофте поверх комбинации.

— Вот разбойница! Ведь дружба же! — засмеялся Цезарь и потянулся к выключателю. Так происходило всегда. Он не завоёвывал женщин, он сдавался им.

Я бы не стал это так подробно описывать, если бы не последовали другие события, перепутавшие весь сценарий. Зазвонил телефон, и Цезарь, словно опять откуда-то из Израиля, услышал мужской голос:

— Коташа — это я! Звоню, чтобы сказать тебе шалом! Боже, да он не один — говори с кем, пока не сообщил куда следует!

«Не уебнул!» — непечатно выразился про себя Цезарь, но вспомнив про коридорную, холодно спросил:

— Чем могу быть полезен?

— Ничем, Коташа, завтра уезжаю на Родину всех нанайцев.

— Не понимаю, о чем вы?

— Ах, Цезарь, что вы наделали! — заблеял пьяный в дрезину Касторский и положил трубку. Но тут же позвонил снова и стал выяснять, кто же все-таки у Цезаря. — Мы тут пересчитали всех — одного человека недостает, такого маленького холосика... Ах, Цезарь, что вы наделали!

Лолита лежала молча, треснувшие брюки валялись на полу. Цезарь снова приблизился к ней и в испуге застыл. Опять же от телефонного звонка. Теперь это была коридорная:

— Цезарь Семенович, будьте ласковы — жена!

— Коташа, здравствуй! — запела в трубку Вава, после чего последовал монолог, который не трудно представить: ах, как

она соскучилась! И как Коташа себя чувствует? И кто это рядом с ним так тяжело дышит?

— Да что ты, Вавуля! — показал Цезарь кулак Лолите.

— Товарищ Морчик, будьте ласковы, проводите гостей! — снова ворвалась коридорная.

— А какие там у тебя гости? — изменился голос у Вавы.

— Да тут братья-писатели, — делал он отчаянные знаки Лолочке, которая беспомощно повисла на нем и что-то норовила сказать, но не успел он положить трубку, как разрыдалась:

— Зачем мне это все? Зачем? И чего я потеряла в этом Израиле? Что всем от меня надо? Я русская баба Вошанцева Лариса Ивановна! — По щекам ее текли мутные ручьи, головка стала с кулачок. — И все из-за тебя! Ты все поломал, давай и ехать вместе! А ему все сама скажу... Думаешь, кому? Заломову? Как бы не так — этот и без меня проживет! Касторскому — уроду, вот кому! А с тебя и волос не падет, все улажу. Сейчас прямо поедем и все объявим: мол, не взыщите, господа, произошла ошибочка, не под того легла! — рыдала Лолочка. А Цезарь думал о своем: как ужасно он опять обманул Ваву!

Коридорная, меж тем, сказала, чтоб он проводил гостью. «Мамочка родная, джинсы! — опомнилась Лолита, — Гладиолус, булавку... Вот она, родимая, кабы раньше увидеть, ничего бы не было!» — нервно рассмеялась она и первая вышла из номера. И он, выйдя следом, решил представить ее коридорной.

Та, склонив к настольной пампе чепец, вязала.

— Познакомьтесь, моя младшая сестренка Машенька, а это, Машенька, мой ангел-хранитель Арина Ивановна.

— Сестрица? Да какая миленькая! — отложила она вязание и вонзилась из-под очков в играющий Лолочкин задок. А Цезарь, воодушевившись, подумал: «Попробуем еще раз, была, не была!» и, приоткрыв в столике коридорной ящик, сунул туда два червонца.

— Товарищ Морчик, — умоляюще взглянула она на него, — право же, как-то даже неудобно!

— Да пустяк, Арина Ивановна! О чем говорить, — умолял ее в свою очередь Цезарь.

— Может, и пустяк, конечно, — закивала она головой, — а все же будьте добры! — и, открыв ящик, вернула ему деньги.

Среди прочего Осколкин ему и это припомнит: «А что, скажет, Цезарь Батькович, имя вам такое, Арина Ивановна, зна-

комо? Коридорная из гостиницы, недалеко от ваших писательских пенатов? Вы даже бумажку ей на стол положили, не помните, что именно за бумажку?».

Когда вышли, он хотел посадить Лолиту в такси, и уж остановил, и открыл ей дверцу, но она ни в какую не отпускала его: «Едем, Гладиолус, со мной» и вцепившись в лацкан, увлекла его за собой в кабину.

ГЛАВА 22

Место, где они оказались после пертурбаций этого вечера, выглядело тихой гаванью. Это был дореволюционной постройки флигель на Разгуляе, один из тех, которые еще со времен нэпа набивались всяким пришлым людом — но, вот ведь, и в этом коммунальном мире еще сохранились «отдельные» квартиры. В одну из них и позвонили Цезарь с Лолитой.

В передней их встретила складная, аккуратная старушка в пенсне, божий одуванчик, по имени Берта Михайловна — представилась одновременно и хозяйкой и родственницей Касторского, двоюродной его теткой по линии матери.

Цезарь, боясь наследить, вышел на лестницу стряхнуть с себя снег.

— Да полноте, — по-домашнему улыбнулась Берта Михайловна, — у нас ведь тут вокзал.

Мелькали незнакомые лица. Лолита куда-то исчезла. У окна, озираясь по сторонам и всячески показывая, что они сами по себе, стояли Брайнин и Робсон, этих уж никак не ожидал встретить.

— А вы что тут делаете? — деланно веселым голосом спросил Цезарь.

— А ты? — настороженно спросил Брайнин.

— Я — ничего! — сказал Цезарь.

— Ну и мы ничего! — чему-то обрадовался Брайнин.

Между тем, Лолита снова появилась и сказала, что хочет его представить одному московскому журналисту.

— Да вон же он, вон! Майкл, можно вас на минутку!

«Московский журналист» обернулся: Цезарь увидел Мишу Голева, но не лохматого и растерзанного, каким последний раз встретил на лестнице, — а с иголки одетого, в замшевой, иностранного покроя куртке: «Ах, дайте, джентльмены, покой! Это же мой сосед по борьбе. Выпить, выпить, господа,

по такому случаю!». Он оглянулся по сторонам, хлопнул в ладоши: «Принцессы! Где мои принцессы?». Принцессами оказались близняшки, давным-давно знакомые Цезарю, те самые, кого когда-то приводила в «Националь» Геся Соловей. Обе разносили на подносах тарталетки и ловили на себе взгляды присутствующих, у обеих сверкали глазки.

— Меня зовут Марья! — подала руку та, что была ближе. Она не узнавала его. — Прошу вас! Угощайтесь, с икоркой берите, — придвинула ему поднос. — А вы, значит, тоже едете?

— Что значит тоже? А кто еще? — притворился Цезарь.

— Как кто? Все! — стала она поправлять ему галстук, оставив на манжете след помады. — Все ухилиют, только мы с Дарьей останемся. Я и Дарья и родина-уродина! Чего, я, Даш, не права?

— Дай познакомлюсь вначале: Дарьюшка! — подала руку другая сестра, окатив его гремучей смесью коньяка и каких-то недорогих духов. — Где я вас видела? Признайтесь — где? Никогда в жизни не признаетесь! А знаете почему? Потому что вы хитрый!

— Ну как вам у нас? Не шокирует? — снова подошла к нему Берта. — Я слышала, что вы писатель? Что, в литературе нашего брата не очень прижимают? Я-то по профессии финансист, но все равно, как подумаю, что не будет ни Большого театра, ни Театра на Таганке, так, знаете, оторопь берет.*

Эту часть вечера Цезарь великолепно помнил. Все шло на подъеме, на радости ожидания, кругом все что-то выясняли, кто-то уже разговаривал на языке предков: «Ата медабер иврит?» — «Ты говоришь на иврите?».

Квартира была четырехкомнатной — три комнаты больших, где толпились люди и на тонких шпильках фланировали близняшки Марья и Дарья. Четвертая — маленькая, как бы дополнение к гардеробу, туда были свалены пальто, не уместившиеся на вешалке. Располагался этот закуток в самом конце коридора, рядом с ванной, и входившие туда всякий раз старательно прикрывали за собой дверь.

— Господа! — взглянул на часы Голев. — Через минуту на-

*Позже, уже в Израиле, из рассказов Касторского я заподозрил: не была ли это та самая Берта, с которой я когда-то встретился в Цихидзири и сидел за одним столом, все совпадало, даже профессии. Впрочем, эта была куда вальжнее, но ведь прошло-то больше двадцати лет!

чнется передача «Голоса Израиля». Всех желающих прошу, — распахнул он дверь в закуток и объявил: — «Открытое письмо Майкла Голдесмана главному редактору «Труда» Толстохвату!»

Раздались жидкие хлопки, Робсон глазами подал звук Брайнину, и оба решительно направились к выходу. В зеркале Цезарь увидел Дантона Шаевича с Аленой, стоявших в двух шагах от него. «Дантон, — услышал он голос Алены, — не забудь, что у тебя сын!».

«Пора и мне!» — подумал Цезарь, но из-за паломничества в передней решил переждать.

Голевское письмо Толстохвату было длинным и неинтересным. Может быть, из-за помех в эфире, а может, из-за дикторши, которая хоть и читала по-русски, но с совершенно нездешней, нерусской артикуляцией. И чего никак не понимал Цезарь, какое отношение имела эта бодяга к Израилю. Начал Голев с того, как появилась его статья о проститутках на столе у ДДТ. Тот встретил шедевр в штыки и на статье написал: «Неужели автору не известно, что с проституцией мы закончили еще 25 октября 1917 года!». И всю статью испещрил резолюциями: там, где Голев заявлял, что проститутки надо из Москвы выселять, ДимДимыч, забыв, что писал несколькими строками выше, спрашивал: «А почему не воспитывать? Почему не вовлекать в трудовую деятельность?». И так далее, и тому подобное.

«Да к чему это?» — ничего не понимал Цезарь, пока болгарин вдруг не заговорил о Купцовой. Теперь стало ясно все.

«Да будет вам известно, Толстохват, — звенел теперь голос иерусалимской дикторши, — что Катерина Купцова, носящая на улице Горького имя Катьки-блохи, — не ординарная проститутка, а типичная черная сотня. Интересно, что бы сказал ваш шеф, Лазарь Моисеевич Каганович, узнав, что из-за нее, из-за этой черносотенки, ваши дружки из «Московского комсомольца» выгнали честного журналиста? Возможно, Лазарь Моисеевич вас бы и понял, но мировая общественность не поймет никогда. Да, я обвиняю вас, Толстохват! И не только от своего имени, но и от имени своего товарища, рабочего писателя Цезаря Морчика, против которого Катька-блоха раздувает дело в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС!». Цезарь оглянулся. Ему показалось, что все присутствующие смотрят на него, но все расходились, разбирая со свалки свои

пальто. «Пора и мне!» — снова подумал он и увидел идущего на него тараном Заломова.

— Морчик, какой сюрпрайз! Жив курилка! Понял, что резать нашего брата будут! — лез целоваться Заломов.

Именно в этот момент почему-то и вспомнил Осколкина, и его охватило недоброе предчувствие: ох, не пройдет ему даром этот Разгуляй! Предчувствие не обмануло его. Очень скоро он снова окажется в Большом доме, и Осколкин проявит поразительную осведомленность, когда будет вокруг него кружить в своем кабинете.

«Эх, Цезарь Семенович, Цезарь Семенович! Зачем дали этой сионистке Вошанцевой себя попутать? Хорошо, попрощались. Дело, как говорится, мужское, а дальше зачем? За Заломовых душа не болит — люди без роду без племени. Но вы-то, известный рабочий писатель, как вы-то с холодной душой на все смотрели? И еще эти вирши... — Скулки его краснели, становились, как кирпичики, он пригнулся к Цезарю, и тот чувствовал запах из его рта. — Что ни строчка, то пунктик из УК РСФСР. Да, верно, с этим мы покончили, но с другой стороны, сердце-то, Цезарь Семенович, болит, ох как болит! — И он действительно прижмет ладонь к сердцу. Кирпичики снова вспыхнут, он достанет платок, и Цезарю покажется, что в глазах его слезы. — Думаете, плачу? Нет, серьезно, что вы думаете? В том-то и дело, что нет в вас откровенности. Будто не видите, что простудился. — Затем заговорщицки подмигнет Цезарю и шумно высморкается. — Ну так что? Помните частушки-то?».

«Да помню, отчего же нет?».

«Вот и славненько, что помните, — загрустит вдруг Осколкин, — и что же, точку думаете ставить? А у меня про этот вечер во сколько еще вопросов, — разметнет он руки. — А самый главный, знаете какой? Думаете, про частушки? Да я про них уже запомнил, а вот как закончили этот вечер? В ванной, кажется, и не один! Славненько было, а?».

Если бы в этот миг мы заглянули Осколкину в глаза, то наверняка бы увидели в них незнакомое нам выражение. Какое? В том-то и дело, что когда говорим о выражении человеческих глаз, слова мало что могут выразить, приходится полагаться на читательскую фантазию.

«Думаете, Цезарь Семенович, в высшем органе камни сидят? Да я, может, во всей этой истории на вашей стороне, я бы,

может, сам так поступил, а может, конечно, и подумал», — снова, как давеча, подморгнул он Цезарю.

Из-за того, что был пьян, Цезарь никак не мог восстановить события в последовательности. И уж совсем не понимал, как все дошло до Осколкина.

«Как дошло? Да я там сам был! Вы Марьюшку в ванной обрабатывали, а я Дарьюшку в уборной», — весело рассмеялся Николай Николаевич, и скулки снова залились краской.

Теперь перед ним был уже не тот Осколкин, который разводил канитель с пунктиками УК и прочей дребеденью. А какой, на этот вопрос у меня опять же нет ответа! Может, в моей хронике это самый сложный характер. Еще такие вещи обнаружатся, что воскликнете: «Да полноте, кто же поверит, чтобы такое в Большом доме творилось!». И до этого тоже дойдем, а пока лишь наброски к портрету, не более.

— Морчик, приложите руку! — увидел Цезарь снова Заломова. Теперь с другой стороны и с каким-то листом в руках. Получалось, что Заломов двоился. Вначале лез целоваться, а теперь протягивал напечатанный на машинке лист и сверху заголовок «К людям доброй воли».

— Да я неграмотный, — пытался отшутиться Цезарь, поглядывая без особой надежды на дверь.

— Подписывайте! — испепелял его из-под рыжих бровей Заломов. — Или подпишете или... — угрожающе возвысил он голос и, дыхнув на него водкой, засмеялся, — ...или выпьем на брудершафт...

— Очень нужен ему твой брудершафт! — Цезарь обернулся, перед ним стояла Геся Соловей и, будто желая заморозить его своими цыганскими глазами, предлагала вместо Заломова для брудершафта себя. Цезарь снова налил водки — и себе и ей и пытался перекинуть свою руку через ее, каклагается при брудершафте, и даже коснулся ее губ, но она выскользнула и извлекла из сумочки два сложенных вчетверо листка.

— И ты Брут? — сказал Цезарь.

— И я Брут! — ответила Геся и втокнула листки ему в карман. Она бы с удовольствием выпила, но, к сожалению, спешит. Дела, братцы, дела! И вытянув губы трубочкой, чмокнула его в щеку. Пускай теперь всех развлекают Марья с Дарьей, гуд бай, господи!

Все дальнейшее — вовсе размылось, одни контуры событий,

а внутри контуров сплошь туман. Помнил он, что уединялся с близняшками в ванной — и с той и с другой, по очереди, но не специально, а просто вот так получалось.

Первой, будто, была Марья, эта сама его в ванну затащила. Сказала: срочно надо поговорить — ему бы спросить о чем!

— Вас как зовут? Цезарь? Батюшки, Аполлон! Слушайте, Аполлон, возьмите меня в Израиль! Честное благородное, не шучу! Вот так обрыдло, вот так! — стала она ребром ладони водить по горлу.

— Ну ясно, возьму... — обдумывал он как бы уйти в коридор. Он определенно хотел уйти, но спяну что-то сделал не так. Это все и испортило. Марья уставилась на него и совершенно не по делу воскликнула: «Господи, усы какие!».

— Послушай, дорогуша, — взял ее Цезарь за руки.

— Э-э, нет, — не поняла она его намерений, — когда возьмете в Израиль, тогда все и будет. Вы все уедете в свободный мир, а нам с Дашкой здесь коммуниздить?

Но главное случилось позже, поскольку с другой сестрой, Дарьей, тоже уединялся. По намеку Осколкина, с ней все и произошло. Но даже и не в этом было дело, а в том, что он перепил. И такое понес! Язык твой враг твой — это как раз про него в тот вечер. Можно даже сказать, что позже был уже не он. Он-то интеллигент, комильфо, а тот, в кого превратился, потерял человеческий облик. И все из-за того, что вовремя не ушел.

Отбившись от Марьи, он уже был рядом с парадной дверью — протянуть только руку и взять пальто, но тут и столкнулся с другой сестрой, вылитой копией первой. Так что даже подумал: опять она? я же от нее вырвался!

— Ага, это вы! — привязалась к нему эта вторая, — почему людям доброй воли письмо не подписал? Думаете, не видела? А Машку зачем в ванну тащили? Машка, где ты?

Цезарь сказал, что спешит, далеко живет, час на электричке.

— Люди, Машка! — перегородила она ему путь.

Тогда, взбешенный и пьяный, сквозь зубы и процедил: «Сгинь, ляг-ва, я — капитан КГБ, понятно?» — вот какая была шуточка! И снова пытался пробиться к пальто, но она, как оглашенная, вскричала: «Братцы, гэбешник! Гэбешник! Темную ему!». Подлетевший Голев стал ее успокаивать:

— Ты что, цыпленок, рехнулся? это же Цезарь, сосед мой.

— А, сосед, так бы и говорили... Так ты хороший? — пьяно улыбнулась Дарья и, взяв Цезаря под руку, повела обратно в комнаты

По дороге наткнулись на Заломова.

— Привет гэбешникам! — крикнул он. Примечательно, что Цезарь не стал и возражать:

— Ну да... гэбешник... я этого не отрицаю, — бормотал он, — я, может, даже люблю наши органы? А ты сионист и нехого-ший человек — вот кто ты. — Из ванны сквозь приоткрытую дверь донесся голос Касторского (где этот-то пропадал, притом весь вечер!) и затем нетрезвый голос Лолиты. Почему она-то с Габушкой? Она Цезарю что-то о нем говорила. Вот только где? Нет, это все-таки интересно. Цезарь бесшумно приоткрыл дверь. Лолита стояла перед зеркалом и подводила тушью ресницы, даже и не глядя на Касторского, а тот суетился вокруг, ерничал и что-то в своем духе приговаривал.

— Думаешь, уговаривать буду? За дурака считаешь? Ну так вот: или немедля говоришь «да» или деньги на бочку! Э-ге-ге, шуток не понимает. Да я, может, тебе еще миллион дам, вот продаж Долореску и дам! — Затем стал рукой что-то царапать на ее спине. — Чего сейчас нарисую, чего нарисую!

— Ой, щекотно! — хохотала Лолочка. — Заломов! Меня замуж зовут!

Цезарь прикрыл дверь: «Пге-да-тель-ница».

Касторский куда-то исчез, а Лолочка стала по всей квартире искать его.

— Послушайте, люди, Габушка где?

— А на что он тебе, жена? — попробовал перегородить ей дорогу Заломов.

— А ни на что, он, может, единственный здесь мужчина! Да я из всех вас, может, его одного люблю! И тебя, Гладиолус, и тебя!

Цезарь почувствовал жажду. Отправился попить на кухню и по дороге завернул в ванну. Лицо облить. Там и обнаружил Дарью, задремавшую и со сна принявшую его вообще за Голева.

— Послушай, ты кто — болгарин?

— Ну ясно, болгарин! — ответил он совершенно серьезно.

— А зачем к евреям писал? Почему не к болгарам? Ой, да это опять гэбешник! — стала она вглядываться в его лицо и, потеряв равновесие, повалилась на бак с бельем. Цезарь хотел ее поддержать, но повалился за ней, так что оба оказались на полу: он сверху, а она, раздавленная, под ним.

— Господи! чулки порвал, новые купишь! — стала она зачем-то снимать туфли и, путаясь в одежде, разделась.

С лестницы доносились голоса:

— Безобразие, спать не дают. Бардак! Сионисты проклятые! В милицию захотели или, может, в Израиль?

— Товарищи, мы очень извиняемся, — испуганно оправдывалась Берта.

— Антон, — вмешалась женщина, — да ты с кем говоришь, это разве люди? Гады!

— Слушай, Цезарь, врежь им! — сказала из темноты Дарья. «Действительно, безобразие», — подумал Цезарь. И, подняв с пола пиджак, отправился на лестницу.

«Врежь им, врежь!» — стоял в ушах Дарьян голос.

— Товагищи, одну минутку...

— А это еще что за Шолом Алейхем? — приблизилась к нему какая-то багровая личность, по-видимому, и являвшаяся Антоном. — Ты кто, вообще-то, будешь?

— Я? — улыбнулся Цезарь, — член коллегии...

— Кто?

— Сотрудник! — решительно шагнул на него Цезарь и вмял ему в физиономию лацкан пиджака. — Ясно кто?

— Так бы и говорил, — понимающе осклабился багровый. — Все в порядке, товарищи, тут спецзадание!

— Чё в порядке? Милицию надо звать!

— Сказал в порядке — значит, в порядке! — обдал бунтаря холодом Антон, и все разошлись.

Цезарь думал, что Осколкин вспомнит и это, но тот умолчал и снова стал нажимать на «сионистские частушки».

Были они уже в самом конце, когда вообще пошла белиберда. Берта села за рояль и сыграла сентиментальный вальс, видно, для того, чтобы порядочно все закруглить. Ей похлопали, она манерно всем поклонилась, и Голев также манерно поцеловал ей ручку.

Цезарь снова увидел Дарью, теперь на столе, у нее пополз чулок, она при всех сняла его, затем стянула другой. Потом позвала сестру. «Машка, стой рядом, ясно?» — приказала и пьяно, не своим голосом, понеслась:

Ой вы, девки, ой вы, бабы,

Уезжаю за кордон,

У меня миленок Ваня,

Он по матери Гордон.

Затем включилась Марья, эта почему-то тоненько, гримасничая, вскинув глаза к потолку:

**Не хочу я жить в Рязани,
Не хочу плясать кадрили,
Сделай, милый, обрезанье,
Мы поедem в Израиль.**

Эх д-д-д-дороги, пыль да туман, г-г-г-города, тревоги, д-д-да седой бурьян... — мощно затаил в дальнем углу Заломов и поманил к себе Цезаря. — Давай, Морчик, вдвоем. — Заломов тяжело дышал, из-под рубахи вылезали рыжие кусты. — Раз-два, начали: И-э-эх...

— Только этого не хватало! — усмехнулся Цезарь.

— Пой, говорю! — испепелял его Заломов. — Или сейчас же споем. Или, — возвысил он голос, — или я, блядь, зареву! — В рыжих глазах его стояли слезы. — Родину, блядь, жалко, — размазывал он слезы рукавом, — родину-уродину.

«Эх... дороги... пыль... да туман...»

Города... тревоги, — он хотел продолжить, но захлебнулся в слезах, и Марья с Дарьей теперь уже в два голоса перебили его:

«Евреи, евреи, кругом одни евреи!».

— Там еще был припев сионистского характера, — зудел Осколкин, — которым вы дурили голову этим провокаторам из Бенилюкса.

— Ясно! — засмеялся Цезарь, — нанайцы, нанайцы, кругом одни нанайцы!

— А ничего смешного, Цезарь Семенович! Я, знаете, не постеснялся и доложил обо всем лично товарищу Подгребному, он был страшно вами возмущен.

— А кто такой товарищ Подгребной? — поинтересовался Цезарь, и Осколкин, может быть, в первый раз с сочувствием взглянул на него.

— Товарищ Подгребной, да будет вам известно, это первый помощник Председателя КПК. А кто у нас Председатель КПК, надеюсь, не надо объяснять.

— Нет, не надо, — ответил Цезарь, вспомнивший среди портретов вождей седого, желчного аскета с крупными и будто застывшими глазами. Странно, что он никогда не обращал на него внимания.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

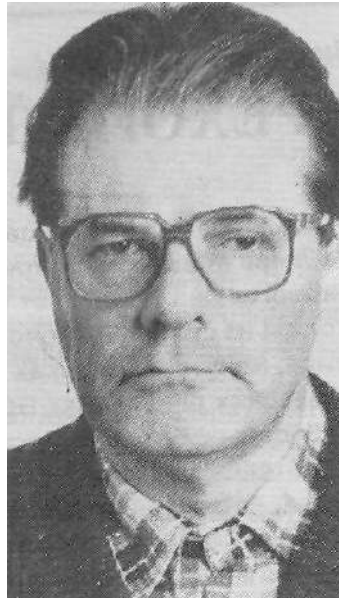
ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного, и вечно униженного из-за неустойчивости жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который окрашивает в темные краски всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обесмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закуулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу «проклятых вопросов» жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

Книга (352 страницы) выходит в ближайшее время. Цена по предварительным заказам 19 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

**"Time and We"
409 Highwood Avenue
Leonia, New Jersey 07605, USA**

ПОЭЗИЯ



Юрий АЙХЕНВАЛЬД

ВСЁ — В НИКУДА ИЗ НИОТКУДА**ПОБЕГ**

Всеобщий страх свободы.
Романтика тюрьмы.
Откуда эти моды?
И кто такие мы?

Отсюда наши песни:
С Таганки, с Красной Пресни,
Там вьется Черный ворон,
На крыльях Красный крест
Там выдаст Бог, а боров
Когда захочет — съест.

По шпалам, брат, по шпалам,
А то не устоим!
Тут горе запоздалым
И крышка остальным!

Скорей, в края забвенья
Всех горестей былых,
И сроков заключенья,
И песенок блатных.
Нам хуже там не будет.
Нам хуже было тут.
Там деловые люди:
Не купят — продадут!

По шпалам, брат, по шпалам!
Земля — словно луна.
Под нами темным шаром
Качается она.
По облакам, по звездам
Спеши, браток, спеши,
Пока еще не поздно
Во здравие души!

Откуда вы?

— Оттуда.
Пришли со всем своим.
А держимся не чудом:
На облаке стоим!

* * *

Поэзия должна быть смысловой, —
Не как с ружьем быть должен часовой,
А вот как с крыльями должна быть птица,
С когтями — львица,
Всадник — с головой.

* * *

Что останется от жизни?
Сломанный кабриолет?
Дверцы старые кареты
И в могиле — эполет?

А как лихо пушки били!
 Как мундир на нем сидел!
 А какие душки были,
 И как славно пунш горел!
 Неужели страсть и сила,
 Боль, и радость, и беда, —
 Все, как ветер, просквозило
 И пропало в никуда?
 И остался только этот
 Несказанно жалкий след —
 Пара старых пистолетов,
 Пара сгнивших эполет?
 Ну, а если сила наша
 Тем еще укреплена,
 Что Господь пиров и пашен,
 Созидатель дней вчерашних,
 Завтрашних или всегдашних
 Бережет и времена?
 И не сгнуло, осталось
 С той поры и на века
 То ли в шорохе деревьев,
 То ли в песне тростника,
 То ли где-то за пределом
 Нами мыслимых чудес
 Все, что к Богу отлетело, —
 Даже танец экосез?
 Вдруг оно одной душою
 Пусть не длится, а живет...
 Где и как?
 Для нас с тобою
 Свет погаснет.
 Бог спасет.

* * *

Все соткано из темноты,
 Из тишины,
 Из одночасья,
 Из тягостной мечты о счастье...

Из ничего растут цветы.
 А кажется, что из земли.
 Но в их подземную обитель
 Харон, известный долгожитель,
 Нас отвезет.
 И я, и ты
 Окажемся во тьме летейской,
 Где после суеты житейской
 Нам так не хватит суеты...
 Все — в темноту из темноты.
 Всё — в никуда из ниоткуда,
 А вовсе не из праха в прах.
 Звезда и птица в облаках
 Не явь, а явленное чудо.

О НАШЕМ ВОСКРЕСЕНИИ

Может ли прийти в себя покойник
 Огне- или звездопоклонник,
 Как пришел в себя наш Христос?
 Он вошел туда, в свое тело,
 Что-там исправил и сделал,
 И себя на небо унес.
 А у нас — беда: нет свободы,
 Нет свободы, только заботы
 То об этом, то о другом.
 А у нас победы, печали,
 А потом — как было вначале,
 А сейчас — как будет потом.
 В этом заколдованном круге
 Как бы ни забыть друг о друге,
 Крутится, летит карусель
 Прямоком отсюда — в могилу.
 Не в земле волшебная сила.
 И не в нас высокая цель.
 Но повсюду явлено чудо.
 Все пришло сюда — ниоткуда.
 Чёт и нечет — из ничего.

Солнце было — солнца не стало.
 Будет все
 Не так как бывало.
 Это
 Воскресило Его.

* * *

Жизнь одноразова,
 как презерватив.
 Не хватает разуму
 Этих перспектив.
 Выбросили на смех,
 на смерть —

И конец.
 Свел в могилу насморк,
 Спид или свинец.
 Но поверить в это —
 Как сойти с ума,
 Как поверить свету,
 Будто сам он — тьма.
 Впрочем, до сиянья
 Солнечной зимы
 Был наш свет зияньем
 Междузвездной тьмы.
 Шел за светлым светом
 Свет, который — мгла.
 Что за жизнью следом?
 Чем она была?

* * *

Стихи, в которых время анонимно,
 Где нет его реалий и страстей,
 Бывают часто родом онанизма
 И потому в почете у властей.
 Их уважают даже и поэты,
 Не замечая, что подобный стих
 Бесплоден, словно мертвая планета

И пуст, как ремиссировавший псих.
 Зато стихи, где названо и ясно
 Все то, что называть небезопасно,
 Хотя бы то достоинство имеют,
 Что на прямой, на лобовой строке
 Жизнь повисает, как на волоске,
 да, музы тут от ужаса немеют, —
 А все же помогают, как умеют!

* * *

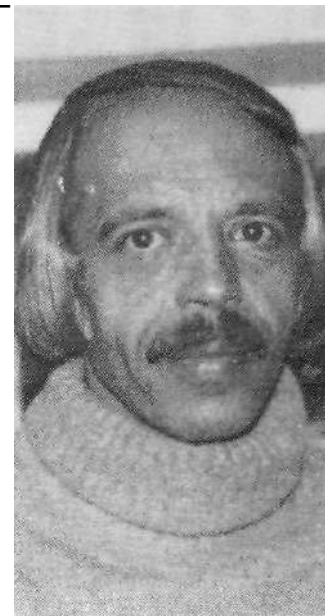
Метафоры многообразны
 Как молнии.
 И их разряд
 Уничтожает верный взгляд,
 И здравый смысл, и суть да дело, —
 Лежит бездыханное тело
 Какой-то твари прописной,
 А бедный Разум сам не свой.
 Ему известно: Бог был Словом.
 Но Слово стало не собой,
 А морем, небом и травой, —
 Метафорической основой
 Себя же самого.
 Оно
 Всегда недовоплощено.
 И потому пути познания
 Ведут в ничто и в никуда.
 Живая, мертвая вода —
 Не сказка, а иносказанье.

* * *

Что же получается?
 Жизнь идет вперед:
 Ложь не прекращается,
 Ненависть растет.
 На колхозном рынке
 Турки бьют грузин.

И помои в крынке —
 Сливки для разинь.
 В поднебесном кресле —
 Обер-прокурор,
 На почетном месте —
 Миша — мухомор.
 Мухи мрут от скуки.
 Лукоморья нет.
 Умывает руки,
 Как Пилат, поэт.
 В общем — все в порядке.
 В общем — все по чем.
 И играют в прятки
 Доллары с рублем...
 * * *

Сушит душу усталость
 И жизненный опыт.
 Все, что было, осталось.
 Чему же тут хлопать?
 Если ж это уйдет, —
 То останется плакать.
 Не такой я урод,
 Чтоб искать эту пакость,
 Эту дырку в ничто,
 Где ни дна, ни покрышки...
 Божьи искры мелькнут,
 Словно серые мышки,
 И останется жизнь —
 Как плевок на ладони.
 Божья милостыня
 Для бродяги в законе...
 Нет, уж лучше
 усталая страсть
 И привычка...
 А с эпохой связь —
 Без поимки с поличным.



Петр ВЕГИН

БЛЮЗЫ ДЛЯ БОГА

Господи, мя отверзи,
 но не отверзи ее —
 застывшую возле бездны,
 выряженную во вранье.

Хлеба ей дай, отверженной.
 Масла дай — для лампад
 обобранной до отверстий
 от боевых наград.

Горю ее нет мерки.
 Господи Мой, прости,
 Ты — дух,
 а тело — Америка
 могут еще спасти!

Господи, мя отверзи!
 Светлый Господи Мой,
 я за нее ответственую
 перед Тобой.

* * *

Место рожденья — место прощанья.
 Все. Тороплив поцелуй.
 Мертвым такое вот целованье.
 Все. И не взыскай.

Что было сладко, то стало липко.
 У гильотины не помнят парик...
 Только лицо распорола улыбка —
 как зашнурованный крик...

* * *

когда взлетает шар воздушный
 весь воздух кажется цветным
 и мальчик маме непослушный
 кричит: я тоже... полетим...

а я бывало возносился
 ни у кого не на виду
 так высоко что занозился
 однажды ночью о звезду

о воздух чистый и невзрачный
 как руки матери родной
 и тело данное впридачу
 душу — вне тяжести земной

лети! сам Бог тебе хозяин
 небесный пестрый акробат
 над проигравшим жизнь разявой
 над нищим над богатым над

штатом айова в котором
 я ни слезы не уронил
 над родиной моей просторной
 где сердце я похоронил

* * *

Осень в Айове пахла айвой,
 за домами застывшей волной
 шелестела листвою тишина
 и была мне оттуда видна

родина незабытая,
 рана наша открытая,
 сжавшаяся в комок,
 как ребенок в коляске,
 которая катится вниз,
 подпрыгивая по ступеням
 широкой лестницы...

УЛИЦА ДЮБЮК

...А орешки не простыв...

А.С.Пушкин

Это улица Дюбюк,
 где отбившийся от рук
 власти, женщины, фортуны,
 я живу — себе сам друг —
 выдал я веселый трюк,
 жизнь моя — одни кануны.

Если вырыть ровный люк
 здесь, на улице Дюбюк,
 можно вылезти в России.
 Поглядишь себя вокруг —
 ни телег и ни подпруг,
 кто свободен — все косые.

Хорошо в краю родном —
 пахнет сеном и говном,
 снятся гражданам колбасы.
 Ну а здесь, среди колбас,
 масок, ликов и гримас,
 часто люди из пластмассы.

Ой ты, улица Дюбюк,
на деревьях — белок юрк,
иней, сосны, шишки, шубки.
Я орешков им привез
не простые — все из слез.
Не сломайте, белки, зубки.

Накануне Рождества
в людях больше естества.
Сам себе творю причастье.
Две судьбы на семь ладов.
Ко всему живу готов —
даже к женщине и к счастью.

ПОСЛЕДНИЙ АВГУСТ

*Милая ты жизнь,
щедрая еще,
ты запомни вжим
в правое плечо...*

Марина Цветаева

Посреди вороненой,
до ряби исклеванной ложью России,
я погасну сейчас, как лампада под потолком,
и на шее ярмо
превратится в веревку на вые,
торопливо скользнет
пастернаковским старым шнурком.
Господи, протяни мне свободную руку,
на Твой палец накинута петля,
не надеясь на гвоздь,
подними меня выше —
над любимой рябиной, над журавлиною клюквой,
сбыться смерти позволь,
раз уж жизнь не сбылась на авось.
Над похлебкой, Парижем,
над мужем — лубянским валетом,

над распятою жизнью
на измятом в полоску листе...
Не взлететь никогда серафимам,
как русским поэтам,
закрутив кокон смерти на полдороге к звезде.
Яду я нахлебалась,

но поэты — противоядья.
Пчелы черные с красными пчелами дерутся за мед...
Обними меня, Господи, ранним объятьем,
никого не осталось, кто обоймет.
Я любила вас всех без утайки и безоглядно...
Жизнь глаза опустила... стекленеет зрачок...
Кокон смерти бессмертен,
как и коконы шелкопряда...

Всё...

шнурок Пастернака...

а теперь начинайте наматывать шелк...

СЛОГАТЕЛИ, ХРАНИТЕЛИ...

Увы, слогатели стихов
незащищенной и слабее
ночных искателей стихов
в их чрезвычайной портупее.

Но колесо есть колесо,
как тормоза не принудительны...
Жизнь доказала налицо —
сильней искателей — хранители.

На чердаках и в сундуках,
пока страной чумные правила,
хранилось то, что на листьях
слогатели оставили.

Но говоря о временах
и низко кланяясь хранителям,
я прозой лязгаю в стихах
и говорю — «Да будем бдительны,

чтоб меж поэтом и читателем
опять не вклинились искатели!»

БАЛЛАДА, В КОТОРУЮ ТРУДНО ПОВЕРИТЬ

Евреи били антисемита.
Набравшись храбрости.

При всех.

Открыто.

Антисемита евреи били!
Их руки были страшней, чем бивни!

За все погромы за кишиневские,
за потрошенные кошелечки,
за анекдоты, за все, что было,
за все, что будет, — евреи били!

Их было семеро. И он кричал,
ладони выставив, как щиты,
и изо рта его, как кляп, торчал
крик окровавленный — «Жиды!..»

И было жутко, когда седой
старик трясущийся со всего маху
бил его в морду одной рукой
и закрывал глаза другой от страха...

Евреи били. И он кричал...
И в искаженных еврейских лицах
и Анну Франк я различал,
и Мейерхольда, и Багрицкого...

Евреи били. Они усвоили
урок лупцовки — урок истории...

Кого лупили?

Не знаю точно —

быть может, Гитлера,

Быть может, Кочетова...

Григорий МАРК

ЗАВОЕВАТЕЛИ

ПРИТЧА О ВСЕЛЕНСКОМ СОБОРЕ

Фундамент Собора заложен был
Давно, до начала истории,
Когда еще люди не думали,
Что строят Вселенский Собор.

У древних, наверное, не было
Единого плана строительства,
Единственного Архитектора,
Но был у них — общий язык.

Тогда им казалось: возводится
Собор для всего человечества
С фундаментом, прочно закопанным,
И крышей, растущей вверх.

Собор для людей был Вселенною,
Бесчисленные поколения
Рождались на свет, умирали в нем,
И в смерти с Собором росли.

Еще и сейчас попадают
Пещеры, где тысячелетия
Священный обряд Вознесения
Секретно справляли жрецы.

Забыт ритуал этих праздников,
Рисунки на стенках истерлись,
И даже то место утеряно,
Где была Святая Святых.

Теперь языки перемешаны,
И самый процесс созидания
Остался лишь частью традиции
Как нудный Сизифовый труд.

Забыта уже цель строительства.
Собор, где мы жизнь свою прожили,
Растет с удивительной скоростью,
Все больше мертвея внутри.

Верховные наши начальники
Тюрьму в прдземелье устроили,
И слышно теперь все отчетливей,
Как где-то внизу, в глубине,

Озлобленные заключенные
Испытывают круглосуточно
Невиданной силы оружие.
И гулко трясется Собор.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРЕХСТИШИЯ

Сущность имени это звучание.
Сущность вещи — в звучаньи названия.
В самом имени — скрытое знание.

Существительно имя звучащее,
В основании фразы лежащее
Существительное подлежащее.

А сказуемый смысл движения
Отглаголен степенным скольжением
Вдоль к придаточному предложению,

Где склоняются неукоснительно
Окончанья имен существительных
Падежами. Все чаще винительным.

Вместе с ними в смиренном склонении
Дожидаются произнесения
Наши личные местоимения.

Перезревшими черными почками
Набухают в словах многоточия,
Запятые, кавычки и прочие...

Ритмизованные пунктуацией,
Части речи простерлись в прострации,
В ожидании реанимации,

Оживления чьим-то дыханием...

ЗАЧАТИЕ ЖИЗНИ

Тяжелые, нежные ноги
В чулках поросычьего цвета
И желтых сверкающих туфлях

Вздымаются в серое небо:
Витые гигантские свечи,
Зажженные в праздник Закланья.

Внизу два измученных тела
Привычно взрываются счастьем,
Все глубже впиваясь друг в друга.
И мертворожденные фразы
Слюною стекают на землю,
И длится зачатие жизни...

* * *

Не то кириллица
Не то глаголица
Из горла выльется,
Стихами взмолятся,

И вся нелепица
И вся невнятица
К стихам прилепится,
В глазницы скатится.

Бренчу копейками,
Земля качается,
А вены змейками
К вискам сползаются.

И кровь стучит сильнее
Морзянкой рваную,
И бьется, бьется в ней
Твое Послание...

ЗАВОЕВАТЕЛИ

Стократно повторенным телом,
Обернутым серую тканью,

Шагают, прижавшись друг к другу
Косою безглазой шеренгой.

брусчатка поет под ногами,
Срастаются наглухо плечи:
Стоглавая гидра, качаясь,
Шевелится между домами.

Дома зарываются в землю,
Из стен водосточные трубы
Ползут, извиваясь от страха,
И падают птицы с карнизов.

Шпиль церкви покорно согнулся,
И лик чудотворной иконы
Кровавыми вспыхнул слезами,
Но это никто не увидел.

Изъедены камни брусчатки
дождем ядовитого пота,
В лучах заходящего солнца
Сквозь город проходит колонна.

Верблюжьи угрюмые лица
Закинуты в твердое небо,
И хищные ноздри синхронно
Дрожат над квадратными ртами.

Тяжелым заученным криком
Дорогу себе расчищая,
Уходит на Запад колонна,
Заглатывая пешеходов.

«Новый мировой порядок» — что это такое? Что имеет в виду, часто употребляя это словосочетание, президент США Джордж Буш? Одну из возможных конкретизаций этого понятия предлагает старший научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре д-р. Корал Белл. Его статья "Why Russia Should Join NATO: From Containment to Concert", напечатанная в американском (вашингтонском) журнале *The National Interest* (№22, зима 1990/91), является, на наш взгляд, весьма типичным образцом тех поисков новых решений, которыми занято сейчас западное стратегическое мышление в связи с резким ослаблением мирового коммунизма и окончанием «холодной войны». Предлагаем вниманию читателей изложение основных идей статьи Корала Белла.

Корал БЕЛЛ

К НОВОМУ МИРОВОМУ ПОРЯДКУ: СССР И НАТО — «БРАТЬЯ НАВЕК»

1

Согласно Беллу, новый мировой порядок, как птица Феникс из пепла, уже начинает появляться из руин и пожаров Кувейтской войны. Она закончилась сокрушительной победой антииракской коалиции, возглавляемой Америкой. Зарождающаяся эпоха предлагает дипломатические и политические возможности, непредставимые в эпоху «холодной войны».

Как известно, главной концепцией западной стратегии противостояния коммунизму было так называемое «сдерживание», — термин, изобретенный Дж. Кеннаном еще в 1946 году. Стратегия эта предназначалась не столько для размягчения или тем более слома советской мощи (в это мало кто верил), сколько для сохранения более или менее постоянного мирового статус-кво. И на этой основе, избегая угрозы тотального ядерного конфликта, Запад имел возможность противостоять советской агрессии по всему миру, сдерживать экспорт коммунистичес-

Заголовок редакции.

кой «революции». Такая стратегия не раз подвергалась резкой критике как справа, так и слева. Одни считали ее недостаточно решительной, слишком беззубой; другие вообще считали ее катастрофой и отказывались принять. Но теперь, в обратной исторической перспективе, стало ясно, что «сдерживание» было не только необходимым, но и успешным «мероприятием».

2

Результатом сдерживания, продолжает Белл, оказалось реальное сворачивание советской мощи, уход Советов из Германии и Восточной Европы, падение политического и стратегического влияния Москвы в Третьем мире. Похоже, что советская империя, являвшаяся «распухшей» версией дореволюционной Российской империи и державшаяся идеологическим террором, повторяет судьбу других европейских империй — британской, французской, голландской, бельгийской. Она уходит с исторической сцены, но значительно более быстрыми темпами. Есть и другое важное отличие в случае с СССР: здесь не только окраины, но и сам имперский центр и метрополия — собственно Россия — стремится выйти из игры и положить конец своему имперскому прошлому. В этом смысле единственным историческим прецедентом является распад Португальской империи, начавшийся в 1974 году. Революция в Португалии привела к власти новую антиимперскую «левую» элиту, которая поторопилась как можно скорее избавиться от колониального бремени, душившего страну. В СССР крушение цементировавшей имперской марксистско-ленинской идеологии обещает антиимперский процесс, похожий на португальский вариант.

Постепенно вырисовывается новый мировой баланс сил. В нем одним из важнейших стратегических центров может снова стать Россия, заменяя бывший СССР. Россия останется крупнейшим по территории, населению, природным ресурсам европейским государством, старым и опытным — начиная с 16 века — участником европейской политики. И эта традиция не совсем погасла за 70 с лишним советских лет. Кроме того, даже

в случае успеха переговоров по разоружению, в России еще останется как минимум 6 тысяч ядерных боеголовок стратегического назначения, огромный военно-морской флот, многие другие внушительные аксессуары былой супердержавы. Но одновременно Россия еще надолго останется экономически дезорганизованным, нуждающимся в иностранной помощи, разоренным государством. И это обстоятельство, конечно, осложняет и запутывает международную расстановку сил.

Белл старается внести некоторую ясность в эту расстановку. Для этого он выделяет шесть основных стратегических регионов мира — США, Европу, СССР, Японию, Индию и Китай. А затем располагает их по нисходящей в зависимости от стратегической и экономической мощи. Получаются две иерархии. Первая стратегическая: США, Россия, Европейское сообщество, Китай, Индия, Япония. Вторая — экономическая: Европейское сообщество (экономическая мощь которого через три-пять лет превысит американскую как минимум на 30 процентов), США, Япония, Китай, Индия и Советский Союз.

Как видим, эти иерархии друг с другом не совпадают. Причем в первой из них Белл предсказывает уменьшение американского дипломатического и политического влияния в мире, более равномерное его распределение — в силу сдвига от двухполюсного стратегического спектра (США — СССР) — к шестиполюсному. Напротив, в экономической иерархии начнут, по-видимому, создаваться двухполюсные экономические «силовые поля» — от Европейского сообщества, реализующего в будущем нечто вроде собственного «плана Маршалла» в отношении Восточной Европы и Советского Союза, до Японии, осуществляющей аналогичное экономическое «вливание», скажем, в Китай. Что касается Соединенных Штатов, то их экономическое внимание может оказаться сфокусированным на длительный период на нефтедобывающем Ближнем Востоке, что выглядит особенно реальным в свете только что окончившейся ближневосточной войны.

3

Однако Белл считает, что военный баланс сил в наше время изменился значительно в меньшей степени, чем стратегичес-

кий баланс. Обычно в истории бывало наоборот: стратегический баланс являлся следствием военного, добавляя к нему другие необходимые, но менее очевидные факторы влияния — экономические, политические, этнические, идеологические, дипломатические. Именно в сфере этих «других факторов» произошли за последнее время наиболее благоприятные для Запада сдвиги. В то время как в сфере чисто военной, как утверждают многие специалисты, сдвиг произошел скорее в пользу Москвы. И это потому, что только сейчас, через 10-15 лет, стали давать плоды старые, еще при Брежневе «заложенные» военные программы, что диктует необходимость особой осторожности в любых переговорах о разоружении с Москвой.

Перемены в Европе оказались настолько неожиданными, быстрыми и драматичными, они настолько приковали к себе внимание, что проблемы Третьего мира как-то сами собой отошли на задний план. А ведь именно здесь, в Третьем мире, произошли все «горячие» войны периода «холодной войны». А также первая война после окончания этого периода. И здесь же — с началом заката советской империи — произошла крупнейшая после падения западных колониальных империй «перестановка сил». С соответствующим уменьшением напряжения между двумя сверхдержавами. И снижением для них обеих стимулов рекрутировать и содержать местных стратегических «клиентов», вроде Кастро или Саддама Хусейна. Это, естественно, не вызывает у последних особого восторга и рождает ностальгию по золотым временам «холодной войны».

Война в Персидском заливе, говорит Белл, возродила надежду на новый консенсус главных мировых держав, что похоже на ситуацию в 1945 году, перед созданием ООН. Совет безопасности ООН и был создан как орган и воплощение этого консенсуса. Другое дело, что ему не удалось осуществить эту функцию. Слишком велики были расхождения между целями международной политики коммунистических и некоммунистических держав, имевших право вето в любом решении Совета безопасности. Нынешняя война с Ираком оказалась удобным поводом для определенного устранения этих расхождений под эгидой ООН. Но эта же эгида может оказаться неэффектив-

ной в будущих конфликтах. Как, например, это уже было доказано во времена Корейской войны. Или в арабо-израильском конфликте. И поэтому необходимо искать какой-то другой, более подходящий для этих целей международный орган. И он уже не только давно существует, но и ищет возможности для «переоценки ценностей», для переформулировки своих традиционных политических целей. Этот орган — Северо-атлантическая организация, объединяющая страны Западной Европы, США и Канаду, и известная во всем мире под аббревиатурой НАТО.

4

С 1949 по 1989 НАТО обеспечивала двусторонний стратегический статус-кво и определенно добилась в этом успеха. Ибо «выиграла войну» без единой битвы, выстояв и сохранив организационную структуру. В то время как ее противник — Варшавский пакт — развалился и перестал существовать. НАТО доказала свою жизнестойкость также и в условиях, когда отдельным ее членам — США, Великобритании, Франции, Турции — приходилось вести локальные войны в Корее и во Вьетнаме, в Суэцком канале и на Фолклендских островах.

Вообще говоря, НАТО никогда не была приспособлена для вмешательства во внеевропейские конфликты. Все в этой организации было предназначено для сохранения двустороннего силового баланса на европейском континенте. Но сейчас, когда двусторонняя стратегическая структура рушится, для НАТО открывается другая, поистине международная, глобальная роль. И не столько в сохранении нового многостороннего баланса сил, сколько в установлении взаимопонимания.

А это не одно и то же. Баланс сил зависит от безличных исторических факторов — таких, как экономическое развитие, демографическая ситуация, уровень технологии, геополитика, идеология и т.д. Именно эти факторы играли главную роль в переходе от первоначального силового баланса в 1949 году к многостороннему балансу 89-го. Напротив, консенсус сил требует большего, чем одни эти факторы. Он предполагает спо-

собность политиков и стратегов к принятию творческих, иногда радикальных решений, требует от них смелости воображения. В этом смысле очень характерна опять же Иракская война как катализатор новой международной политики. Она потребовала ряда нетривиальных решений от главных действующих лиц, смещающих центр тяжести в силовом балансе на международной арене, как, например, решение президента Буша пригласить традиционного союзника и военного поставщика Ирака — Москву — в международную антииракскую коалицию. Это решение как раз и исходило из новых реалий. Оно было направлено в сторону будущего взаимопонимания между решающими силовыми центрами. А принятие Москвой этого предложения показало, что и там признают конец старого стратегического баланса. Вызывает сомнение лишь пригодность рамок и «языка» ООН для выражения этих новых реалий.

Пойдя на союз с Вашингтоном против иракской оккупации Кувейта, Москва разочаровала теперь и своих ближневосточных «клиентов» (Саддама, палестинцев), как ранее были разочарованы ее «предательством» Ангола, Вьетнам и Никарагуа. Хотя до сих пор трудно сказать, насколько искренне было заявление специального ближневосточного посла Москвы Евг. Примакова о кризисе в Персидском заливе как якобы «лаборатории» нового сотрудничества между США и СССР. Ведь в конечном счете Москва все же попыталась в самый решительный момент, с помощью того же Саддама Хуссейна, своей «мирной инициативой» украсть военную победу у антииракской коалиции и превратить ее в свой политический триумф. Бушу с большим трудом удалось предотвратить этот московский удар ниже пояса.

Что касается американского отхода от прежней политической линии на Ближнем Востоке, то в данном случае он был поистине впечатляющ. Ведь на протяжении последних двух-трех десятилетий американская администрация стремилась прямо к противоположному — к вытеснению Москвы из этого региона. И не только из соображений собственного национального интереса или как жест в сторону Израиля, но и в

сознании еще большей, чем для себя, экономической важности этого нефтеносного района для Японии и европейских союзников. Однако сейчас, в свете ослабления и видимого распада советской евразийской империи, появляется возможность, что какие-либо местные, скажем, азербайджанские «царьки» подменят Москву в своем влиянии по крайней мере на близлежащие к СССР районы Ближнего Востока. И их действия могут оказаться совершенно непредсказуемыми. Ясно, что в такой ситуации наиболее полезным союзником Запада была бы та же Москва.

Да и вообще, для Западной Европы всегда было намного важнее подвязать Соединенные Штаты к защите Европы через реальный военно-дипломатический союз НАТО, чем полагаться на абстрактно-неопределенную процедуру ООН. Особенно после принятия в НАТО Германии (в 1954-55 гг.) американское присутствие в Европе стало ощущаться как необходимая гиря, уравнивающая уже не только настоящую советскую угрозу, но и потенциальную германскую мощь. Лишь с течением времени опасения насчет Германии стали развеиваться, и НАТО стала превращаться в однородный монолитный орган европейской безопасности. В нем, с одной стороны, обеспечивается защита каждому члену перед лицом внешней угрозы. А с другой — исключается возможность военного решения любого внутреннего конфликта между объединенными в этом союзе странами. И это вопреки даже исторической традиции — перманентной вражде между членами НАТО, например, между Грецией и Турцией.

5

И все же, новые задачи, встающие сейчас перед НАТО, как отмечает Белл, перерастают ее прежние границы. И в то же время могут предоставить для деятельности этой организации невиданный прежде размах. Будущее НАТО зависит от ее способности сделать простой, но крайне важный и по видимости радикальный шаг: предложить членство в этой организации России и другим членам бывшего Варшавского пакта. По аналогии с Турцией и

Грецией можно предположить, что, в случае единого членства в НАТО, может быть ослаблено и со временем сведено на нет не только имеющее глубокие исторические корни недоверие между Польшей и Германией, но и между Германией и Россией. Ведь сумели же, например, французы с немцами, столь часто в истории оказывавшиеся по разные стороны баррикад, прийти к осознанию ценности общих интересов и стабильности, обеспеченных общим оборонительным союзом. Почему бы и восточным европейцам не встать наконец на этот путь? Стратегическая стабильность, достигнутая таким включением в НАТО традиционно нестабильных районов Европы, явилась бы достаточной компенсацией тем старым западно-европейским членам организации, которые являются также членами Общеввропейского рынка и опасаются экономической дестабилизации из-за расширения границ европейской безопасности. Эта дестабилизация, если и случится, скорее всего будет мягкой и непродолжительной, подобно тому, как всего лишь через 8-10 лет после образования военно-политического союза НАТО, стратегическая ситуация в Западной Европе настолько улучшилась, что позволила создать и экономический союз. Нечто подобное может произойти и в НАТО, расширившем свои границы на Восток до Урала и Тихого океана.

Белл далее напоминает, что идея такого расширения отнюдь не нова. В 50-х гг. сталинский министр иностранных дел Молотов несколько раз выдвигал эту идею. Естественно, западные правительства не принимали ее всерьез, поскольку она исходила от страны, являвшейся в то время главным дестабилизирующим фактором на международной арене. Более того, НАТО всегда показывала, что она готова к ответу на советский вызов, в том числе и военными средствами, включая применение ядерного оружия.

Однако к 90-м гг. положение в мире кардинально изменилось. Все 6 главных силовых центров на планете сейчас не являются более угрозой мировой стабильности. Ибо слишком многое им всем и по отдельности, в случае вооруженного конфликта, придется потерять. Угроза миру сейчас исходит не от

«избранного» круга самых мощных держав, а от периферийных режимов, одержимых непомерными амбициями и жесткими идеологическими догмами, для реализации которых лидеры этих режимов готовы жертвовать многим и многое потерять. Вроде пол потов, айятолл, ким ир сенов и саддамов хуссейнов. Какова же будет роль расширенной НАТО, включающей в себя Россию, Германию, США, в этом новом мире? Каково будет в ней распределение стратегических и политических ролей?

6

В России элита военно-промышленного комплекса переживает тяжелые времена. Потерян важнейший, с точки зрения советских генералов, передовой оборонительный «бруствер» — восточно-европейские сателлиты. А с ними — вся командно-контрольная структура Варшавского пакта. На очереди следующий удар — вывод советских войск из Германии. А затем и вообще «нокаут» — огромное сокращение обычного вооружения, согласно Европейскому соглашению о таком сокращении. Советская сторона должна сократить по этому соглашению несравненно большее количество вооружений, чем ее западный партнер, — например, 30 тыс. советских танков против 5 тыс. НАТОвских. Распространяются слухи и о возможном возврате Японии двух, а может быть, и всех четырех островов Курильской гряды, захваченной Советским Союзом после Второй мировой войны. А это значит демонтаж на этих островах радаров ПВО, интегрированных в общую оборонительную систему Охотского моря. С ослаблением этого фактора оказывается уязвимой вся система советских баллистических ядерных ракет в этом важнейшем стратегическом районе. И, наконец, переговоры СТАРТ приближаются к соглашению о резком взаимном сокращении стратегических «сил сдерживания» во многих других регионах. Все это мало радует верховное командование советских вооруженных сил.

Возможно, еще большее разочарование ожидает советскую военную верхушку внутри страны, где она привыкла за годы «холодной войны» потреблять до 24% советского валового

национального продукта. Но если рыночные экономические реформы в СССР все же когда-нибудь начнутся, это означает неминуемое сокращение военных расходов до пяти и даже менее процентов. А это потянет за собой так называемую конверсию, когда предприятия, производившие, скажем, танки, станут производить холодильники. Уже сейчас периферийные районы Советского Союза, то бишь союзные республики, недодают армии большое количество призывников. Существует реальная перспектива потери центрального контроля над этими районами, что заставляет Москву передислоцировать ядерное оружие в Россию, в центральные районы страны. Но и Россия может остаться без своих традиционных «буферных зон» — Украины и Белоруссии, — в которых сепаратистские тенденции тоже достаточно сильны.

В свете всех этих огромных стратегических потерь недовольство и брожение среди советских генералов не кажутся удивительными. Многие в советском офицерском корпусе чувствуют большую угрозу своей военной карьере в обстановке, создавшейся в Советском Союзе после 1985 года. И хотя Россия не имеет традиции военных переворотов, это не помешало советскому военному командованию в начале 60-х годов сыграть немаловажную роль в смещении тогдашнего генсека и главы государства Хрущева. Произошло это тогда, когда тот «наступил» на интересы генералитета и стал настаивать на невыгодных, с точки зрения этого генералитета, структурных изменениях в советской армии. И это во времена, когда экономическое положение Советского Союза было куда как лучше нынешнего.

Вот почему теперешние советские правители — возьмем мы Горбачева или Ельцина, — если они и дальше будут продолжать линию на установление взаимопонимания с Западом, особые требования предъявят именно в области стратегической безопасности страны. Они потребуют гарантий этой безопасности. Такой гарантией со стороны Запада может быть только предложение Советскому Союзу членства в НАТО. И здесь недостаточно будет простой декларации о том, что Запад больше не видит в СССР противника. Лишь

предложение полного членства в западном оборонительном альянсе может явиться полновесным козырем, выбивающим карты из рук военно-промышленного комплекса, желающего сохранить свои привилегии и ради этого готового и дальше шантажировать «происками империализма» экономически разоренную, измученную страну.

7

Существует и другой важный аспект, благодаря которому НАТО представляется советскому военному и политическому руководству организацией куда более респектабельной, чем, скажем, Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе или даже ООН. Ибо по собственному многолетнему опыту участия в этих организациях Советский Союз убедился, что они вряд ли способны обеспечить даже сотрудничество, не говоря уж о реальной безопасности своих членов. Реформировать же в нужном направлении хоть ту же ООН представляется мало вероятным.

Другое дело — НАТО, которая воспринимается в Третьем мире и Советском Союзе как своеобразный элитарный «клуб» высокоразвитых западных держав. На протяжении многих лет НАТО символизировала единственную реальную угрозу для Советского Союза. И сейчас вступление в члены НАТО поистине пролило бы целительный бальзам на «раны» советского истеблишмента, так много лишившегося за последнее время. Особенно это касается Министерства обороны и КГБ — весьма возможных преемников нынешнего советского руководства. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, Запад должен пойти на некоторые жертвы. Лучше предоставить советской военной и разведывательной элите перспективу, так сказать, «красивой жизни» в Брюсселе, чем загнать ее в угол внутренних экономических, межнациональных и прочих проблем, где она — конечно, не от хорошей жизни — будет вынуждена принять на себя несвойственную и пагубную для страны роль «спасителя отечества» и «сильной руки».

А конкретной материальной наградой за вступление советских товарищей в НАТО был бы доступ к тому «запретному

плоду» разведывательной и военной информации, за которой так отчаянно гонялся КГБ в течение 40 лет. Доступ по принципу «баш на баш», разумеется...

Кроме того, принятие России в НАТО открыло бы дверь в эту организацию и восточноевропейским странам. Ведь они тоже нуждаются в «защитном одеяле», особенно те из них, которые, как Югославия, стоят на грани этнического расчленения.

Что касается американского присутствия в Европе, то если НАТО останется в старых границах, присутствие это будет поставлено под большое сомнение. И прежде всего в виду свойственного американцам и глубоко укорененного в американском характере изоляционизма. Он уже зримо начал проявляться после того, как США решили, что они выиграли «холодную войну». В конце концов, Америка вошла в опустошенную войной Западную Европу в 1946 году лишь потому, что некому было взять на себя бремя противостояния советской угрозе. Сейчас, спустя 40 с лишним лет, ситуация на европейском материке резко изменилась. Советский Союз потерял свой идеологический и политический динамизм. Западная Европа его приобрела. Советский Союз — накануне возможного территориального распада и в состоянии глубокого экономического кризиса. Западная Европа — в экономическом расцвете и движется к политическому и экономическому единству. Конечно, СССР сохранил свой стратегический ядерный потенциал, но практическое использование его чревато опустошительным ответным ударом. И даже не со стороны Америки, а прежде всего со стороны достаточно сильных европейских ядерных держав — Англии и Франции. В этих условиях западноевропейский союз кажется вполне достаточным силовым противовесом большому коммунистическому гиганту на Востоке. Что еще больше усиливает позиции американских изоляционистов, уже сейчас во всеулышание заявляющих (например, Патрик Бьюкенен), что Америка выполнила свои европейские обязательства, прежде всего военные, и американским «джи-ай» пора возвращаться домой. И если это действительно произойдет, то НАТО скорее всего останется без лидера. Ибо новый

естественный лидер — объединенная Германия как самое сильное государство Европы — не был бы приемлем для европейцев, которые до сих пор сохранили в своей коллективной памяти малоприятные отголоски прошлого о роли немцев во Второй мировой войне.

С другой стороны, если Западная Европа восполнит уход Америки за счет восточноевропейских государств бывшего Варшавского блока, то именно «великая Россия» постарается заполнить вакуум лидерства в «осиротевшей» НАТО. Такая, вряд ли приемлемая для Запада, перспектива как раз способна подорвать позиции американского изоляционизма и предотвратить американское дезертирство. И уравновесить российское вторжение в западноевропейский плацдарм. Таким образом, Америка останется решающим элементом мирового стратегического баланса, что очень важно в нынешний период переоценки ценностей и связанной с этим нестабильности.

И еще один призрак исторического прошлого встает на горизонте — Рапалльский договор 1922 года, установивший особые отношения между побежденной в мировой войне и жаждавшей реванша Германией и разоренной Гражданской войной революционной Россией. Как тогда, так и сейчас Германия сильно нуждается в улучшении своего стратегического положения; России отчаянно требуется экономическая и финансовая помощь; восточноевропейские страны пребывают в состоянии глубокого шока и неопределенности.

Таковы сходства двух эпох, но есть и одно существенное различие. В наше время, по сравнению с 20-ми годами, Запад неизмеримо сильнее и увереннее в себе. Запад способен эффективно сохранить это преимущество и использовать его для недопущения прихода к власти новых гитлеров на Западе и Сталиных на Востоке. Но для достижения этих целей и сохранения длительного мира, стабильности и порядка необходимо уже сейчас принятие нетривиальных политических и стратегических решений. О судьбе НАТО — прежде всего.

Против вышеизложенных соображений может быть выдвинут ряд возражений. Например, что страны Восточной Европы

слишком отличаются от североатлантических государств. Но разве намного больше отличаются, чем многолетние члены НАТО — Турция и Греция? Или, например, могут сказать, что слишком мало времени прошло по окончании холодной войны, чтобы включать в один союз недавних противников. Но разве не была «рекрутирована» в стан своих бывших противников Япония в 1951 году, всего через 6 лет после поражения даже не в холодной, а в самой что ни на есть «горячей» войне? Или в 1955, через 10 лет, — Германия?

Однако наиболее впечатляющая историческая параллель просматривается с 1815 годом. Тогда включение постнаполеоновской Франции в «священный союз» разгромившей ее Европы обеспечило стабильность на континенте практически (за исключением беспокойного периода 1855-70 гг.) на протяжении ста лет. Последовавшее благодаря этому ослабление напряженности между великими европейскими державами 19 века позволило им укрепить свое экономическое и политическое могущество и увеличить колониальную экспансию в страны, которые сейчас принято называть Третьим миром. Эта экспансия в наше время полностью дискредитировала себя. Как в Третьем мире, так и на Западе. И не только морально, но и экономически. Ибо давно уже ясно, что экономический прогресс и процветание отнюдь не обеспечиваются централизованным директивным контролем над территорией и ресурсами. Ни одна страна в мире не имела и не имеет таких обширных территорий и таких обильных хозяйственных ресурсов, как Российская империя, а затем Советский Союз. И такого централизованного контроля над этими территориями. Однако это отнюдь не спасло население, живущее на этих территориях, от существенного экономического отставания от стран Запада. А в советское время — от прямого и очевидного хозяйственного упадка.

Напротив, западные народы вступили в полосу невиданного экономического расцвета именно после потери заморских территорий. Взамен они обрели их нынешний политический и экономический союз. Отсюда, на основании исторического опыта, следует вывод, что никакие империи не обеспечивают

длительного и стабильного экономического процветания метрополий. Такое процветание отнюдь не зависит от территориальных размеров, доказательством чему могут служить новые экономические гиганты, расцветшие на малых территориях, — Гонконг, Сингапур, Тайвань.

Нарождающийся многосторонний стратегический баланс сильнейших мировых держав — с соответствующим ослаблением напряженности в отношениях между этими державами — положит, надо думать, конец имперской экспансии в Третий мир. И тамошней «охоте на клиентов», которой так рьяно занимались Советский Союз и Соединенные Штаты во времена «холодной войны». Занимались, не брезгуя практически никем и ничем — даже самыми экономически отсталыми, стратегически маловажными, политически нестабильными режимами. А режимы эти, в погоне за подачками в обмен за верность «большому брату», получали в сущности камень вместо хлеба. Ибо приобретаемое ими дорогостоящее вооружение или валютные займы Запада использовались крайне непродуктивно и лишь создавали мамонтообразные долги. В новой международной раскладке, пожалуй, даже нефть — основной и почти единственный продукт, поставляемый странами Третьего мира на международный рынок, — вряд ли составит предмет соперничества между основными центрами мировых сил. Что и подтвердил последний кризис в Персидском заливе, когда интересы всех шести крупнейших держав оказались, в сущности, одинаковыми. Все они были заинтересованы в сохранении бесперебойной поставки нефти из района, где сконцентрировано около 40% ее мировых запасов. И в том, чтобы остановить местного диктатора, рвущегося к единоличному контролю над этими запасами и, соответственно, к возможности диктовать мировые цены на нефть...

9

Новый мировой порядок может оказаться несовместимым и с таким детищем «холодной войны», как организация неприсоединившихся стран. «Неприсоединившихся» — значит не желавших примыкать ни к коммунистическому, ни к западно-

му полюсу конфронтации. Однако с падением этой конфронтации и образованием «шестистороннего» баланса сил появятся, надо полагать, противоположно направленные центростремительные тенденции. Ибо для «неприсоединившихся», как и вообще для стран Третьего мира, установление «особых отношений» с одной или несколькими из мировых силовых центров будет выглядеть весьма заманчиво — с точки зрения экономической и финансовой помощи, дипломатической и политической поддержки, а при случае, и прямого военного прикрытия. (Совсем свежие примеры — Саудовская Аравия и Кувейт.)

Всесторонняя идеологическая дискредитация советской модели ставит перед лидерами Третьего мира и другие проблемы. В частности, необходимость либо вернуться от идеологического ослепления коммунизмом к собственным историческим и национально-культурным традициям. Либо взять за образец западную модель. По-видимому, некоторые наиболее оголтелые советские сателлиты, вроде Кубы и Северной Кореи, уже неспособны на такой поворот. По крайней мере, до тех пор, пока не рухнут окончательно их нынешние режимы.

Однако другие, даже и Вьетнам, явно сохранили способность произвести подобную внутреннюю трансформацию. Особенно в перспективе будущего экономического выздоровления. А вместе с внутренней трансформацией этих режимов произойдет и трансформация их отношений с внешним миром. Что уже видно на примерах Анголы, Мозамбика, Намибии и, не исключена возможность, Камбоджи и Афганистана.

Вряд ли, конечно, все эти страны могут рассчитывать на немедленное «вливание» западных капиталов. Капиталы пойдут — как и полагается природе капитала — в те места, где ожидается наибольшая прибыль на вложенный капитал. В число этих мест пока не входят названные страны, далеко уступающие в этом смысле, скажем, Восточной Европе — из-за худшей инфраструктуры, меньше подготовленного в профессиональном отношении населения, более отсталой технологии, менее развитого потребительского рынка. Однако должны измениться отношения этих стран друг с другом — из-за возник-

шей необходимости решать региональные проблемы сообща, не полагаясь на «хозяина» в Вашингтоне или в Москве.

Одним словом, компенсацией за потерянное влияние на «сильных мира сего» (и соответствующие потери в дипломатической, политической и экономической сферах) может стать для этих стран освобождение от многих губительных идеологических иллюзий. То есть более трезвое и ответственное отношение с партнерами на международной арене, отказ от агрессии и экспансии против соседних стран.

10

По мнению Белла, есть все основания предполагать, что требуемое для реализации приведенного сценария согласие, или, как ныне говорят, консенсус основных держав отнюдь не является утопией, по крайней мере до конца нашего столетия. Во-первых, маловероятно, чтобы отношения между Западом и Россией опять откатились за столь короткий срок к состоянию напряженности, характерному для «холодной войны». Более того, парадокс (или ирония) победы Запада в этой войне в том и заключается, что благоприятный исход эволюции Советского Союза в направлении к рыночной экономике, политической демократии и постепенной ненасильственной передаче государственного суверенитета от центрального правительства в руки республиканских правительств — такая эволюция отвечает жизненным интересам самого Запада. Ибо только такой ход событий в Советском Союзе может обеспечить там надежный контроль над огромным ядерным арсеналом, способным трижды уничтожить весь мир. И гарантировать компетентное обслуживание ядерных электростанций, способное избежать второго Чернобыля. А также сохранить политические рычаги, достаточно сильные для проведения в жизнь — вопреки сопротивлению военной элиты — действительного сокращения вооруженных сил.

Создание благоприятных условий для такой эволюции в Советском Союзе стоит усилий и даже определенных жертв со стороны Запада. Как это уже было с Германией и Японией в 1945 году. И прежде всего адаптации стран бывшего во-

сточноевропейского коммунистического блока к западной системе коллективной безопасности.

Война в Персидском заливе позволила расставить также некоторые другие очень существенные точки над «i». Например, еще раз подчеркнула наибольшую из всех шести центров уязвимость Японии, ее зависимость от внешнего мира. Напротив, Западная Европа все больше проявляет себя не только как основная экономическая, но и стратегическая мощь. Однако до конца столетия, пока не решится вопрос о создании европейской хотя бы конфедерации (не говоря уж о федерации), вряд ли Европе удастся реализовать свое экономическое и стратегическое преимущество.

Два континентальных азиатских гиганта — Китай и Индия — тоже не имеют шансов в обозримом будущем играть в главной мировой «шестерке» решающую роль. Первый из-за своего политического руководства, до сих пор подавляющего процесс либерализации и тем самым обрекающего страну на идеологическую и политическую изоляцию. В то время как Индия, уже сейчас становящаяся главной силой бассейна Индийского океана, на этом, по-видимому, и остановится. Ибо, во-первых, она не идет ни в какое сравнение по своему экономическому или стратегическому значению с другими пятью членами «великолепной шестерки». А во-вторых, также, как и Советский Союз, имеет слишком много внутренних экономических, политических и национальных проблем.

Итак, говорит Белл, в обозримом будущем центральной стратегической зоной назначено быть Вашингтону. И в значительно большей степени, чем это было в эпоху «холодной войны». Тогда по всему миру Америка наталкивалась на своего неукротимого коммунистического соперника. Сейчас этого нет, что особенно ярко подчеркнула Кувейтская война.

И в заключение Корал Белл сравнивает складывающийся новый мировой альянс сил с расстановкой ролей в классической греческой трагедии, где главный герой-протагонист выражает себя многими голосами из-под многих масок. Таким «протагонистом» могла бы быть ООН, если бы не было постоянной угрозы, что простым большинством голосов в ней все-

гда будет доминировать Третий мир. Другой претендент, Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, настолько зиждется на всепоглощающем абстрактном принципе «гармонии интересов», что постоянно находится под угрозой полного паралича. Ибо даже самый малый участник этой организации, вроде Мальты, способен оттянуть принятие практически любого решения на многие месяцы...

По контрасту с обеими этими организациями НАТО — организация другого толка. Она всегда функционировала на принципе жестко рационального управления, пропорционально калибру и весу участвующих в ней сил. В НАТО никогда не недооценивали важность военной мощи. Вот почему именно НАТО должна предоставить основу для нового мирового порядка.

Свой анализ мирового стратегического баланса Корал Белл заканчивает метафорическим предсказанием американского госсекретаря Джеймса Бейкера относительно Кувейтской войны. Бейкер назвал последнюю «линией в песке пустыни, проведенной во времени». Она оказалась последней границей, отделяющей прошлое от будущего. И возможно, последним гвоздем, вбитым в гроб «холодной войны».

Перевел с английского и подготовил материал к печати Петр Болдырев



Лев НАВРОЗОВ

ГАЛЛЮЦИНИРУЮЩИЙ ЗАПАД

У каждого живого организма есть аппарат восприятия внешнего мира. Как есть он у каждого современного общества. Западный аппарат восприятия внешнего мира — это совокупность всех институтов и лиц, которые получают, анализируют и сообщают сведения о внешнем мире, имеющие стратегическую ценность. Вопрос: насколько адекватно это восприятие?

Начнем с примера, который удовлетворяет следующим условиям: событие имело место в прошлом, и теперь даже те, кто крепки лишь задним умом, видят, что произошло. Создание советского марионеточного режима в Афганистане закончилось 15 февраля 1989 года, когда последние регулярные части советских вооруженных сил ушли из этой страны. Два года спустя, во вторую годовщину ухода советских войск, 15 февраля 1991 года, когда пишутся эти строки, начинается интервенция регулярных войск Пакистана, население которого составляет свыше ста миллионов человек, в то время как население Афганистана едва достигает десяти миллионов. Но завоевание мусульманского Афганистана мусульманским Пакистаном

явится уже новой главой истории «воссоединения» около одного миллиарда мусульман. А советская военная операция закончилась 15 февраля 1989 года.

Теперь посмотрим, что сообщали вплоть до 15 февраля 1989 года все известные мне и моим читателям западные источники информации, включая статьи и обзоры Бэрри Фарбера. Бэрри Фарбер говорит и читает на 26 языках: немногие на Западе более осведомлены, чем он, о внешнем мире. Вот что он написал в своей колонке от 28 апреля 1989 года, то есть два месяца и две недели спустя после того, как последние регулярные советские войска покинули Афганистан:

«Помните, как в середине февраля мы доставали шампанское из холодильников, чтобы отпраздновать падение марионеточного режима в Афганистане? Это должно было произойти в течение двух суток. Только Лев говорил: «Никакого советского разгрома в Афганистане нет. Есть лишь советский обман противника. Кремль завершил строительство стального кольца укреплений вокруг главных городов, и теперь его марионеточному режиму моджахеды не страшны».

Посмотрите, какое сегодня число, а моджахеды так и не взяли даже Джалалабад, хотя, как отметил Лев, город находится на отшибе, а не в кольце укреплений».

В качестве примера западного источника я беру самую влиятельную газету, «Нью-Йорк Таймс», но с таким же успехом можно взять любой другой влиятельный западный источник: любую книгу, периодическое издание, телевизионную станцию, западное правительство, включая его разведку, министерства обороны и иностранных дел, западный университет или институт по изучению советской империи, Ближнего Востока или Афганистана как такового. Мы можем, наконец, взять любого западного обозревателя, аналитика, советолога, политолога, эксперта, журналиста, писателя, интеллектуала, общественно-го или политического деятеля. Все эти источники вплоть до 15 февраля 1989 года сообщали то же, что и газета «Нью-Йорк Таймс», а именно, что советская империя потерпела невиданное поражение в Афганистане, а ее марионеточный режим уже одна видимость, существующая лишь для того, чтобы дать возможность разгромленным советским войскам унести ноги.

За один лишь 1988 год и до 15 февраля 1989 года газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала на эту тему 442 материала.

Объем статьи не позволяет мне их даже перечислить. Поэтому я отобрал из этих 442 материалов наиболее авторитетные, важные и убедительные, с краткой цитатой из каждого материала. Вот как начинается мой список:

Передовая от 9 января 1988 г.: «Москва желает кончить эту зверскую и дорогостоящую войну, которая длится вот уже 8 лет и которую выиграть Москва никогда не сможет. Но, как американцы убедились во Вьетнаме, желание кончить игру конца ее не приближает».

Колонка обозревателя А. М. Розенталя от 15 января: «Афганское сопротивление ... пресекло в корне советскую попытку колонизировать Афганистан».

Отдел «Брифинг» от 27 января: «Как и Рональд Рейган, м-р Буш считает, что марионеточный режим рухнет, как только советские войска будут выведены из Афганистана».

Передовая от 11 февраля: «Судя по всему, Москва приняла болезненное решение проиграть войну».

Билл Келлер: «Советы обязуются вывести войска, что бы ни случилось». Москва, 17 марта. «Советские высокопоставленные лица заявляют, что они стремятся лишь избежать унижительного зрелища ухода агонии под ударами повстанцев. В качестве того, чего они желали бы избежать, эти лица иногда указывают на американский уход из Вьетнама, когда беглецы висели гроздьями на лестницах, спущенных с вертолетов».

Из-за недостатка места я вынужден остановиться в самом начале моего списка, но в таком же духе идут все 442 материала газеты об Афганистане.

Заметьте, что в 1988 году советская печать говорила то же самое. Попробуем разобраться, в чем же тут дело.

Ко мне пришли на обед приехавшие в Нью-Йорк представители советской интеллигенции, довольно известные и в 60-х годах, а ныне и тем паче. Я сказал им то же, что говорил по радио: успешное советское покорение Афганистана превосходит лучшие завоевания Гитлера, ибо демонстрирует то, чего больше всего не хватало Гитлеру: терпение, скрытность, длительный и последовательный обман. Строго говоря, «войны в Афганистане» не было, а было лишь строительство укреплений, охраняемое гарнизоном из ста тысяч советских войска, которые несли потери в количестве 2-3 человек в день в результате нападений и обстрелов партизан из гор. И было уничтожение всего и всех вне этих укреплений.

Мои гости были ошеломлены, и жена в прошлом литературного критика, а ныне публициста, сказала: «Лева, и это говоришь — ты?». Подтекст: в 60-х годах я был левейшим из левых и потому честнейшим из честных и даже умнейшим из умных, по ее мнению. А ныне? Да ведь сам «соловей генштаба» Проханов, правейший из правых, написал о советском поражении в Афганистане! А я? Вместо того чтобы обличать советский генштаб, военщину, КГБ и вообще всех правых как верх бездарности, я лью воду на мельницу сталинистов. Я правее, подлее, глупее правейшего Проханова!

Таким образом, Горбачев не заставлял советскую интеллигенцию говорить о невиданном советском поражении. Она сама это делала со страстью. А это и нужно было Горбачеву, который сам участвовал в этом хоре. Явление это можно назвать добровольной пропагандой. Интеллигенция создает сама, в своих собственных интересах, миф, необходимый диктатору, в данном случае миф, что Запад — кипучий, могучий, никем не победимый, а советская империя загнивает, разлагается, находится в кризисе, обречена, терпит поражение за поражением. Дело в том, что советская империя достигла такой глобальной мощи, что для нее теперь стратегически целесообразно «играть в слабость», что китайский стратег Сун Це и советовал в таких случаях еще веков двадцать пять назад.

МЫСЛИТЬ — УСТАРЕВШЕЕ ПОНЯТИЕ

Я не собираюсь цитировать свои колонки, статьи и выступления по радио об Афганистане с 1979 по 1988 год. Во-первых, нет места, а во-вторых, я бы походил на дочь чеховского автора письма из «Письма ученому соседу», у которой «так выходит, что все дураки, а она одна умная». Доказательство, что все дураки, а он один умный, интересно самому доказывающему, но не читателям. На самом деле, для того чтобы писать и говорить о «советской войне в Афганистане» то, что писал и говорил я, достаточно было лишь здравого смысла умственно среднего человека и его желания думать в этих пределах. Дело в том, что, как показывает пример с Афганистаном, чле-

ны западного политико-культурного истеблишмента не мыслят: они делают все, что угодно — ведут репортажи, пишут книги, считают на компьютерах, докладывают, выступают, — но только не думают. Мыслить — на Западе устаревшее понятие наподобие кустарного производства XIX века, а мысль — это вроде самодельного велосипеда, созданного в одиночку в гараже в эпоху авиалайнеров. Ныне огромные учреждения и предприятия производят всем доступные роскошные клише — с доставкой на дом. Кому же нужны свои, кустарные, доморощенные, любительские мысли?

Думать необходимо лишь о собственном здоровье, семье, богатстве и удовольствиях. Вот тут палец западному обывателю в рот не клади. Тут он мыслит — куда там мне! Тут у него ум, как бритва. А «советская война в Афганистане»? Тут нечего велосипед изобретать. Все ясно: «Невиданное советское поражение».

Посмотрим, как представлялась «советская война в Афганистане» умственно среднему человеку, желающему, однако, мыслить на эту тему, а не ездить на великолепных клише массового производства.

Прежде всего, он должен был задать себе вопрос: «А почему Кремль цепляется с таким упорством за Афганистан?». В самом деле, ведь и после ухода советских войск 15 февраля 1989 года советское вооружение доставлялось в Афганистан в тот же день и час, причем стоимость его в американских долларах составляла 300 миллионов в месяц!

Ответ не выходит за пределы мыслящего умственно среднего человека. В обмен на уход из стран Восточной Европы и финляндизацию их территорий Запад дает Кремлю доступ к своей науке и технике, а это необходимо для создания необратимого советского глобального военного превосходства. После того как оно будет достигнуто, Запад признает себя побежденным с той вежливостью, с какой это делает шахматист, увидев, что игру ему не выиграть. Собственно говоря, сдача Запада началась еще в 60-х годах — это постепенный и потому как бы незаметный процесс, причем приятный, как смерть, при которой раньше всего умирает аппарат восприя-

тия внешнего мира и мозг заполняется успокоительными галлюцинациями, вроде невиданного советского поражения в Афганистане.

Иное дело — около миллиарда мусульман, проживающих в мире. Что если они «воссоединятся» в новый халифат «от Кашмира до Марокко»? Кремлю не нужен никакой доступ к науке и технике мусульман, да и халифат его Москве не даст, ибо никакого обмена тут быть не может. Отдай мусульманам Афганистан, а они начнут воевать за всю советскую Среднюю Азию вплоть до Казани. Их нельзя финляндизировать. Тут одно из двух: либо Афганистан будет советским клином, вбитым в будущий возможный халифат, либо Афганистан будет мусульманским клином, вбитым в советскую Среднюю Азию. Афганистан следует покорить. Но как?

Ответ был ясен желающему думать умственно среднему человеку еще в 1979 году. Он взглянул на школьную географическую карту и увидел, что крупные города, кольцевое шоссе вокруг всей страны (построенное не без советской помощи в 60-х годах), пригодные для обработки плодородные земли и месторождения полезных ископаемых составляют только 12% территории Афганистана. Остальные 88% бесполезны. К тому же, легко воевать с помощью превосходящих сил авиации, танков и артиллерии против городов, военных объектов и укреплений. А тут горная партизанская война, с которой не справились ни Наполеон, ни Британская империя, ни Гитлер. Вся современная техника тут бесполезна. Моджахеды рассыпаются и разбегаются по горам, и каждый прячется, ищи его, свищи. Значит, надо построить сеть укреплений на «цивилизованных» двенадцати процентах территории, в основном примыкающей к кольцевому шоссе, а также обучить военному делу афганцев марионеточного режима. Они надежно засядут в этих укреплениях, ибо авиации, танков, тяжелой артиллерии и прочего у моджахедов нет. Советские же войска смогут засим преспокойно уйти, чтобы Кремль продолжал дружить с Западом, то есть иметь как можно более широкий доступ к его науке и технике для создания необратимого глобального военного превосходства.

На это покорение Афганистана ушло десять лет. Отнюдь не много. Как-никак, было построено 170 военных баз, включая 15 аэродромов.

Что же касается остальных 88% территории, то они были превращены в ничто: 1,4 миллиона афганцев было убито, 3 миллиона убежало в укрепленные двенадцать процентов территории, а 5 миллионов — в Пакистан и Ирак. Процесс этот шел вплоть до 1989 года, причем Горбачев непрерывно оплакивал его, напоказ, как ошибку, преступление — и даже, в новом христианнейшем духе — грех.

За успешное покорение Афганистана Валентину Варенникову (который был вплоть до конца 1988 года тайным создателем всей советской стратегии в Афганистане) было присвоено еще в марте 1988 года звание Героя Советского Союза, а в январе 1989 года он получил головокружительное повышение по службе, став главнокомандующим всех сухопутных вооруженных сил и заместителем министра обороны. Таким образом, тайно — создание советского плацдарма в горах Гиндукуша, награды и повышения, а напоказ — невиданное поражение, советский Вьетнам, ошибка, кровоточащая рана, преступление, грех. Впервые в истории правители страны, одержавшей беспрецедентную победу, не преувеличивали ее, а, наоборот, оплакивали всему свету напоказ, почти рыдая в голос над воображаемой собственной глупостью, жестокостью и бессилием.

Советская империя была глобально бессильной с конца Второй мировой войны и до начала 60-х годов, но изображала себя кипучей, могучей и никем не победимой. Теперь же ее пропаганда заключалась в том, чтобы изображать себя побежденной, терзаемой раскаянием, умирающей или уже почти мертвой, а Запад — кипучим, могучим, никем не победимым.

Когда 27 декабря 1979 года «ограниченный контингент советских войск» вступил в Афганистан для того, чтобы обеспечить охрану строительства укреплений, Кремль разослал ноту всем западным правительствам, извещая их, что войска не будут увеличены сверх «ограниченного контингента» (около ста тысяч человек) и будут выведены. То есть, весь стратеги-

ческий план на следующие десять лет был в 1979 году уже готов. По существу, он был изложен в советской ноте.

Теперь, когда читателю ясно, что в действительности произошло в Афганистане, я приведу конец моего списка материалов из газеты «Нью-Йорк Таймс»:

Элен Сциолино: «На краю пропасти: что потеряно Москвой в Афганистане», статья от 5 февраля 1989 года. «Для Вашингтона, который вложил более 2 миллиардов долларов в военную помощь моджахедам, уход советских войск — это торжество доктрины Рейгана. ... Что же касается Москвы, то Маршалл Шульман, профессор Гарримановского института советологии Колумбийского университета, сказал, что Афганистан — «чудовищный военный просчет русских».*

Джон Бэрнс: «Советы видят будущее Кабула в мрачном свете», Москва, 9 февраля. «Советское правительство обрисовало сегодня мрачную судьбу афганского правительства по мере того, как заканчиваются приготовления по окончанию вывода советских войск».

Билл Келлер: «Уходя, русские ждут худшего для Кабула», Москва, 14 февраля. «Некоторые гарнизоны уже разграблены, по сообщению газеты «Труд».... Посты охранения и укрепленные позиции, которые переданы афганским силам, брошены на произвол судьбы».

Бернард Траймор: «Война в Афганистане и советская психика: войска уходят, военные мифы умирают», статья от 15 февраля. «Война выявила вопиющие недостатки в советском ведении войны и неспособность советского генштаба выработать стратегию, которая бы привела к победе».

Дэйвид Шиглер: «Наш Вьетнам и Вьетнам советский», статья от 15 февраля. «Фантазии и паранойя объясняют, почему потребовалось и Соединенным Штатам и Советскому Союзу так много времени, чтобы принять факт поражения».

Когда в марте 1989 года стало ясно, что моджахеда не могут взять даже Джалалабад, оказалось, что оборона города включает в себя также систему подземных укреплений. До этого слово «укрепления» не употреблялось в этой связи на Западе десять лет: оно было как бы забыто — выключено из

*Шульманы устроили мне премию Эйнштейна, я выступал перед их аспирантами и прочее. После того как я раскритиковал в журнале «Комментарии» высокопоставленных советологов, Шульманы сделали вид, что никогда меня не знали. Критика недопустима, ибо доктора философии, то есть чиновники западного аппарата восприятия внешнего мира, солидарны, защищая себя от «посторонних».

сознания. А в марте же 1989 года некий полковник из Пентагона заявил: «Да и великолепно обученным регулярным войскам было бы трудно взять такие укрепления». Где же был Пентагон предыдущие десять лет?

ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНЫ МИФЫ НА ЗАПАДЕ?

Жившие в советской империи привыкли думать, что мифы возможны в ней лишь благодаря диктатору или олигархии, то есть единому владельцу всех средств массовой информации. Причем миф предназначен для обмана, в то время как у Кремля есть своя «закрытая печать». Из почестей, которые сыпались на Варенникова и на таких, как он, еще до ухода советских войск из Афганистана, можно легко заключить, что Горбачев и иже с ним ничуть не сомневались в том, что «невиданное советское поражение» — это миф для обмана Запада. В то время как действительность — это достойная награда и повышения по службе победа, это успешное создание марионеточного режима и система укреплений для него.

Но как же возможен единый миф на Западе, причем миф для обмана самого же западного политико-культурного истеблишмента, включая западные правительства?

На этот вопрос Джон Стюарт Милль начал отвечать еще 130 лет назад, когда он писал, что свобода печати бесполезна, если никто не желает или не может думать вне своих земных дел, а все желают или могут лишь повторять клише.

Мыслители, то есть известные в XIX веке лица, в умах которых возникали идеи, представлявшие ценность для человечества, являлись столь же редким явлением, как и, скажем, композиторы, в умах которых возникали мелодии, представляющие ценность для человечества. Талант, а тем паче гениальность, — редкое явление. На Западе это не отрицается в областях, полезных лично для обывателя, то есть для производства потребительских товаров и услуг, для лечения, роста личного богатства, защиты личных прав и прочего. Никто в США не считает, что каждый может быть Эдисоном, у которого не было даже школьного образования, но которому принад-

лежит более тысячи изобретений, принесших ему и другим сотни миллиардов долларов. Эдисон остается один в истории Запада XIX и XX веков.

Но когда дело касается мышления относительно судьбы Запада, то тут надежно срабатывает психологическая установка века Просвещения, которую так хорошо выразил Чернышевский. Заметив, что в его воображаемом просвещенном обществе все люди красивы, Чернышевский говорит: «А отчего ж им не быть красивыми?». А затем указывает, что у них все условия, чтобы быть красивыми, и нет никаких причин, чтобы красивыми не быть. Точно так же у американца — все условия, чтобы быть гением в области, скажем, советологии и нет никаких причин, чтобы им не быть. Свобода? Да становись хоть Леонардо да Винчи! Образование? Были бы деньги! И вот, скопив 30 тысяч долларов, родители (владельцы магазина в маленьком городке США) посылают дочку в местный университет. Она будет советологом. Никого не волнует вопрос, является ли она гением или способна лишь повторять клише. Ведь она заплатила деньги: университету выгодно принять хоть все население США, включая грудных младенцев, и выдать всем звание доктора философии. Ее докторская диссертация «Образ Татианы в произведении Пушкина «Эвгени Онегин». Теперь она доктор философии, то есть по чину-званию куда выше Эдисона, у которого не было и школьного образования. У того же Джона Стюарта Милля не было диплома даже об окончании начальной школы.

Что же касается бездипломных эмигрантов или беженцев из советской империи, то о чем же тут вообще речь? Борис Бажанов издал книгу о Сталине, «где сказано все», в 1930 г. Но переведена эта книга на английский язык была лишь в 1990 году. Зато 40, 50, 60 лет после Бажанова доктора философии издавали книги о Сталине, где они жевали официально сказанное Хрущевым еще в 1956 году. Важно лишь получить чин-звание доктора философии, и тогда можешь повторять в 1991 году как величайшее открытие то, что было опубликовано в 1930 году,

Есть одно только «но». Преуспевающие в США люди исчисляют свой годовой доход сотнями тысяч, миллионами, а то и сотнями миллио-

нов долларов. Даже на вершине западного аппарата восприятия внешнего мира (от которого зависит судьба Запада) доход у доктора философии об Эвгени (Юджин) Онегин часто меньше дохода водопроводчика средней руки. Поскольку деньги являются для многих в США мерилем успеха, высшей ценностью, то неизбежно движение таланта и гения в те полезные для обывателя области, где доход исчисляется хотя бы сотнями тысяч долларов в год, а не в аппарат восприятия внешнего мира, где он не дотягивает до среднего дохода водопроводчика. И это становится правилом. Оказываясь в аппарате восприятия внешнего мира, бездарность успешно отстраняет от себя любое проявление таланта (про гений забудем), становясь все более беспросветно бездарной. А суть бездарности и заключается в способности лишь повторять слышанное и виденное, то есть клише массового производства, вроде: «Невиданное советское поражение в Афганистане».

Эти клише и определяют умственный настрой лиц из западного аппарата восприятия внешнего мира. В Москве ли, в Кабуле, или у себя в Гарварде или Вашингтоне, они видят, слышат, фотографируют, отбирают, компьютеризируют и повторяют лишь то, что соответствует текущему клише. Все остальное — неинтересно, неважно, немодно, а посему глупо и неверно.

Что же произошло в 1989 и 1990 годах с клише 1979-1988 годов об Афганистане? Они просто были забыты — выброшены, как выбрасываются журналы мод прошлого сезона. Разумеется, все книги, доклады, видеопленки, лекции, диссертации и другие собрания клише тех прошлых лет стоят на полках, но в них никто не заглядывает — это утильсырье. Мне не известен ни один представитель западного аппарата восприятия внешнего мира, который бы вспомнил, как он был неправ с 1979 по 1988 год. Он теперь повторяет другие клише, а его книги, статьи, колонки обозревателя, передачи, доклады и прочее того времени — это как вышедшие из моды шляпки. Кто же виноват в том, что с 1979 по 1988 годы носили одни шляпки, а нынче носят другие?

Если бы западного аппарата восприятия не существовало и никто на Западе не слышал в течение десяти лет о «советской войне в Афганистане», то это было бы полбеды. Но дело в том, что западный аппарат восприятия внешнего мира галлюцинирует постоянно — он создает фантазии, которые сменяются другими фантазиями без всякой связи с предыдущими.

МАССОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Но почему же в 1988 году повторялось на все лады именно это клише: «Невиданное советское поражение в Афганистане»? Ведь клише было чистой фантазией. Почему же другая фантазия — допустим, даже противоположного содержания — не превратилась в основополагающее клише массового производства?

Клише определяются массовой психологией, имеющей мало общего с психологией индивидуальной. Например, индивидуальная психология содержит инстинкт самосохранения, а массовая психология нет: французский обыватель в 1938 году мог не спать ночей, потому что ему к а з а л о с ь, что он болен, но то, что Франция погибает, а он кончит жизнь в немецком концлагере, представлялось ему небылицей, на которую не следует обращать внимания. Всем ведь было известно, что Гитлер желает лишь мирного воссоединения Германии, а если и вообразить, что он нападет на Францию, то его режим тут же рухнет, да и боши будут так или иначе разбиты в три дня, а помимо всего прочего, ведь линия Мажино — неприступна.

Массовая психология является психологическим развлечением обывателя, доставляющим ему удовольствие и помогающим ему избежать всех треволнений вне его личной жизни.

Почему западный аппарат восприятия изображал советскую империю с конца 40-х и до начала 60-х годов столь всемогущей, что она готова вот-вот начать мировую войну за свое мировое господство? Да потому, что советская империя была бессильна, ибо у нее не было еще достаточно глобальных ядерных ракет, а у США были базы вокруг советской империи с несущими ядерные бомбы бомбардировщиками. А что же на свете приятней, чем изображать бессильного противника в виде почти всемогущего исполина, а себя в виде бесстрашного героя, готового погибнуть в неравной с ним борьбе? Чем больше появлялось у Кремля глобального оружия на суше, в океанах, под водой, в воздухе и в космосе, тем более бессильной, мирной и даже дружественной изображал советскую империю западный аппарат восприятия внешнего мира. Ибо что

же на свете приятней, чем изображать бессильным, мирным и дружественным противника, чьи глобальные ракеты, бомбардировщики, вертолеты, транспортные самолеты или подводные лодки превосходят соответствующее западное оружие по количеству, мощности и качеству?

Зато в августе прошлого года нашлась страна — Ирак, которую западный аппарат восприятия внешнего мира изобразил совершенно так же, как он изображал советскую империю, когда она была бессильной. Похоже, что Ирак явился психологическим заменителем советской империи эпохи ее бессилия. Впрочем, Ирак нелепо сравнивать даже с бессильной советской империей конца 40-х годов. Территория Ирака в 51 раз меньше территории советской империи, а валовой объем его производства в 120 раз меньше валового объема производства США. Это если не считать валового объема производства остальных 26 стран-членов коалиции.

Целый месяц, с середины января до середины февраля, мы слышали и читали об иракских «скадах» как о чуть ли не сверхоружии. На самом деле, «скады» — это советские СС-1 50-х годов. В советских войсках уже в 80-х годах на вооружении были СС-23. Между СС-1 и СС-23 — 22 модели! Вот почему Кремль давно «выбросил» «скады» в Ирак и другие дружественные страны. Но не в этом дело. «Скады» были в советских вооруженных силах полевой ракетной артиллерией: стрельба тысячами скадов на сравнительно близком расстоянии была весьма эффективной. Ирак же применяет их как одиночные, летящие наобум немецкие ракеты «фау» на заре ракетостроения. Даже с точки зрения советских 50-х годов это смешотворно. Мало того, что скады — это старый хлам: количество этого хлама ничтожно даже по сравнению с советским арсеналом 50-х годов.

Если верить западному аппарату восприятия внешнего мира, начиная со 2 августа прошлого года, можно было заключить, что Хуссейн близок к мировому господству, и только неимоверно героическое усилие всего Запада спасает мир от этой угрозы человечеству номер один. Видите ли, Хуссейн аннексировал Кувейт! Но разве Сталин не аннексировал При-

балтику, а Горбачев разве не подтвердил эту аннексию в январе этого года? Территория Кувейта в 40 с лишним тысяч раз меньше советской территории. Но вот уже полгода западный аппарат восприятия внешнего мира видит только эту песчинку. Нефть! Но война и восстановление будут наверняка стоить Западу дороже, чем тот убыток, который Хуссейн мог бы причинить, повысив цены на нефть. Если бы Хуссейн ушел из Кувейта, оставив там свой марионеточный режим, западные государственные мужи взвыли бы от негодования при виде столь явного обмана. Но ведь Горбачев проделал подобное в Афганистане!

Суть, однако, в том, что даже перечить Кремлю неприятно, вредно и опасно (ведь может получиться «возврат холодной войны»). А Ирак? В своей колонке от 13 августа 1990 года я заметил, что поскольку в Ираке нет ни гор, ни даже джунглей, то партизанская война невозможна, и потому Западу ничего не стоит его стереть в порошок. Вот поэтому так было приятно западному аппарату восприятия внешнего мира изображать Ирак в виде исполина, который вот-вот одолеет Запад.

Еще месяцев шесть назад, в сентябре прошлого года, я писал, что в этой связи я не могу не вспомнить советский стишок 30-х годов для детей дошкольного возраста. Тигренок решил, что поскольку с быком ему не справиться, то надо расправиться с воробьем: «Эй, держись, покуда цел!». Дети дошкольного возраста должны чувствовать юмор ситуации, и некоторые дети его чувствуют. В течение шести месяцев я следил за тем, обнаружит ли хотя бы один из представителей западного аппарата восприятия чувство юмора на уровне советских детей дошкольного возраста 30-х годов. Увы. С шести утра до двух часов ночи изображалось с гробовой серьезностью, как Запад будет пушить или пушит воробья. А мы его вот так! А мы его вот этак! Как говорили семь храбрецов в известной (западной) сказке братьев Гримм: «Ату его! Ату-ту-ту-ту!».

Пока Запад пушил воробья, с советских стапелей сошла новая советская подводная лодка — «Пантера» — глубоководного погружения, несущая 150 ядерных боеголовок. Одна такая

такая глубоководная «Пантера» у берегов США опаснее для США чем 25 Ираков вместе взятых. Но западный аппарат восприятия внешнего мира подобных неприятных советских мелочей не замечает. Да и начнешь их замечать, раздражишь быка а он копытом — и дух вон. То ли дело пушить воробья. Ату его! Ату-ту-ту-ту!

В цитируемой выше колонке от 13 августа 1990 года я писал, что при всех вариантах предстоящей битвы Запада с воробьем Кремль-бык лишь выиграет. Захват Кувейта Ираком за шесть часов спланировал лично генерал Альберт Макашов, а затем Горбачев дал возможность Западу отнять Кувейт у Ирака. Зачем? Кремль против «воссоединения» мусульман с помощью завоеваний вроде захвата Кувейта Ираком. Поэтому следует отнять Кувейт у Ирака! Но отнимать должен Запад, что обострит тысячелетнюю ненависть к нему многих мусульман. И наоборот, «последовательно миролюбивая политика» Горбачева вызывает у них восторг, в чем можно убедиться, послушав радио даже мусульман-американцев. Итак, Кремль стремится к союзу с миллиардом мусульман против Запада и к союзу с Западом против мусульманского «воссоединения», а Запад к тому, чтобы получить удовольствие от битвы 27 храбрецов с воробьем — массовый психоз, который длится уже полгода, вытеснив из западного сознания все на свете.

До эмиграции я полагал, что только централизованная пропаганда может создавать массовые психозы, например, по случаю открытия в Москве метро, запуска спутника, «перестройки».

Дело обстоит скорее наоборот: советские массовые психозы по крайней мере не затрагивают сам «центр», они управляются «центром» и преследуют его стратегическую цель. Это управляемые массовые истерии. А западные массовые психозы захватывают также и правительства, они неуправляемы и губительны для самого Запада.



Ирина МУРАВЬЕВА

ЧТОБЫ ГЛАСНОСТЬ ЗАМЕНИЛАСЬ ПРАВДОЙ

На мой вопрос: «Не страшно ли вам сейчас в России?» один человек ответил так: «Страшно? Да. Но в России сейчас — история». Фраза пышная и выстраданная одновременно. Ибо как же желать избавиться от российского кошмара, если не оставить душе своей это спасительное убеждение: «Да, у нас страшно. Но зато все это сейчас — история».

Часто я пытаюсь себе представить, что должно происходить с людьми, ежедневно, еженощно испытываемыми на себе ад советской действительности, и убеждаюсь, что люди, выросшие на российской почве, не только изнурены и неестественно раздражительны, но и вынашивают в себе множество тяжелых комплексов, каждый из которых может стать поводом для серьезного психического расстройства. К числу таких комплексов относится, например, гордость советского человека. Она происходит не от чувства глубокой самодостаточности и рождена не душевным покоем, а есть следствие тех болезненных и темных реакций на чужую, недоступную действительность, которые преследуют его едва ли не с рожде-

ния. Чуждая действительность облекается в дразнящие формы и манящие запахи, маячит призраком иного земного существования и пугает своей загадочностью. Российская бедность соткала в человеке клубок неудовлетворенных желаний — это и просто живая, плотская жажда жизни, и невольная робость (ибо чужое всегда страшновато!) и, наконец, вполне объяснимая агрессивность (потому что если не ощетиниться, слишком жалко себя, слишком давит собственная слабость!). Робость озлобляется, запятанный страх становится воинствующим, и наряду с самобичеванием, с этим почти сладострастным расковыриванием бед и грехов, внутри, подспудно, крепнет убеждение, что мы, какие ни есть, а все же лучше, значительнее, духовнее. У вас — голубые джинсы, у нас — история. Даже в сознании людей интеллектуальных просыпаются мысли странницы Феклуши из пьесы Островского «Гроза», пугающей горничных рассказами о «землях неправедных», где и люди-то все с «песыми головами». Не комплексом ли «недопризнанности», не излишней ли готовностью к отпору рождены эти слова:

Все там, брат, чужое,
Не по нашей вере,
Не по нашей мере
Окна там и двери.

Сколько лет прятали широкий мир от большевистской России! Сколько лет держали ее за глухим забором и вливали ей в уши подлую песню о недремлющем враге. Но вот расшатали забор, разбили замки, выпустили. И хлынула в широкий мир смущенная и торопливая толпа людей, усвоивших жестокие уроки детства и юности. На уровне странницы Феклуши: «Не ходите, дети, в Африку гулять!». На уровне духовной выстраданности и невольной рисовки: «У нас — история...»

За годы перестройки сознание людей уже привыкло к тому, что свободное слово обнажило семидесятилетнее гниение преступной системы. Обнажило и повисло в воздухе. Ибо а дальше-то что? Прочитали «Реквием», посмотрели «Покаяние», посмеялись над «Чонкиным», а дальше? Странно, но в разгаре жизни сильнее прежнего обнаружилась ее мертвенность, ее

тупиковая основа. Если раньше казалось, что все дело в насильственной несвободе, в непробиваемых духовных запретах, то теперь выяснилось, что прекращение этих запретов не делает человека счастливее и более того — свободнее.

Стало быть, внутренняя несвобода драматичнее внешней, и собственные нравственные искажения серьезнее социальных. Стало быть, как писал Бердяев: «Нравственное достоинство человека и нравственная его свобода определяются совсем не целью, которой он подчиняет свою жизнь, а источником, из которого вытекает его нравственная жизнь и деятельность в мире».

Я, может быть, и не стала бы писать о фильме Говорухина «Так жить нельзя», если бы не поразившее меня острое отличие этого фильма от всего перестроечного материала, с которым приходилось сталкиваться. Этот фильм сделан абсолютно свободным человеком. В нем полностью преодолена та экзальтированная болезненность русской души, которую лучше всего почувствовал еще Достоевский и которая так уродливо разрослась в советских людях, кающихся и «несдающихся» одновременно.

Фильм Станислава Говорухина учитывает всю окружающую Россию жизнь, прислушивается к этой жизни и всматривается в ее здоровые — по сравнению с агонизирующей Родиной — основы. Он документален в подлинном смысле этого слова, то есть не только построен на будничной текущей хронике, но и начисто лишен всякого украшения.

С первых же кадров определив свою основную тему — преступление, совершенное и совершаемое, — фильм постепенно раскручивается, напрягается — без малейшей позы или надрыва — и, не прибегая ни к каким внешним эффектам, сбывается, как сбываются крупные жизненные события с их точностью и законченностью. В работе Говорухина не столько важно ее обличительное начало и не столько важен даже собранный в ней материал, сколько тот нравственный комментарий, которым этот материал сопровождается.

Можно сказать, что автор фильма берет на себя роль прокурора, обвинителя, судьи. Собранный им материал о преступ-

лении, с точки зрения которого оценивается все происходящее, поражает не своей «кровавой» выразительностью, а прежде всего своею массовостью и бессмысленностью. Как это все начинается, с чего?

Унылый производственный пейзаж, задымленные корпуса, уродливые трубы, плотные заборы... Детство, начало жизни. Тоска, темень. Общая атмосфера советской семьи: пьянство, безденежье, запущенность. К этому добавляется безобразная ложь, разом осуществляющая как бы полную подмену происходящего. К шестнадцати-семнадцати годам у советского человека, выросшего на фоне труб и глухих заборов, наглотавшегося пьяного перегара, грязной речи, скудной пищи, облапошенного детсадовскими стишками, пионерскими утренниками, комсомольскими собраниями, — к семнадцати годам, а то и раньше, у этого ничем не защищенного человека складывается полное невосприятие окружающего. Что-то вроде рвотного рефлекса на него. Семья? Да, вот она семья: кто в тюрьме, кто в вырезвители, кто на больничной койке. Любовь? Ах, какая там любовь, если восемьдесят процентов современных школьников на вопрос, кем они хотят быть, отвечают: «валютной проституткой»! Бог? Но откуда он возьмется, если, как произносит священник в фильме, «Бога упразднили»? Родина? О, вот об этом и не надо. Вот тут-то и начинается рвота.

«Мы с приятелем посмотрели кино, вышли, и я говорю: «Вот как надо убивать!» А он говорит: «А чего бы нам? Давай тоже попробуем...» И попробовали. Пятьдесят ножевых ударов. В криминалистике такие преступления именуются немотивированными. Они выходят за пределы всякой мыслимой логики и даже той своеобразной преступной «целесообразности», которая осуществляется в факте мести или, скажем, воровства. Из глубины русской жизни вылезло шершавое животное с бессмысленными глазами... «Убью, потому что скучно». Или еще проще: «Давай попробуем...»

Невысокий паренек с обыкновенным, белобрысым лицом, худощавый и узкоплечий, вполне герой какого-нибудь очередного «Я шагаю по Москве», рассказывает, как он убил девушку. Рассказывает и показывает одновременно: «Я ей нанес

шесть ударов в печень, она осела, оседай легонечко (сотрудница милиции послушно оседает), а потом, когда она вот так вот развернулась головой к речке, к речке развернулась головой, вот так вот — разворачивайся! — и я ей еще два раза в живот...» Похоже, что психически он не вполне здоров. Сознание его перекрыто, пережато...

Говорухин делает беспощадный вывод об изменении нравственной природы человека. Советский человек, сложившийся в результате нарушенного генетического хода*, являет собой принципиально иное по сравнению со всеми прочими существо. Шариков? Да, Шариков. Немотивированные преступления? О нет, слишком даже мотивированные. Всей общей огромной жизнью, безумной и безысходной. Что же перекрыто, что пережато в таком человеке? Я бы сказала просто: культура. Культура мышления, души, совести. Человеческая культура как таковая. Ей не на чем было возрасти, ее ничто не питало. Фильм цитирует пророческие слова Бунина, произнесенные в «Окаянных днях»: «...и лицо поколения будет собачье...»

Фильм «Так жить нельзя» прекрасен тем, что размышляет сам — и пробуждает в зрителе то же желание: докопаться до корней, задать себе не сценический, не литературный вопрос: «Что делать?». «Надо, чтобы гласность заменилась правдой», — просто отвечает режиссер, разом обнажая ту многи ми подозреваемую, кончиками нервов ощущаемую разность между пресловутой советской гласностью и правдой как таковой.

Фильм исполнен отчаяния. Каждый кадр его подтверждает классическую формулу Георгия Иванова: «Есть от чего прийти в отчаянье. И мы в отчаянье пришли...» Когда с экрана произносится: «В народе говорят, что наша страна проклята Богом. Может быть, и так...», то это не должно вызывать, на мой взгляд, и тени негодования даже в самом патриотическом сознании с его устоявшимся: «Как так проклята? А народ — богоносец? А речь Достоевского о Пушкине? А наша интеллигенция? Не мещанство? Бессребренность?». Попробуем отказать от устоявшегося. Жизнь, как она складывается сего-

*Возможно, **кода?** (Д. Т.)

дня, четко приводит в этот — по Герогию Иванову — «приют последний». Отчаянье, да. И может быть, на глубине его, в осознанной бескомпромиссной полноте его, и лежит последняя правда?

Как часто, сталкиваясь с огромным непоправимым несчастьем, своим или чужим, мы с недоумением задаем вопрос: «Господи! За что?». Фильм Станислава Говорухина, обращенный на несчастье всей России, этот вопрос не только задает, он на него отвечает. Отвечает статистикой казней священнослужителей, кадрами о расстреле царской семьи, о миллионах других насильственных смертей, констатацией геноцида, искусственного голода, — проще сказать, перечислением грехов, совершенных на русской земле, Станислав Говорухин на страшный вопрос: «Господи, за что?» — отвечает. И получается — есть, за что...

Можно ли назвать этот фильм приговором? Да, можно. Но только отчасти. Он ведь не исчерпывается беспощадностью и не сводим к ниспровержению существующего, а пытается нащупать и что-то другое... Может быть, положительный идеал? Нет, проповедь положительного идеала прозвучала бы фальшиво и стала бы еще одним проявлением пресловутой гласности, подменяющей искомую правду. Мне кажется, что фильм пытается нащупать те возможные пути духовной ориентации, которые могут способствовать постепенному восстановлению этого идеала. Вот праздник Троицы. Море голов. Может, не до конца сгнили в отравленной земле корни традиционной веры? Вот молодые ребята, распеваящие остроумные и злые куплеты на мотивы романтических советских песен. Может быть, если человеку без усталости напоминать, как бессовестно он обманут и унижен, в душе его распрячется искромсанное достоинство? Может быть, может быть... Кто возьмет на себя смелость пророчества? Тютчевские, истрепанные повтором слова «Умом Россию не понять...» настолько же устарели, насколько и по сей день не утратили своей тревожной загадочности...

«Чем вы моетесь?» — спрашивает режиссер у двух старух, единственных жительниц всеми оставленной уральской де-

ревушки. «Чем? — переспрашивает одна, оборванная и толстая, с лицом добродушным, с лицом без черт, ибо все на нем похоже на миллионы других, простых и толстых, старушечьих русских лиц. — Чем моемся? А ничем! — и протягивает к нему руки, большие, черные от земли. Протягивает наивным жестом — показать, удостовериться. — Дали вот такой (показывает) кусочек мыла в мае, а больше ничего. Вот такой! И ничем мы не моемся!». А другая, маленького роста, с нависшими бровями, в платке, повязанном по самые глаза, вторит басом: «Совсем стала плохая жизнь. Никудышняя. Раньше и сахарок был, и пряничек, а теперь...» И после эпизода с брошенными старухами камера скользит по сияющим полкам западных магазинов, скользит со спокойной неторопливостью «незакомплексованного», дружелюбного человека, который этим контрастом, этим сведением в одном художественном пространстве вещей несопоставимых бьет на исконное чувство справедливости. Так и хочется ахнуть: «Да что же это делается на свете? Почему одним — так, а другим — этак?». Мысль, прямо скажем, не новая, но ведь не в новизне дело, а в жалости. Заведующая одного из продовольственных валютных магазинов в Москве на вопрос режиссера, что сказали бы уральские бабушки, попади они сказочным случаем в такой магазин, ответила просто: «Им бы было больно, а нам стыдно...»

В душе российского интеллигента испокон веков существовал особый «шик» — гордиться, что ли, отечественной нищетой. Это чувство наслаивается поперек логики, поперек исконного стремления человеческого существа к теплу и сытости. Я не боюсь упрека в мещанстве, потому что то, что я говорю сейчас, не имеет к нему никакого отношения. Есть крайности каждого явления. Крайность сытости — отвратительная и крайность бедности — изнуряющая. И то и другое унижает человека, отнимает у него свободу. Говорухин как-то очень тактично сказал о русской бедности. Старух, тоскующих на развалившемся крыльце и, как о светлом празднике, мечтающих о «пряничке», не просто жаль — перед ними стыдно. За девочек, каждый день пополняющих ряды проституток, не просто стыдно — их пронзительно жаль. Поезд жизни сошел

с рельсов, и насыпь усеяна жертвами. Не жизнь — подобие братской могилы, а то и страшнее — выгребной ямы, где все смешалось, все гуртом, все вместе...

Когда этот фильм, который я только что именovala приговором, показывает, как они идут — люди по русской земле, как ковыляют по ней, уродцы в стоптанных развязанных башмаках, женщины, потерявшие возраст и облик, как они стоят на этой нищей земле, в ее безнадежных, отвратительных очередях, и терпят, и ждут, и прождав много лет, умирают никому не нужные, — так вот, когда этот очень жестокий фильм показывает их уродливые тела, их беспомощные лица, то, только что казавшийся приговором, он перестает быть таковым, и проступает его второе значение, страдающее и не теряющее полноты сострадания перед желанием высказаться до конца, ударить наотмашь.

Россия сегодняшняя, опустившаяся и преступная, неторопливым сюжетом фильма зажата как бы в кольцо ее собственного прошлого, с одной стороны, и жизни западного мира — с другой. Прошлое не показано, оно лишь очерчено слегка. Были на этой земле другие люди, с которыми расправились, они ушли и — произносит Говорухин — «вместе с ними ушли из общества понятия чести». Другие люди, другие реки, другие церкви... Западный мир тоже не показан как таковой, но несколькими штрихами обозначено главное: то принципиально иное существование, на фоне которого русская действительность выглядит пугающим абсурдом. В прошлом России была жизнь, ее уничтожили, в сегодняшнем настоящем других земель есть жизнь, но русскому человеку она недоступна. Тупик? Да. Комната с запертой дверью, без окон, склеп.

Говорухин стремится как можно честнее разобраться во всем, с чем сталкивается, доискаться до первопричин. Когда, например, заходит разговор о преступности в Штатах, он делает справедливое замечание, что теперь белая Америка расплачивается за то, что когда-то привезла из Африки черных рабов. Это, в сущности, так и есть. Ничто не возникает само по себе, всякий произвол есть произвол кажущийся. То уголовное состояние, в которое приведено русское общество, то-

же, скорее всего, объясняется не только бедностью, деспотизмом или многолетним унижением, ибо и бедность, и деспотизм, и унижение тоже являются следствиями того, что глубоко заложено в национальном сознании и на преодоление чего необходимы огромная воля, мужество и ум.

Происходящее сейчас с Россией носит, если вдуматься, глубоко мистический характер. Даже на самом поверхностном уровне рассмотрения очевиден наступивший в ней хаос. Хаос мысли, чувства и дела. Хаос человеческих отношений, хаос культуры. К тому, что сделано на этой земле человеческими руками, драматически подключена природа: то независимо от человека (землетрясение в Армении!), то в результате произведенного над ней насилия (последствия Чернобыля!). Похоже, что в России происходит уничтожение самого понятия нормального существования. Вот об этом и сделан фильм «Так жить нельзя». Этим он страшен, этим он и хорош. Камера, снявшая не просто жизнь города или деревни, не просто уголовные преступления, проституцию и трагедию залитого кровью Баку, а словно бы напрямую запечатлевшая ту бездну, над которой повисла Россия. Нет, так жить нельзя...



Зара АБДУЛЛАЕВА

МЕССИЯ В ЗОНЕ

«...нормальный ход духовного развития может быть бесконечно искажен историческими условиями, общественными предрассудками и личным заблуждением людей. Такое печальное искажение — духовная жизнь русской интеллигенции».

М. Гершензон. 1909 г.

Во дни гонений, суда и ссылки Иосифа Бродского Анна Ахматова, вспоминают очевидцы, произнесла убийственную фразу: «Какую биографию нашему рыжему делают». Спустя годы, в подборке выступлений, посвященных пятидесятилетию поэта, прозвучали не менее решительные слова Дмитрия Урнова: «Говорят, мы потеряли Нобелевского лауреата. Нет, мы его приобрели». Жестокость этих суждений, разумеется, не несет «всю правду» о случившейся биографии Бродского, его мировой славе. Вместе с тем здесь вскрыты тайные пружины воспитания кумиров легкомысленной и неосмотрительной идеологической системой. Сделавшей, стоит признать,

немало полезного для расцвета отечественной культуры. Одним сохранив жизнь, вынудив к эмиграции, другим обеспечив невыносимые условия, в противостоянии которым создавалось то лучшее, чем мы сегодня по праву гордимся.

Дарованная свобода и отворанный, если воспользоваться формулировкой Мандельштама, воздух нынешней советской ситуации довольно трезво обнаруживают преимущества невульгарно-социологического подхода к восприятию творчества и личности знаменитых советских художников. И тех, в первую очередь, кто себя никоим образом с системой не отождествлял, кто с ней боролся или ее как бы игнорировал (внутренняя эмиграция, неофициальное искусство), но по-своему использовал и при всей брезгливости все же «употреблял».

Загадка состоит в том, что в нашей отдельно взятой стране сегодня, когда как будто можно сказать «все обо всем», прослеживается одна пикантная закономерность. Табуированная культура — и в период горбачевского правления — каждому из своих живых и мертвых протагонистов отводит свое место. Свою зону: нишу или иконостас, как прежде подполье или камеру.

Мы твердо знали прежде, кто именно заказывает музыку. Теперь труднее определить, кто делает рамы и достает бронзу.

Борьба за настоящую культуру не ослабевает ни на минуту. Что, однако, понимается под этой самой культурой, принципиального значения не имеет. Потому что упоение борьбой — едва ли не самое сильное для нас эстетическое переживание. Таков наш необщечеловеческий удел — бороться в мирное время за своих неуязвимых героев, за клановые — как ни крути, ни верти — предпочтения.

Все это имеет прямое отношение к биографии и творчеству советского кинорежиссера Андрея Тарковского. К ореолу, возникшему наподобие нимба или тернового венца вокруг его имени.

Возможно, что случай Тарковского — это случай советской интеллигенции как класса, а не прослойки, со всеми вытекающими отсюда историческими, культурными особенностями. С его надеждами и амбициями, раздвоенностью и нетерпимо-

стью, мстительной энергией и бессребреничеством, нежизнеспособностью и трогательной заботой о собственном образе. А то и предназначении.

Как ни странно звучит по отношению к кинорежиссеру, феномен Тарковского — это «вопрос веры». Кино Тарковского — умозрительное и истеричное, тягучее, как дорога путника в темном лесу, и проникнутое надрывным желанием увидеть вспышку света в финале, — это, в сущности, поиски гармонического идеала.

Роль Тарковского в отечественной культуре уникальна. Он был призван — хотя эта миссия ему была навязана самыми разными потребностями и обстоятельствами — заполнить пустоту. Бог умер. Оттепель сменилась заморозками. Тарковский последовательно отвечал запросам новой культурной ситуации, пытался построить на обломках рухнувших мифологических структур — свою мифологию, свою космогонию, со всей серьезностью создавая образ Художника с большой буквы, для которого кино лишь средство достижения иных целей.

Запись в дневнике 1984 года: «Я не могу жить в России и здесь я тоже не могу жить!» — в сущности, трагедия не столько вынужденного эмигранта или безработного, униженного режиссера в родной стране, сколько, может быть, самый первичный импульс творчества, причина самоутверждения, на которое Тарковский был обречен от рождения. «С самого начала, — скажет о нем Иоселиани после смерти, — он был осужден на несчастье, страдание и печаль».

Мотивы насилия, смертельной опасности, ожидания чуда — сквозная тема его фильмов и тема его судьбы, как бы мессийской предуготовленности, которую, стоит заметить, Тарковский прекрасно осознавал. Ассистент и переводчик на «Жертвоприношении» вспоминает сон, рассказанный режиссером, «в котором он был мертв и лежал на софе или кушетке; множество людей входило в комнату и преклоняло колени в знак почтения». Страшный, если признаться, сон.

Отворанный воздух в пространстве Зоны — России создает свои правила химерического существования. Здесь по-

чти невозможно дышать, невозможно разрядить поистине онтологическое неблагополучие.

Быть изгоем в зоне и с гордостью ощущать свою избранность — одна из главных заповедей советской интеллигенции. У Тарковского она приобретает щемящий обертон. Сиротство в зоне — его сквозная тема, незаживающая рана. Сироты в зоне, чтобы не погибнуть, должны самоутвердиться. Но плюс к тому, они, по Тарковскому, всегда поддержаны экстремальной ситуацией. Мальчик Ваня, убивающий на войне людей; голодный Бориска, воздвигающий колокол в «Рублеве»; подросток, испытавший воздействие Океана, сын космонавта Бертона; мутантка, дочь Сталкера, двигающая взглядом посуду; и, наконец, преодолевший немоту ребенок в «Жертвоприношении». В самом начале, по Тарковскому, было обреченное детство, где мальчикам и девочкам приходилось испытывать голод, мор, болезни, душевные травмы, раздрыганные семейные отношения и видеть счастливые сны. Сны — не столько даже замещающие реальность, сколько испытывающие одну зону — другой: несчастье — счастьем, горе — радостью, одиночество — лаской. «Правду» — «поэзией».

Тарковский — первый из поколения шестидесятников очнулся от эйфории «оттепели» и погасил в себе социальный романтизм. В его мироощущении был на корню истреблен инфантилизм — радужные надежды людей, вырвавшихся из зоны, из сталинской эпохи. Тарковский омрачил розовый лирический туман своего поколения. Пока Г.Данелия снимал «Я шагаю по Москве» — с ее ночной прелестью уютных зеленых улиц, пока М.Хуциев восстанавливал погранные ленинские нормы в фильме «Мне двадцать лет», пока молодые ребята — очаровательные москвичи и гости столицы любили, смеялись, гуляли, спорили и пели, Тарковский не верил в утешительную передышку, собирая свои хрупкие силы — силы голодного мальчика родом из войны и московской коммуналки для будущего отрезвления и выживания.

Муторная атмосфера его картин с протяженным, тянущим жилы ритмом, — это, в сущности, фиксация «образа времени», который не заставил себя долго ждать. Зона — безбытна и неприютна; в ней отравлена жизнь, любовь и радость.

Тарковский начал с «Иванова детства». С героя с обожженным сердцем. С сиротки, потерявшего на войне родителей. С мальчика, движимого жертвенностью и мстительным детским упрямством. Одиночество, заброшенность, сумасшедший голодный старик в разрушенной деревне, в продутой, разоренной избе; судьба гордого одиночки Рублева, искупителя поруганной, выжженной завоевателями и предателями земли; непарадная война, как и непарадная Москва — зона смертельной опасности, ощущаемая в «Зеркале», в московской квартире с оборванными обоями, протекающим потолком, облупившейся раковиной на кухне, стылый воздух на даче, душераздирающие документальные кадры прощающихся в фашистской Испании родителей с детьми, которых отправляют в Советский Союз; постаревшие испанцы в московской квартире, обретшие вторую родину и страстно тоскующие по первой, — такова экспозиция будущих мотивов Тарковского: ностальгия в зоне, ностальгия по зоне. Таков путь к самоопределению образа художника-Мессии.

Опасность этой позиции состоит в том, что ее нетрудно опознать, а то и вывернуть наизнанку. Что в настоящее время и происходит. Кроме того, эта позиция безболезненно присваивается как раз теми, кто с ее помощью надеется оправдать свои прошлые иллюзии, свои нынешние прозрения, кто не прошел и малой части пути, отпущенного Тарковскому. Кто объявил духовным пророком человека, метавшегося в поисках спасительного идеала, человека, затянутого в петлю.

«Уровень восприятия, — справедливо и просто сказал мне в интервью О.Иоселиани, — произведений искусства, как, впрочем, и всех наших поступков, определяет воспитание, а проще говоря, — какие у тебя были мама, папа, иногда — дедушка».

Сын неудачливого, долгие годы непечатающегося Арсения Тарковского, оставившего сына и дочку маленькими детьми, — травма ушедшей, но не забытой жизни, транспонированная в сюжете «Зеркала». Отец — «косноязычный» поэт и мать — корректор, по роду службы и в силу своего характера следящая за правильностью написания-поведения.

«Андрей для матери, — вспоминает ее подруга, — был трудным. Он все как-то не определялся, а ей хотелось, чтобы встал твердо на ноги. И не просто хотелось, а было крайне необходимо при такой тяжелой жизни. Маруся работала корректором в типографии, старалась подрабатывать сверхурочными, брала на дом, но все это были гроши. Она жаловалась на сына: занялся музыкой — бросил, принялся за живопись

— оставил. И вот наконец радость: поступил в Институт востоковедения... Но хватило Андрея только на первый год... Был у меня тогда примечательный разговор с Марусей. На мой вопрос, что же теперь будет с Андреем, она ответила: «Устроила его в геологическую партию, в тайгу...» Спрашиваю, куда, с кем, как одет, как обут... Говорит сердито:

- Как обут? Обыкновенно, в ботинках.
- Надо бы сапоги...
- Откуда я их возьму?!
- Так он же простудится.
- Пусть.
- Так у него же легкие не в порядке.
- Пусть... Довел!..»

Мне всегда казалось, что Тарковскому для органического самоощущения и примирения мучительных исканий не доставало... любви, внутренней опоры. Его жесткость и требовательность, упрямство и кокетство, стремление к надличному и вместе с тем вполне утилитарная идея искусства переделать мир основывались на обделенности, которую необходимо было культивировать, чтобы сохраниться как художнику.

— Рита, ты меня любишь? — вспоминает Маргарита Терехова, сыгравшая в «Зеркале» жену и мать героя.

— Андрей Арсеньевич, я вас обожаю...

Герой «Соляриса» говорит ожившей в его памяти жене: «Ты мне дороже, чем все научные открытия. Ты мне дороже, чем настоящая Хари. Я не вернусь на Землю, мы будем жить с тобой здесь, на станции». Но жить на станции — невозможно. И любимо до тоски только то, что существует в воображении. Отсюда, собственно, и проистекает самоистребляющая любовь к дальнему, к изначально запрограммированной несбыточной гармонии.

Реальность фантома — это, в сущности, вопрос веры. Главный вопрос русской и советской интеллигенции, подвергающей испытанию свою веру то в народ, то в Бога, то в революцию. Но всегдашний трагизм интеллигентского сознания состоит в том, что вера не гарантирует взыскуемое спасение. В то же время отсутствие веры приводит в падению. В зоне этих мучительных противоречий надрывался Тарковский.

Невозможность любить при гипертрофированной потребности быть любимым до самозабвения — вот трагическая пе-

чать протагонистов Тарковского, вынужденных чувствовать себя людьми только в страдании. Отсюда возникает идеализация, мифологизация своего прошлого, отчего дома, обращения к матери, к стихам отца в качестве устойчивого, реального мифа — ностальгии по тому, что всегда, кажется, рядом, под рукой, но безнадежно, зыбко.

В «Зеркале» и «Ностальгии» звучат стихи Арсения Тарковского. Артист Янковский сыграл в «Зеркале» отца героя. В предпоследнем фильме, посвященном Тарковским своей матери, — «сына», то бишь героя. Ностальгия по утраченному детству («Зеркало») и по утраченной зоне («Ностальгия») симметрично прочерчивают линию судьбы, в которой сын воссоединяет отца — непризнанного поэта, его стихи, — и мать.

**А мать стоит, рукою манит, будто
Невдалеке, а подойти нельзя;
Чуть подойду — стоит в семи шагах,
Рукою манит; подойду — стоит
В семи шагах, рукою манит.**

Жарко

**Мне стало, расстегнул я ворот, лег, —
Тут затрубили трубы, кони поскакали, мать
Над мостовой летит, рукою манит —
И улетела...**

**И теперь мне снится
Под яблонями белая больница,
И белая под горлом простыня,
И белый доктор смотрит на меня,
И белая в ногах стоит сестрица
И крыльями поводит. И остались.
А мать пришла, рукою поманила
И улетела...**

Журналистка Ирена Бресна, с большим трудом уговорившая Тарковского на интервью, решила высказать ему то, что всегда смущало и меня.

«Где-то, как я поняла, — говорит Ирена Бресна, — он был неспособен любить, и я сказала ему это. Почему же вы не любите сами? И предоставляете женщине свободу действий? И тогда он признался, что ему очень трудно любить и что для него очень трудно пожертвовать собой, но женщина... Ведь женщина... это — символ жизни, символ... Женщина для него

просто миф, все доброе и прекрасное, и она должна быть именно такой».

Женщина — миф, женщина — символ жизни, женщина должна быть доброй и прекрасной. Многолетняя привычка существовать в пространстве мифов и символов создает напряженную конфликтность личности Тарковского и образа художника, который он представляет. Нравственный императив, всепроникающая идея долженствования («поэт должен вызывать душевные потрясения», «я должен измениться сам для того, чтобы...») требовали новых символов и новых мифов, более привлекательных, чем кондовые соцреалистические образцы, но не менее утопичных. Отдать жизнь во имя социалистических идеалов и светлого коммунистического будущего теперь признано бесчеловечной ошибкой. Отвергнуть жизнь и обречь человека на страдание во имя царства Божьего на земле — другая сторона единого воспитательного процесса, жертвой которого оказался Тарковский.

Другая реальность, которую герои Тарковского — медиумы авторской воли — стремились приспособить к реальности данной и таким образом ее переделать, не дает возможности свободно дышать ни «там», ни «тут». Ни в прекрасной Италии, ни на космической станции, ни в России XV века, ни в Швеции на закате XX, ни в Москве, ни в чудодейственной зоне... Нигде и — одновременно — в пути. Эволюция Тарковского от как бы бесхитростного и неожиданного «Иванова детства» до вычурной символики «Жертвоприношения» — это остывание человечности в непонятном и страшном мире — бесконечной зоне, которую надо укротить жестким волевым выбором. Поверх груди слов — поступком. Боязнь совершить ложный шаг и не совершить Поступка — клеймо жителей зоны. В героической настроенности на свершения, на «битву в пути» и состоит нескромное обаяние и беспощадный прессинг искусства Тарковского, требующего от зрителя стать лучше, чище, духовно богаче. Так, социальный гнет оборачивается душевным, личностным изломом, ожесточенным максимализмом.

На лекции Тарковского в лондонском Сент-Джеймском соборе священник задал ему вопрос: «Откуда вы черпаете свою

духовную силу, являющуюся источником вашей творческой деятельности? Где ваши корни?».

Тарковский: Мои корни в том, что я не люблю сам себя, что я себе очень не нравлюсь.

Священник: Но это еще не ответ на мой вопрос!

Тарковский: Я в этом черпаю свои духовные силы, которые заставляют меня обращать внимание на другое. Это помогает мне уходить от самого себя. Это позволяет мне искать и находить силы не столько в себе самом, сколько в том, что меня окружает, что надо мной. Я бы не мог сказать, что я черпаю силы в самом себе.

В «Зеркале» есть эпизод, когда герой читает своей бывшей жене усталью, надтреснутым голосом (закадровый текст исповеди от дан И.Смоктунцовскому, олицетворявшему в 60-е годы столичного умницу, интеллигента-скептика, сыгравшего Гамлета) нечто вроде бытовой проповеди: «Книга — это не сочинительство, не заработок, а поступок. Поэт призван вызывать душевные потрясения, а не воспитывать идополоклонников». Мы где-то об этом уже слышали, нас как будто этому всегда учили и таков был, в сущности, выбор настоящего интеллигента, предпочитающего о своем выборе не декларировать. Но тип сакрального художника, со всей мыслимой серьезностью относящегося к своему творчеству не менее как к поступку, сохраняет свои незыблемые позиции истинного пути в искусстве, что налагает очередные табу другим типам художественного сознания — более скромным, не претендующим на вселенский резонанс.

Говорить или молчать в русской советской действительности значит действовать — выражать протест или не соглашаться, умерщвлять или миловать. Молчит с «чужими», не раскрывая военной тайны, партизан Иван, налагает на себя обет молчания Андрей Рублев, вырывают язык у иконописцев, отрезают сотники язык у скомороха, участвуют в философском диспуте персонажи «Соляриса», герои «Сталкера» должны сказать о заветных желаниях в заветной комнате. Но и произносит проповедь на статуе Марка Аврелия персонаж из «Ностальгии» перед самосожжением, но молчит сын героя в «Жертвоприношении», который, в свою очередь, принимает обет молчания, и наконец последние слова последнего фильма Тарковского принадлежат заговорившему мальчику — «сыну человеческому»: «Вначале было слово».

Слово — поступок, слово — действие, слово — наказание — одно из основных табу или свобод советского общества, которым Тарковский придавал помимо социального и экзистенциальный смысл.

Эпоха оттепели, открывшая ворота лагерной зоны после доклада Хрущева и разомкнувшая рот поколению, к которому принадлежал Тарковский, придавала — традиция эта знаменательна и для горбачевской оттепели — слову как поступку грандиозное и, в сущности, вне советской страны необъяснимое значение.

Знаменитый эпизод в «Зеркале» в типографии, где матери режиссера привиделась ошибка в слове, которая могла повлечь за собой лагерную зону, — не только свидетельство эпохи и атмосферы 30-х, в которой росли мальчики — будущие шестидесятники, но, в случае Тарковского, неожиданно страшный урок. Текстовая ошибка, равная преступлению, — исторический факт, угробивший многих членов советских коллективов, сформировал уникальный тип советского художника, решившегося говорить и не сдаваться, но втайне всегда боявшегося сделать ложный, гибельный шаг.

Мы помним финал эпизода в типографии. Мать героя, расслабившись после ложной тревоги, шепчет на ухо своей товарке показавшуюся ей ошибку. Они хохочут — красавица Терехова и сухая, стародевического облика Демидова. И вдруг — мерзкая ссора, оскорбления — нравоучение подружки горячке, матери героя. Нервный, но и естественный после сдавившего спазма смех — единственный, кажется, в фильме Тарковского случай иного, кроме сосредоточенно-серьезного выражения драматического напряжения. Никогда не расслабляться — закон зоны, в том числе и для ее свободолюбивых, но ущемленных, зависимых жителей.

В обществе, где слишком быстро заткнули рты, Тарковский отменил возможность своей прямой социальной закреплённости. И решил остаться в плену как бы более гибких зависимостей перед самим собой и перед Богом, оставаясь при этом светским человеком, кинорежиссером, участником фестивалей, признанным мэтром.

Известно, что Тарковский был далек от «рыночной суеты» и вместе с тем был буквально убит, что «Ностальгия» не получила на Каннском фестивале золотую пальмовую ветвь из-за происков, как он считал, Бондарчука, члена жюри, «посланца

врагов»; суетно переживал, что его с недостаточным почтением принимали на Берлинском фестивале. Эрланд Юсефсон, снимавшийся в двух последних фильмах, вспоминает, что Тарковский был очень земным человеком: «...в нем было много кокетства. Он любил самого себя, свое тело, свое лицо». Немецкий режиссер Вильгельм Шёмон — о том, что Тарковский был «не от мира сего». Э.Артемов, писавший музыку к его фильмам, — что главное в Тарковском — интеллект. А Кончаловский, соавтор сценария первых картин, пишет о том, что Тарковский отдавался влечению интуиции, что «склад его ума был не аналитический, а интуитивный». Но и эти впечатления не раскрывают драму самосознания режиссера, причины мифологизации его личности.

О двойственности советского сознания мы сегодня говорим применительно к так называемой эпохе застоя и вкладываем сугубо социальный смысл: врал — не врал, выступал на собраниях — брал бюллетень, пачкался — каялся и т.д. В случае с Тарковским двойственность — по меньшей мере — двойственность усложняла отношения художника с самим собой, а потом уже с обществом. «Чтобы найти способ изменить мир, я должен измениться сам. Я должен сам стать глубже и духовнее, — скажет режиссер. — И только после этого я, может быть, смогу принести пользу. А как мы можем рассчитывать на какие-то изменения, если мы сами не чувствуем себя достаточно духовно высокими?..» Предъявлен некий моральный кодекс, до которого надо еще дорасти как «нам», так и ему самому. Но ведь и «польза» — сомнительная задача искусства. В чем польза «Пиковой дамы» или, скажем, гоголевского «Носа»? Почему художник должен подтвердить или опровергнуть заданные в какой-то значимой части общества установки и соответствовать им? Когда Толстой хотел «изменить мир», он перестал писать романы...

Трудно себе представить, скажем, приверженцев Бергмана, заботящихся о приобщении к его нелегкому кино широких масс шведских трудящихся, а также других «элитных групп» шведского общества, которым он «не близок». У Тарковского всегда был и есть свой зритель, свой брат — режиссер-поклон-

ник. И тем, например, кто предпочитает грустно-ироническое, изящное, безоценочное и, главное, бескорыстное кино Иоселиани, возвращенное, правда, на благодатной грузинской почве, — очевидно, что «духовно-образное» искусство в одном и том же поколении художников может существовать и без претензии вселенской перестройки.

Финальные слова рассказчика в «Зеркале»: «Я хотел быть просто счастливым» — непреодолимые вериги сознания Тарковского, зовущего его в прекрасное далеко. «Меня воспитывали женщины», — скажет как бы в самооправдание герой «Зеркала», что привело и к смущающей кокетливости самолюбования, к страху перед женщиной и привычкой ей подчиняться, к настойчивой потребности чувствовать себя сильным непокорным мужчиной, которым восхищаются, как неизбалованным мальчиком.

«Я хотел быть просто счастливым» — самая искренняя фраза авторской исповеди. Не получилось. Еще с тех дивных воспоминаний о рыжей конопатой толстухе, которую герой-мальчик встретил во время войны. «Я хотел быть просто счастливым». Не вышло. Но я способен в таком случае осчастливить других людей, обречь их на счастье, о котором они, в силу собственного несовершенства, даже не догадываются. Эта решительность элегантного человека маленького роста, слывшего пажоном и гением одновременно, постепенно удостоверяла его особое предназначение. В последнем фильме герой, бывший актер, сыгравший Мышкина и Ричарда III, то есть прошедший зону сверхдобра и сверхзла, как бы вспомнит «Зеркало» и скажет своему сыну, показывая на дом, о том, что «когда они с матерью собирались его купить, то подумали: «Если здесь жить, то можно быть счастливым до конца жизни». В финале этот дом был в отместку за несчастливую жизнь сожжен, предан казни. Но казни во имя будущей счастливой жизни.

Неотвратимое и неудачливое стремление к счастью — стержень картин Тарковского. Но счастье без любви? Но счастье с культивируемым чувством вины, страхом смерти? Но счастье, когда так несовершенен человек и столько в мире несчаст-

тья? Как говорит жена героя в «Жертвоприношении»: «Слабее тот, кто любит не рассуждая, без оглядки. Я всегда чему-то сопротивлялась. Как будто кто-то говорил: только не сдавайся — иначе погибнешь».

«Когда его спрашивали, почему он все же остался здесь, — вспоминает Иоселиани об эмиграции Тарковского, — он отвечал: «Чтобы досадить им». И далее: «... он постоянно говорил мне, что здесь царит определенная примитивность мышления, мелкобуржуазный склад ума, которого он не переносит. Он становился все печальнее и в заключение сказал, что на земле нетрая и что человек рожден, чтобы быть несчастным».

Человек рожден, чтобы несчастным не быть. А рай на земле может быть обеспечен «мелкобуржуазным складом ума» или пришествием Мессии. Искатьрая на земле, презирая «примитивность» жизни и людей недостаточно высокодуховных, видеть в жизни либо искалеченное, убогое, несправедливое, либо экстраординарное, из ряда вон выходящее — это и есть удел советского интеллигентского сознания: страданий, но комфортных, чтобы немножечко ада — иначе «мелкобуржуазно», и немножечкорая — чтобы быть все-таки в этой жизни благополучным и признанным.

Напряженная сосредоточенность Тарковского, готового к броску, словно рысь («рыськой» из-за скуластого лица звали его в детстве), Тарковского, как вспоминают его близкие, постоянно грызущего ногти, затравленного, горделивого и подозрительного — комок нервов, сопротивляющегося травмам, но одновременно и муслирующего их, сказала в выборе сюжетов. Войны в «Ивановом детстве», татарского ига в «Рублеве», таинственно-грозного Океана в «Солярисе», смертельно-чудесной зоны в «Сталкере», эмиграции в «Ностальгии», угрозы третьей мировой войны в «Жертвоприношении», интимного сиротского надрыва в «Зеркале».

Соблазн двинуться в путь, расшифровывая символику Тарковского, повторяющуюся из фильма в фильм, — велик и объясним. Постоянные рефрены воды, раскрытой книги, свечи, пожара ориентированы на интерпретацию и открыты им.

Кино Тарковского как бы требует от зрителя способности к разгадке более, нежели к сопереживанию. Что ж, можно пойти по этому пути и показать, как это осуществляется в «Ностальгии».

Сюжет фильма — командировка некоего Андрея Горчакова в Италию, человека, попадающего в самые банальные и одновременно необычные ситуации накануне решенного и тем не менее отодвигающегося отъезда — всего лишь сценарная мотивировка для осмысления совсем иных задач.

Сюжет фильма — внутренняя жизнь героя, его сомнения, предчувствия и воспоминания. Сюжет фильма — второй, ирреальный план его реального существования. Как мерно, тягуче время фильма — от пробуждения к забвению.

Герой томим ностальгией по воссоединению не только с прошлой жизнью, с отчим домом, но и с первоосновами бытия — со своим детством, матерью, родным пейзажем... И сквозь них — с самим собой. И с тем старым русским композитором, о котором пишет. И с теми, кого знал или, может быть, узнает.

Я в детстве заболел

От голода и страха. Корку с губ

Сдеру — и губы облизну; запомнил

Прохладный и солоноватый вкус.

А все иду, а все иду, иду,

Сижу на лестнице в парадном, греюсь,

Иду себе в бреду, как под дуду

За крысоловом в реку, сяду — греюсь

На лестнице; и так знобит и эдак.

Повторяющиеся проходы, блуждания героя по городу — это бесконечный путь в стремлении удержать внутреннее равновесие.

Тарковский ставит фильм о спасении одинокого человека, преуспевающего, интеллигентного россиянина, оказавшегося на распутье. Фильм струится на грани воображаемого и сущего. Изнуряющего настоящего, прожженного тоской героя и его мучительной, безысходной рефлексией.

Это фильм — путь. Медленный, трудный, напряженный. И, в сущности, простой. Как вода, огонь, пепел. И так же до конца непостижимый. И при определенности своей — загадочный, смутный, как его зыбкий, приглушенный свет.

Льющаяся вода — постоянный рефрен, звукопись картины, во всяком случае доброй ее половины. Шум воды — это и реальный водопад, который где-то рядом, и потопление дома, и святой источник. Это, возможно, и метафора вселенского потопа, размывающего всякие, в том числе и «другие берега». Это метафора конца света, но и начало иной жизни. Это и омовение души, ее освящение.

Для меня очевидна какая-то странность, связанная со сложностью восприятия фильмов Тарковского. Со временем, видимо, именно она и будет расшифрована. Один западный журналист — без комплекса отечественных высоколобых — спросил режиссера, почему у него в картинах всегда вода. Тарковский раздраженно ответил: «Потому что я люблю воду». Нефилософический ответ интересен не столько как жест мэтра, позволяющего себе что угодно говорить, но и как случайное предостережение зрителям и критикам, готовым усматривать интеллектуальную подножку там, где требуется отдохновенное созерцание. Хочется поверить Тарковскому, что он «любит воду», что ему нравится ее снимать, что ему чисто изобразительно важна ее изменчивость и прозрачность, ее легкость и фактурная противоположность напряженным лицам персонажей, их обугленному нутру и статичному ритму картины...

Тарковский отождествляется с традиционными западными представлениями о русском художнике. Что такое русский художник в обыденном западном восприятии? Это трагичность и богоискательство. Почему Тарковский, минуя социальные причины, стал внятн Западу? Ощущение катастрофы XX века — это то, что сделало Тарковского «своим среди чужих». Крушение гуманитарной культуры, апокалипсис конца столетия имеет для западного сознания дополнительную угрозу физического истребления. Тарковский остается русским художником на Западе — «чужим среди своих», ставя под сомнение иллюзорную гармонию настоящего. Жертвоприношением он призывает к духовному прозрению, а значит, к возможному спасению человечества.

Какая уж тут радость бытия, когда мир на краю гибели, когда русский народ нечист на руку и якшается с татарами, когда Бога забыли, третья мировая война не сегодня завтра наступит, когда так называемой материальности поклоняются. Как говорил Андрей Рублев своему подмастерью: «И жрешь ты много, как после этого писать можешь». Сытый голодного не разумеет — вспоминаем мы народную мудрость. «Не буду я писать, — гневается Рублев, — кому это надо».

«Нервность во мне какая-то», — говорил деревенский мальчик Иван. «Понимаешь, — объяснял Тарковский Быкову, — скоморохи — это первая интеллигенция». «У меня совести нет, только нервы», — нудил писатель в «Сталкере».

Истерика с гордыней — черты национальной интеллигенции с наглядностью агитпрома* продемонстрированы уже в «Рублеве». В сущности, «Рублев» поставлен о том, что бездарность порождает предательство, а талант укрепляет могущество власти.

Стереотипы советского интеллигентского сознания: не быть пророком в своем отечестве и слыть пророком в узких кругах посвященных, ощущать свой долг перед человечеством, полагать, что высокое должно быть адекватно высокому, жертвенность — жертвоприношению, — формировала и образ Тарковского.

Индивидуальный путь Тарковского — это путь заложника поколения шестидесятников. С его риторикой и ангажированностью, гражданским пафосом и изнуряющей борьбой за «духовно-нравственные идеалы». В то время как по телевизору любимцы публики пели «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно...», — интеллигентные люди на взаимность не рассчитывали. Но жить как-то все же надо было, и стали соображать искать других коллективных бдений, скорбя о своем духовном бессилии, твердо уповая на свою нравственную силу.

То, что поэт в России больше, чем поэт, — известно давно. То, что Тарковский — больше, чем режиссер, теперь, кажется, известно всем. В 80-е годы новое поколение советских режиссеров, декларирующих о своем наследовании главному режиссеру страны Тарковскому, но лишённые трагической запутанности его мироощущения, камуфлируют свой стиль заимствованием «полых» художественных особенностей его кинематографа.

Можно было бы сказать — то, что являет собой феномен Глазунова на низовом уровне: русский художник, борец за «истинные духовные ценности», богач, притесняемый прогрессивной интеллигенцией, страдалец, поддержанный партией,

*Агитпропа? (Д.Т.)

правительством, самим народом, а также зарубежными неискушенными любителями искусства, — свое зеркальное, отражение имеет в феномене Тарковского.

Глазунов — больше, чем художник. Глазунов — народный художник в том смысле, каково наше представление о нашем народе. Давно стало дурным тоном произносить филиппики против него, тем паче искусствоведчески разбирать его незамысловато организованные коллажи, в которых «наше всё»: от Христа до Ленина, от Троцкого до Достоевского, от Маркса до Солженицына. Идеологическая направленность его произведений действует на общественное сознание (сознание непросвещенного большинства в противоположность просвещенному меньшинству почитателей Тарковского) гораздо сильнее, чем мало кому нужные дискуссии относительно их качества.

Начало биографий Тарковского и Глазунова не предвещало столь неожиданной, но в чем-то и логичной, эволюции двух типов русского советского художника, не пожалевших бы при гипотетической встрече друг другу руки. В энергии такого традиционного для советской культуры противостояния не мог не родиться художник легкого дара, примиривший «русскую идею» с общедоступным, но неклишированным эстетизмом. Никита Михалков. Тип удалого русского купца, тип оборотистого русского актера, выходца из именитого дворянского рода. Андрей Тарковский — тип бедного русского мальчика, ищущего Бога и самооправдания, как ищут в детстве приключений или женский идеал.

Один — баловень судьбы. Другой — неизбалованный сирота. Один может жить везде, как дома. Другой — не мог нигде, включая собственный дом. Один — нескованный условностями лихой талант с откровенной практической хваткой, вызывающий неприязнь либеральной интеллигенции. Другой — Художник и едва ли не религиозный мыслитель от кино. Искомый образ Творца: русского художника для Запада, образ задушенного Мессии — для России. Лучше уж верить в Тарковского, чем в развитый социализм, лучше уж проповеди слушать, чем выступления на партсобраниях. Наше всё — это наши крайности.

Дорогой Виктор Перельман!

Я читал эту статью с изумлением и восторгом. Глядя сквозь газетные строки на то, что происходит «там», — количество очердедей, которое по советским законам перешло в новое качество; безумную боязнь Верховных Советов принять решения, ради которых они собрались, и т.п. и т.д., очень трудно предположить, что нашлось столько людей, которые унесли «в катакомбы, в пещеры» ленинградских коммуналок слова, оставшиеся еще от тех времен, когда они (слова) имели смысл, и каждое — собственное звучание.

Если мы всерьез подумаем, что значит понятие «народ», то, конечно, пестрый коктейль разных рас и разных «расновидностей», который называют генетическим кодом (или — по-вульгарному — «кровью»), никакого отношения к понятию народа не имеет. Народ — это слово, язык. Поэтому-то публика, пользующаяся новоречью (будь это Брежнев или Горбачев, чтобы не заглядывать далее), давно поставила себя вне народа. И вот, оказывается, есть целая плеяда людей, которые положили жизнь, чтобы сохранить слово. Это то, что заставляет читать эту великолепно написанную статью с неослабевающим интересом, хотя, формально, она лишь перечисление имен и названий, многие из которых так и не дождалась настоящей типографской краски.

Я думаю, что если бы Вы решились напечатать эту штуковину, то многие были бы благодарны Вам за те чувства удивления и восхищения, которые они бы испытали.

Ваш Эраст ГЛИНЕР

Б. КОНСТРИКТОР

ДЫШАЛА НОЧЬ ВОСТОРГОМ САМИЗДАТА

**Нас осталось немного, и нам осталось
недолго.**

*Александр Введенский
«Некоторое количество разговоров»*

«Московская правда» от 5 мая 1990 года сообщила об открытии экспозиции «Самиздата» в Государственной публичной библиотеке.

В начале семидесятых всякий счел бы этот текст отрывком из утопического романа. В ту пору вернисаж такого рода казался возможным только в одном месте, и этим местом была отнюдь не библиотека. Еще не смолкло в Ленинграде эхо выстрела, которым оборвал свою жизнь замечательный поэт Леонид Аронзон. В Кустарном переулке, на открытии выставки в мастерской Владимира Овчинникова, мы слушали пленку: ушедший из жизни поэт читал стихи. А над выставкой (этапной в истории ленинградского андерграунда) сгущались тучи, и, глядя на аквариум с рыбками, все говорили, что эти рыбки скоро подохнут. Приходила милиция. Пришел один академик.

После закрытия выставки дверь в мастерскую разломали, и самая красивая из аквариумных рыбок была прибита к ней. Академик тоже вскоре умер.

ПАГАНИНИ ПИЩУЩЕЙ МАШИНКИ

Для многих — и для автора этих строк — открытие самиздата началось с открытия Малой Садовой. В магазине «Кулинария» был крошечный отдел, где продавали кофе. Двойной маленький с сахаром стоил тогда 8 копеек, а четвертной (его потом запретили — наркомания!) стоил 14 копеек. Что говорить о более крепких напитках!

На Малую Садовую — самую короткую улицу в Ленинграде — меня привел двоюродный брат, ныне живущий в Праге, поэт и прозаик А. Ник. Его, в свою очередь, также привел туда человек неординарной судьбы: выходец из глубокой провинции, он закончил здесь институт и стал инженером, потом Мухинское и стал художником, а потом стал тренером по горнолыжному спорту... Такая фантастическая смена профессий, резкие повороты судьбы характерны для людей, так или иначе соприкоснувшихся со «второй» культурой. Каждый, связавший судьбу с андерграундом, вынужден был с чем-то расстаться — с семьей, профессией или родиной.

Гражданином Малой Садовой был и один из первопечатников самиздата, поэт, прозаик и текстолог Владимир Эрль. Паганини пишущей машинки, Эрль выпускал книги свои и близких ему по духу поэтов воистину совершенные. С идеально ровным расположением строк на странице, они приближались к недостижимому тогда типографскому идеалу. Для определения количества знаков в строке использовались счеты, они всегда лежали рядом с пишущей машинкой. Отпечатанные с помощью двухцветной ленты красные заголовки и зеленая или иного экзотического цвета бумага были типичны для этих машинописных шедевров. Уникальное издательство, состоящее из одного человека, вначале называлось «Польза» (1965 — 1968), а потом было переименовано в «Палату мер и весов» (1971 — 1973). Чего только тогда не вышло в этой «палате», слава Богу, так и не ставшей палатой №6, что тогда было со-

всем нетрудно. Родители просто с каким-то остервенением пихали своих отпрысков в психушки, едва те начинали интересоваться футуристами или буддизмом. Не один такой напрочь заколотый карательной медициной молодой человек навсегда исчезал с малосадовского горизонта.

В изданиях Эрля начали жить жизнью, обращенной к читателю, Леон Богданов, Евгений Вензель, Борис Кудряков, Александр Миронов, А. Ник, Алексей Хвостенко и многие другие. С моей точки зрения, вышеназванные авторы — первоклассные поэты, прозаики и драматурги, и наконец-то приходит черед им найти своего читателя. Весомая заслуга Эрля состоит не только в безупречном репродуцировании и бережном хранении их текстов (что при частых переездах из одной коммуналки в другую — подвиг), но и в открытии особого слоя андерграунда, тяготеющего к абсурду.

В те годы проще, чем книгу, было увидеть авторов. И эти авторы приходили пить кофе (и не только), и все работало до 11 вечера. Поэтому в какую-нибудь недождливую белую ночь в «собачьем садике», расположенном напротив Дома радио, рядом с зимним стадионом, можно было увидеть сразу несколько живых томов «У Голубой Лагуны» (многотомная антология новейшей русской поэзии Константина Кузьминского и Григория Ковалева, на протяжении многих лет выходящая в Америке). На лавочках мирно курили Александр Миронов и Виктор Кривулин, Борис Куприянов и Петр Чейгин, А. Ник и Борис Кудряков... Появлялись Вензель, Ширали, Макринов... Изредка в садик заходил Константин Константинович Кузьминский, не любивший покидать свое лежбище на Бульваре Профсоюзов. Появление Кузьминского в те застойно-сонные годы производило на филистеров всегда шокирующее впечатление. Огромная грива волос, легкая трость и кожаные штаны привлекали внимание всех фланирующих по Невскому к будущему Невскому самиздатского подполья.

Не менее сильное впечатление производил ныне покойный Эллик Богданов. В каком-то невероятном плаще, с вечной сладко пахнущей папироской и по-особому прозрачным и острым, как алмазная грань, взглядом, Эллик не укладывался ни

в какие советские или антисоветские рамки. Здесь было достигнуто единство человеческой и литературной формы. Нечто подобное этому являл собой, быть может, Самюэль Беккет или Иван Гончаров.

Люди и книги, ими создаваемые, образовывали мощное силовое поле. Многие из попавших под его влияние, сами становились создателями книг. Это излучение неизбежно должно было быть как-то зафиксировано в культуре...

К сожалению, мы еще только начинаем изучать самиздат как часть культуры, и делают это, как правило, либо отдельные периодические издания («Родник», «Знание — сила», «Даугава» и др.), либо отдельные личности, например, Е. Голлербах, М. Трофименков у нас, Р. и В. Герловины на Западе. Литературоведческая наука, ставшая после всех свершенных над нею насилий ленивой и нелюбопытной, хранит равнодушное молчание, нищие книгохранилища бездействуют, чего не скажешь об их западных собратьях.

Поэтому, отправляясь в путь по ленинградскому самиздату, читатель должен запастись терпением, ибо он вступает на неисследованную землю, где нога массового любителя изящной словесности еще не ступала.

«37» И «СЕВЕРНАЯ ПОЧТА»

В шестидесятые годы ленинградский самиздат был представлен в основном авторскими изданиями и носил спорадический характер. Много и охотно издавал собственные книги Александр Кондратов, как бы ленинградский авангардистский двойник московского поэта Николая Глазкова. Даже ходили слухи, что «Галлимар» предложил ему издать четырехтомное собрание сочинений; до этого дело не дошло, но у многих лиц, причем не только в Ленинграде, хранятся собрания сочинений автора, собственноручно изданные им книги.

Вышло в самом начале десятилетия два выпуска альманаха «Призма», в 1965 году — малосадовский альманах «Gioret», где публиковались стихи Александра Альтшуллера, Леонида Аронсона, Евгения Вензеля, Дмитрия Макринова, Александра Миронова и многих других поэтов.

Журнальное самиздатское дело в семидесятых годах тоже началось со стихов. Так, в 1974 году Константин Кузьминский составляет поэтическую антологию «Живое зеркало». В ней было представлено четырнадцать авторов. До того, в самом начале семидесятых, благодаря стараниям Сюзанны Масси, на Западе вышла книга с аналогичным названием. В ней были представлены пять поэтов: Бродский, Горбовский, Кузьминский, Кушнер, Соснора. С издательницей книги Константин Кузьминский, с детства прекрасно владеющий английским, познакомился в Павловске, когда водил экскурсии для иностранцев. Такое перетекание тамиздата в самиздат является исключением, чаще бывало наоборот. Закономерным было перетекание самиздата в тамиздат, превращение куколки машинописи в бабочку книги (редкие экземпляры которой просочатся к авторам и русским читателям на родину, а остальные разлетятся по миру, чтобы осесть в зарубежных славистских центрах и отечественном спецхране).

В 1975 году была предпринята попытка официально издать коллективный сборник стихов под названием «Лепта». Предисловие к сборнику написал Б. Иванов, а составителем были Ю. Вознесенская, К. Кузьминский, В. Кривулин, Е. Пазухин. Сборник был предложен для безгонорарной публикации издательству «Советский писатель». Из затеи, как и следовало ожидать, ничего не вышло... Но на развалинах «Лепты» возникли два самиздатских журнала — «37» и «Часы».

Сразу отметим принципиальную неуничтожимость самиздата. Как будет видно из дальнейшего, гибель тех или иных проектов или прекращение выхода журналов вовсе не означали прекращения самиздатской деятельности вообще. На новом витке, на новом уровне те же люди опять начинали что-то издавать здесь или за границей. Если следовать терминологии Льва Гумилева, депонированное издание которого «Этногенез и биосфера Земли» тоже может быть отнесено к специфической разновидности научного самиздата, можно говорить о явном участии пассионарных сил в самиздатском движении, о его укорененности в ноосферных процессах конца XX века.

«37», журнал литературно-философско-богословского на-

правления, начал выходить с января 1976 года. Название соответствует номеру квартиры, в которой жили в первоначальный период два главных редактора журнала (Т. Горичева и В. Кривулин) и где собирались авторы этого издания, проводились религиозно-философские семинары.

Последний 21-й номер (ноябрь 1980 — февраль 1981) делался уже новыми силами. Это была попытка обновить журнал. Весь номер посвящался отъезду Т. Горичевой на Запад (туда же уехали члены редколлегии Л. Рудкевич, Н. Кононова). Сейчас, в полном соответствии с выведенным нами вектором пассионарности, Т. Горичева издает в Париже религиозно-философский журнал «Беседа».

Как продолжение журнала «37» можно рассматривать «Северную почту». Так же первоначально называлась книга стихов Иосифа Бродского, сданная еще в 1966 году в ленинградское отделение издательства «Советский писатель». Впоследствии автор изменил заглавие на «Зимнюю почту», но книга будущего нобелевского лауреата не соответствовала эстетическим требованиям Смольного и, конечно же, не вышла... А журнал «Северная почта» начал выходить с 1979 года раз в квартал. Главным редактором значился В. Кривулин, но практически этот журнал стихов и критики делал Сергей Дедюлин, который не указывал своего имени не только из скромности, но и в связи со своим трудным положением в тогдашней романовской вотчине. Вышло восемь номеров журнала в семи книгах. Здесь печатались поэты Д. Бобышев, Т. Буковская, В. Кривулин, З. Миркина, А. Миронов, О. Охупкин, Е. Шврац, В. Эрль. Помещались критические статьи Г. Померанца, Б. Сайтанова, К. Г. Юнга. Публиковались малоизвестные стихи Анны Ахматовой, Евгения Кропивницкого, стихи Заболоцкого и Мандельштама о Сталине.

Шестой номер был целиком посвящен сорокалетию Иосифа Бродского. В этом номере, в частности, были помещены внутренние рецензии на упомянутую невышедшую книгу стихов поэта, первое название которой стало названием журнала. В последнем восьмом номере перепечатана из самиздатского журнала «Диалог» анкета об А. Блоке. Такое хождение текстов из

одного журнала в другой было в порядке вещей. «Часы» выпускали номер на основе избранных материалов из «Обводного канала», не пренебрегал материалами «Часов» и «Обводной канал».

Редактор «Северной почты» С. Дедюлин был вынужден уехать из Союза, и выпуск журнала был прекращен. Теперь Дедюлин редактирует в Париже литературное приложение к «Русской мысли».

Проводы отъезжающих были тогда узаконенным ритуалом, совмещающим в себе одновременно черты именин и поминок. Я хорошо помню насквозь прокуренную большую комнату А. Ника на Петроградской и скопище народа в ней. В беломорном дыму разлитое море водки. И вот девятый год. А. Ник уже не пишет из своей Праги никому, а добрая половина провозжающих либо тоже уехала куда-то, либо окончательно погрузилась в свою обособленную жизнь. Один малосадовский авангардист давно стал монахом, биографии других складываются тем или иным образом; человеческие отношения, общественные системы меняются, но тексты остаются, они должны циркулировать в ноосфере. Самиздат, лекарь поневоле, не дал литературе умереть от закупорки вен.

«ЧАСЫ»

Аксакал ленинградских самиздатских журналов — журнал «Часы» — начал выходить с 1976 года. К настоящему времени вышло восемьдесят номеров журнала! Он выходит раз в два месяца объемом 250 — 300 страниц машинописи через 1,5 интервала. Предоставим слово бессменному редактору «Часов» Борису Ивановичу Иванову. На информационной встрече-диалоге редакторов независимых изданий 24 — 25 октября 1987 года в Ленинграде он говорил: «Вернемся в 1975 год. Чем была невыносима ситуация? Талантливые люди, которые могли составить славу нашей литературы, чувствовали себя обществу совершенно ненужными, более того, власть пыталась их убедить, что они не только не нужны, но для общества опасны, и их дальнейшее существование нежелательно. Люди впадали в депрессию, пьянствовали, эмигрировали. Существовало не-

сколько салонов, но они были под суровым надзором. В этой ситуации я считал, что журнал нужен для того, чтобы создать культурную микромодель нормального общества, писатель должен почувствовать, что он нужен другим, что от него ждут достижений. Уже то, что люди, которые просят дать для публикации произведения, печатают их, и журнал знакомит с его творчеством других людей, — уже одно это меняет одномерную и безнадежную картину мира. Мне не раз потом приходилось слышать признания: «Не будь журнала, я бы давно бросил писать».

Второе, что я понял: журнал должен быть спокойным, спокойствие — это та атмосфера, в которой нуждается пишущий человек. Он должен быть уверен, что составитель журнала не сорвется на крик и не поставит автора издания под удар. Нужно было приготовиться к бегу на длинную дистанцию

Думаю, что условия оказались действительно важными. Сколько прекрасно начинавших журналов было разгромлено!

...И последнее: журнал «Часы» представляется изданием культурного движения, а не какого-либо кружка, то есть стремился публиковать все достойное, независимо от вкусовых и тематических представлений составителей. Через год-полтора это был уже небольшой коллектив.

Итак, в 1976 году стал выходить журнал «Часы» — журнал лояльный, открытый всем веяниям независимой гуманитарии, способный выдерживать политические заморозки. Сам факт его существования в какой-то мере легализовал культурное движение, показал его преемственность и внутренние закономерности явления».

В «Часах» выступали В. Алейников, Л. Богданов, Б. Гройс, А. Драгомощенко, Б. Дышленко, Б. Иванов, В. Кривулин и многие другие.

Особенностью этого журнала была ориентация сугубо на внутренние резервы, без контактов с зарубежьем. Отсюда и специфический демократизм журнала, в силу которого право на первую публикацию предоставлялось почти каждому представителю пишущего подполья, чего не скажешь о праве на вторую или третью, здесь все решал талант автора. Но таким

образом «Часы» стали своеобразным индексом второй ленинградской литературы, хранилищем текстов мира андерграунда двух последних десятилетий.

«ОБВОДНОЙ КАНАЛ»

В осознанной эстетической оппозиции по отношению к «Часам» начал выходить с 1981 года журнал «Обводной канал». Два его постоянных редактора, выпускники кафедры русской литературы ЛГУ Кирилл Бутырин и Сергей Стратоновский ориентировали свое издание на лучшие образцы журналистики конца XIX — начала XX века. «Обводной канал» возник из предшествующего ему издания «Диалог», выдержавшего три выпуска и помещавшего главным образом критические и полемические материалы.

В отличие от «Диалога» «Обводной канал» — журнал универсальный, он включает как художественную литературу, так и статьи на литературоведческие, философские, искусствоведческие темы. До настоящего времени вышло пятнадцать номеров.

На упомянутой встрече редакторов Кирилл Бутырин так охарактеризовал импульс, побудивший его к созданию журнала: «Даже в те тяжелые времена начала восьмидесятых годов нам хотелось создать внутри неофициальной культуры условия для плюрализма, конкуренции, чтобы поднять качество художественной продукции. Мы хотим, чтобы высказались все, кто не вошел в обиход официальной литературы, чтобы выразить в новом органическом единстве, каким является по идее журнал, свое мировоззрение, мироощущение, свои вкусы. Культура, религия, нация, бытие — вот ценности, которым стараются служить наш журнал».

В журнале печатаются Елена Шварц, Виктор Кривулин, Олег Охапкин, Владимир Эрль, печатаются уехавшие на Запад Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Игорь Бурихин, Юрий Кублановский.

В прозе «Обводного канала», исключительно ленинградской, мы видим повесть Михаила Берга «Между строк, или читая мемурии, а может, просто Василий Васильевич», «Фук-книгу»

Владимира Лапенкова, «Людмилу» Бориса Дышленко, «записки блудного сына» Бориса Ванталова, а в литературной критике — прежде всего две статьи Елены Игнатовой: «Соблазн пошлости» (о Вознесенском) и «Кто мы?». Последняя статья, напечатанная в 1983 году, представляет собой критический анализ «второй культуры» и не потеряла своей актуальности до сих пор.

У «Обводного канала» есть переводческое приложение «Мост»: вышло три номера, где публикуются статьи по эстетике, философии, литературоведению.

Сейчас журнал все больше внимания уделяет религии и философии. Вот, например, острая полемическая статья А. Мальчевского «Ancilla alogiae» (культура авангарда в свете феномена «летающих тарелок»). Автор рассматривает авангард не только как явление, свойственное искусству, но также науке и философии XX века. При этом он относится в авангарду отрицательно, как к проявлению некой болезни духа.

«ТРАНСПОНАНС»

Вот в эту, с позволения сказать, «болезнь духа», которую, например, Новалис называл «напоминанием о высшей родине», а склонный к суровой конкретике Илья Зданевич — «жемчужиной», нам и предстоит погрузиться: речь пойдет об авангардистском самиздатском журнале «Транспонанс». Кстати сказать, вхождение в плотные слои самиздата началось для меня со знакомства с редакторами этого журнала Сергеем Сигеем и Ры Никоновой. И к этому знакомству приложили свою «лапу» обернуты. Сигей состоял в переписке с последним из оставшихся в живых членов «Объединения реального искусства» поэтом Игорем Владимировичем Бехтеревым. Он и познакомил Владимира Эрля с Сигеем... Однажды в келье Владимира Ибрагимовича...

Впрочем, эта келья заслуживает отдельного абзаца. Комнатка в коммунальной квартире, одну из стен которой образует стеллаж, простирающийся от пола до потолка, причем книги на этом стеллаже не стоят так, как принято в цивилизованном мире, а лежат стопками (из экономии места), и опре-

делить наименование того или иного издания не представляется возможным. Хозяин этой необычной библиотеки свободно ориентируется в тысячах невидимых миру наименований, и словно фокусник вытаскивает из предельно единообразной книжной массы нужный ему фолиант. Впрочем, иногда бывали и сбои, тогда Эрль проводил в созерцании часы против этой стены, пока медитация не увенчивалась желанной находкой. На стеллаже книги вскоре перестали помещаться. Складываемые на стол и подоконник, они почти совершенно заслонили окно. А еще папки с рукописями...

Так вот, в этой абсурдистской келье я и встретил Сергея Сигея на рубеже восьмидесятых годов. Он демонстрировал Эрлю свои и Ры книги, сделанные при помощи трафарета. Название одной из них сохранилось в памяти — «Одуряка». Буква «д» демонстрировала читателю увесистую футуристическую фигуру...

Еще в недалеком прошлом Сигей был редактором основанного Ры Никоновой в 1965 году в Свердловске журнала «Номер». Это издание просуществовало до 1975 года, выпорхнув из недр «Уктусской школы» (Е. Арбенев, В. Дьяченко, Ры Никонова, А. Галамага, С. Сигей и многие другие — по преимуществу художники). Галамага покончил с собой в двадцать один год, оставив сотню рисунков и десятков стихов. Воспоминания о нем были помещены в одном из первых номеров «Транспонанса».

Свердловский «Номер» был «открытым» журналом, главным в нем был отдел «Впиши свое». Он выходил только в одном экземпляре, но на каждой странице благодаря колонке «Критика» в нем участвовало очень много народу. Стихи, помещавшиеся в журнале, были по преимуществу абсурдными и сюрреалистскими, с 1970 года — заумными и абстрактными.

Начиная с 1974 года Ры и Сергей живут в своем доме на берегу Азовского моря в городке Ейске, где в 1978 году они произвели на свет идею трансфуризма, которую Сигей и транспортировал в Ленинград в вышеупомянутую келью.

«Сохранить нить поэтического авангарда, то бишь перелить в себя, пропитать собой, перенести в чужое, пронести сквозь

подобное, передать всем, пронзить все». Так определялся трансуризм в «Трансфур-манифесте I».

Надо отдать должное ейским подвижникам авангарда, все эти задачи они блестяще выполнили. Для реализации этого направления и начал издаваться журнал «Транспонанс». Первые его выпуски представляли собой тексты исключительно Ры и Сергея, потом к ним присоединился автор данной статьи, Эрль, Арбенев, Пригов, Уфлянд, Лен, Звездочетов, Сапгир... Перечислять можно долго. От художочных первых номеров, без особых изысков отпечатанных на машинке, последующие и особенно последние выпуски отличаются разительно.

Впрочем, у нас есть возможность предоставить слово независимому комментатору, исследователю русского авангарда из США, профессору Джеральду Янечку, который дает подробное описание имеющихся у него номеров «Транспонанса» в Венском славистском альманахе за 1987 год.

«Под рукой №24, сентябрь — октябрь 1984 года, 137 страниц, один из первых, оставляющий впечатление одинаково высокого качества содержания; начинается с рисунка на обложке Владимира Уфлянда: ветвистое дерево русского алфавита, произрастающее из почвы разнообразных мистических символов. Фронтиспис — буквенный коллаж из списка имен знаменитых литературных фигур: «Раблейкин» / Гюго-голь / Бодлермонтон / Рабиндранат Пинкертон», здесь воспроизводится коллективная декларация — пародия группы «Атомистов» (Москва, 1930-е годы) на сюрреалистические «генеалогии».

В начале регулярного теоретического раздела — «Древо русского стихосложения» Владислава Лена, который представляет чертеж-генеалогию периода 1955 — 1980 годов, где значительные поэты и тенденции этих десятилетий взаимосвязаны... Автору видятся три главных корня поэтической деятельности: Клюев, Крученых — Хлебников, Мандельштам — Пастернак. В чертеже различные фигуры и группы отчетливо идентифицированы. Я думаю, что даже большинство хорошо информированных обозревателей найдут полезные даты в «древе».

Раздел практики содержит субстанциальные стихи Льва Кропивницкого (1962 — 1981), Никоновой, Констриктора и Сигея, плюс несколько стихов Феофана Буки, Бахтерева и А. Ника.

Наиболее удачные в этом разделе — никоновские «жестовые стихи», в которых индивидуальные слова и фразы сопровождаются рисунком фигуры или руки, что связано с вербальным материалом таинственным образом. Этот жанр глубоко развит Никоновой, он — фокус некоторых ее сольных книг. Никонова в этой и других работах показывает себя наиболее многообразной и изобретательной в группе, в то время как другие возделывают традиционный футуристический сад, хотя и с порядочными результатами. (...) Наиболее интересен с литературно-исторически-информационной точек зрения для советских читателей, возможно, библиографический раздел, в котором Сигей описывает и представляет в русском переводе и транскрипции фрагменты Ильяздовской монументальной «Поэзии неведомых слов» (Париж, 1949), одной из величайших книжных работ и первой интернациональной коллекции трансрациональной поэзии, с литографиями Пикассо, Брака, Миро, Леже и др. и стихами Арто, Биду, Приена, Ильязда, Поплавского, Швиттерса, Сейфора (упоминаются только поэты, представленные в «Транспонансе»).

В разделе публикаций — крученыховские «Арабески из Голя» (поздний период, дата не дана). В хронике дано краткое описание выступления транс-поэтов в 1984 году и короткое интервью с Бахтеревым по поводу этого выступления.

Выпуск №25 (ноябрь — декабрь 1984) «Транспонанса» грандиознее всех других, — продолжает свое описание Дж. Янечек. — В обложке, обтянутой дамасским шелком, 343 страницы текста, плюс многочисленные фотографии, коллажи и даже серьезные оригинальные художественные работы. В дополнение к написанному обычными участниками выпуск включает в себя теоретическое эссе Ильи Кабакова «Автор смотрит на свою работу дважды», длинную заумную поэму Бахтерева «Лу» (1954 — 1984) и прекрасную литографию Анатолия Васильева к крученыховской «Игре в аду».

Важным в разделе публикаций представляется полный текст «Слова о подвигах Гоголя» Крученых (1943 — 1944), с ценными комментариями Сигея. В комментарии к разделу практики Сигей снабжает также полезным толкованием свою и других поэзию словесных фрагментов («откусы»). То есть, фрагменты представляют собою зримую часть первоначального семантического импульса, отсутствие полного слова побуждает заполнять промежутки самым разнообразным путем.

В разделе библиографии Сигей представляет «пересказ» чичеринского «КАН-фуна» (1926), ключевого текста конструктивизма. Чичерин, герой группы трансфуристов, оказывается виновником удивительной связи между последней и автором настоящего обзора. Реферируя мою краткую статью о Чичерине, Ры Никонова острит: «Сейчас даже американцы взялись за него, в то время как журнал «Транспонанс» пропагандирует его с 1979 года». Дайте нам время, мы, американцы, немного медленны на подъем. Тем не менее поражает, что советские могут быть так хорошо информированы даже о мелких событиях на Западе».*

Вежливое академическое брюзжание профессора из Кентукки, иногда переходящее в искреннее удивление и нечто напоминающее восторг, перешло бы в истошный вопль, если бы ему пришлось собственноручно склеить, разрезать, сбросировать, а главное, срежиссировать пять экземпляров такого трудоемкого хотя бы в плане ручного труда журнала, как «Транспонанс».

Открытость свердловского журнала «Номер» была унаследована «Транспонансом», который стал изданием чуть ли не всесоюзным... Москва, Ленинград, Свердловск, Одесса были представлены в тридцати шести номерах журнала. Теперь Ры Никонова и Сергей Сигей активно работают в мэйл арте (почтовом искусстве), устраивают в ейском художественном музее международные выставки (их состоялось уже четыре) и планируют издание международного мэйл-артистского журнала.

*Gerald Janecek (University of Kentucky). "A Report of Transfurism," Wiener Slawistische Almanach, Band-19, 1987, pp. 127-130. См. также статью Ры Никоновой-Таршис «Трансфлейта», Искусство, №10, 1989, стр. 51-53.

Впрочем, подвижничество лежит в основе существования самиздата в целом. Разве не достаточно внушителен «александрийский столп» «Часов» — восемьдесят номеров журнала плюс двадцать томов приложения каждый толщиной около пяти сантиметров? И это делается, как правило, двумя людьми... А в качестве гонорара пристальное внимание компетентных органов.

«МИТИН ЖУРНАЛ»

Этот самиздатский ренессанс непосредственно перекликался с выставочным движением и образованием клуба литераторов в 1981 году. История того и другого феноменов требует специального внимания и выходит за рамки настоящей статьи. Достойный мультфильма поединок левиафана и пишущей машинки завершился победой последней, хотя героическая попытка неофициальной культуры заштопать гигантскую дыру между серебряным веком и нашим временем была изначально обречена на провал, но ведь героем истории, согласно словам китайского крестьянина о Конфуции, становится тот, «кто знает, что сделать ничего нельзя, и все же пытается что-то сделать».

Один из лучших самиздатских журналов современного Ленинграда, «Митин журнал» (МЖ) начал выходить с 1985 года. Его издатель Дмитрий Волчек, в отличие от сорокалетнего поколения редакторов предшествующих журналов, молод, он родился в середине шестидесятых, когда первые проблески самиздата осенили сгущающиеся сумерки эпохи застоя. Еще чуть ли не в школе Волчек издавал журнал «Молчание», растянувшееся на десять номеров. Но настоящей митиной любовью стал, конечно, «МЖ». Сейчас вышло более тридцати номеров журнала, который в отличие от остальной самиздатской периодики более ориентирован на молодежную культуру. Наверное, поэтому раздел полемики озаглавлен «Военные действия». Пятилетку по сравнению с нашей промышленностью, обреченной самиздат на допотопный способ распространения с по-

мощью пишущей машинки, «МЖ» блестяще выполнил. Здесь напечатаны поэзия и проза таких интересных авторов как А. Альтшулер, А. Бартов, Е. Вензель, Д. Волчек, В. Гаврильчик, Ю. Галецкий, М. Еремин и многие другие.

«Название «Митин журнал» у многих вызывает улыбку, — свидетельствовал сам редактор журнала на упомянутой встрече редакторов 1987 года. — Однако речь идет об издании солидном. Журнал (...) издается регулярно шесть раз в год, объем каждого номера — 300 страниц и более, так что, я думаю, хотя бы по объему журнал может конкурировать с официальной ленинградской «Невой», «Авророй» и т.д. (...) Большое внимание мы уделяем так называемой «левой» литературе — т.е. текстам формалистически новаторским, авангардистским. Надо сказать, что литература такого рода, несмотря на свою видимую аполитичность, практически не печатается в СССР с конца двадцатых годов. Более того, официальные редакторы, как правило, связывают политическую нелояльность автора с тем, что он, к примеру, пишет стихи без запятых или не употребляет прописных букв, а только строчные. Это абсурд, но абсурд вполне объясним: со сталинских времен принято, чтобы советский автор следовал канонам XIX века: стихи должны быть с рифмой, метрически организованы, проза сюжетной и т.п. Так что колоссальный пласт литературы новаторской, авангардистской для советских издателей вот уже больше полувека как бы вовсе не существует. Если судить по анонсам литературных журналов, положение это не должно измениться в ближайшее время, так что эстетическая цензура выходит долговечнее и прочнее политической. Значительное место «МЖ» уделяет переводам современной зарубежной прозы и поэзии. Оказывается, и здесь ситуация неблагоприятная. Возьмем статистику официальных переводов. На первом месте по тиражу переводов и количеству переизданий в СССР — Джеймс Олдридж. А спросите любого английского филолога или просто читателя — знает он такого прозаика? Уверен, что не знает».

Читатели «МЖ» тоже не знают Олдриджа, зато хорошо знают С. Беккета, Х. Л. Борхеса, Бориса Виана, Г. Гессе, И. Во,

М. Дюра, А. Зингера, Ф. Кафку, Ж. Кокто, Р. Кено, К. Маккерллес, С. Мрожека, Т. Уайлдера, Б. Шульца.

«МЕТРАДОР», «ГРААЛЬ» И ДРУГИЕ

В самиздате восьмидесятых годов мы видим журнал переводчиков «Предлог», выходящий раз в сезон, объем 100 — 130 страниц, вестник общества изящной словесности, возникшего на кафедре классической филологии ЛГУ, журнал «Метрадор».

И наконец выходящий с февраля 1980 по февраль 1984 года журнал «Грааль», все члены редколлегии которого учились тогда в театральном институте. Три номера были посвящены театру. На первом плане в этом издании был теоретический отдел. В каждом номере — статьи Аркеля на эстетические темы с преобладанием темы театра, а также статьи и интервью Е. Пуссера, Вс. Некрасова (Москва), К. Такового (Москва). Художественный отдел в основном складывался из творчества московских авторов, а также прибалтийских и ленинградских.

Принцип всеобщности, равноправия эстетических программ не оправдал себя, об этом было объявлено в предисловии от редакции «Грааль — Реквием» в последнем выпуске журнала. Возникла необходимость создать новое издание на качественно новом уровне. В 1984 году начинает выходить журнал «Опыты», ориентированный на определенный круг прежних ленинградских авторов, теоретиков и практиков, а также студентов и выпускников политехнического института. Практиковалась критика непосредственно напечатанного в журнале. Редакторы «Опытов» — Аркель и Г. Миропольский. Журнал выходил в течение одного года, вышло пять номеров. Здесь публиковались фотографии сцен из спектаклей, рисунки к ним и даже оригинальные акварели.

В это же время возникает «Театральная лаборатория Вадима Максимова». На ее спектакли оказали существенное влияние теоретические работы, публикуемые в «Опытах», а сами спектакли рецензировались в журнале.

В №3 «Опытов» была сформулирована «Позиция», которая явилась программой для дальнейших действий. Это осмысле-

ние искусства как катартического процесса, отсюда разработка теории катарсиса. Вообще, творчество рассматривается как естественная человеческая потребность и наиболее приемлемая форма условий существования, органическая функция человеческого организма. Позиции «Опытов» разделяет журнал «Выход», начавший выходить с 1988 года на Украине.

Помимо Бюллетеня Театральной лаборатории, который выходит шесть раз в год с 1985 года и освещает работу студии В. Максимова, издаются Сборники манифестов режиссерского театра. Это сугубо научное издание, состоящее из текстов, публикаций с обширными комментариями. Первый выпуск (1986) содержит тексты Метерлинка, Маринетти, Арто и Гротовского. Во втором — тексты Хлебникова и Терентьева, в третьем — Леонид Андреев и русский экспрессионизм.

Наше путешествие по самиздату и ковавшим для него кадры ленинградским высшим учебным заведениям закономерно заканчивается в Педагогическом институте имени Герцена, выдающегося деятеля отечественного тамиздата. Два преподавателя русской литературы, Алексей Гурьянов и Александр Новаковский, начали издавать в 1988 году — уже с помощью ксерокса — журнал традиционной петербургской культуры «Сумерки». Тираж журнала перевалил за двузначное число. К настоящему времени вышло десять номеров. Благодаря ксероксу журнал позволяет себе привлекать к сотрудничеству художников и визуально оказывается более привлекательным, чем его старшие братья. Однако «Транспонанс» в этом плане остается непревзойденным.

В идеале редакторы этого издания стремятся, чтобы работа над ним приводила к переходу журнала в книгу, прихотливо построенную по законам поэтического сборника (внутренняя рифма, расположение материала по принципу контраста, симметрии или дополнительности).

Подобного же эффекта внутреннего единства стремится достичь альманах авангардистской ориентации «Черновик», три номера которого уже вышли в Нью-Йорке. Это издание, редактируемое Александром Очеретянским, начало выходить с весны 1989 года. Помещенное в первом номере обращение к читателям проникнуто горькой «тамиздатовской» иронией:

«Когда-то в студенческие годы у нас был популярен тост: «За успех безнадежного дела». Вслед за «Ами», «Ковчегом», «Муллетой» мы продолжаем работу, которая не может быть приостановлена. Сколько просуществует наш альманах — никто не знает. Но дело свое мы делали, делаем и будем делать».

Классический русский вопрос «что делать», как видно из всего вышесказанного, для самиздата не существует.

Как в России, так и на Западе улитка самиздата тихо-тихо ползет к высотам Олимпа. Где-то по пути угасли парижское «Эхо» и ленинградский «З7», многие другие издания... Но кто бы мог подумать, что подпольная линия развития русской литературы, в лице Иосифа Бродского, будет увенчана Нобелевской премией, а две параллельные самиздатские прямые — сам- и там-издата — пересекутся не в бесконечности, а на страницах советских официальных изданий 90-х годов.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оглядываясь на этот путь, занявший не один десяток лет, можно сказать, что самиздатская Атлантида, словно в кино, когда используется обратная съемка, начинает выступать из затхлых глубин безвременья. Теперь мертвым и оставшимся жить предстоит вступить в общение с читателем уже не при помощи пишущей машинки (отбираемой когда-то компетентными органами как средство распространения), а через линотип и компьютер. Не затеряются ли в гуттенберговской галактике ночные фиалки эпохи застоя? Ответ на этот вопрос может дать только время. Но в истории русской литературы, русской журналистики наверняка сохранятся названия самиздатской периодики, которая в тошнотворной атмосфере всеобщего холуйства дала возможность российским литераторам сохранить честь и достоинство.

Государственная машина, потратившая столько сил на борьбу с «безнадежным делом», Союз писателей, переживающий свой Армагеддон, пытаются теперь прибрать к рукам неофициальную литературу, но ситуация, слава Богу, меняется, и бывшие самиздатчики начинают самостоятельно выплывать на поверхность. Уже вышли два выпуска «Вестника новой литературы» (главный редактор, широко известный в самиздате,

Михаил Берг); рижский журнал «Третья модернизация», издаваемый А. Сержантом, также прибил к берегу гласности. Независимые издательства выпускают книги Л. Аронсона, Б. Кудрякова, Е. Шварц... В третьем выпуске «Вестника» наконец начнет печататься проза Л. Богданова, а новоиспеченный альманах «665» собирается печатать пьесы А. Ника.

И все же есть какая-то безмерная печаль в том, что слава настигает поэтов и писателей второй литературы, неважно здесь или там, когда их жизнь уже на излете. Можно вспомнить Леона Богданова, получившего незадолго до смерти самиздатскую премию имени Андрея Белого, учрежденную журналом «Часы», или уже обреченного Венедикта Ерофеева, дающего интервью телекорреспонденту, или Сергея Довлатова, к которому только-только начала благоволивать фортуна... Да, мартиролог самиздата обширен.

Этот дикий, несправедливый недобор судьбы и есть самое страшное преступление государства перед отдельно взятой личностью и всем народом. Тоталитарный режим не мог простить «тамсамиздату» того, что он манифестировал право личности на внесударственную судьбу, не сводимую к тем или иным изыскам господствующей идеологии. Об этом в некрологе памяти Сергея Довлатова Владимир Уфлянд говорит так: «Он был из тех нескольких сотен величайшего достоинства мужчин и женщин, от которых большевистская империя извлекалась всеми неправдами, надеясь этим протянуть неопределенное время свое идиотское существование».

Перестройка, которую честнее было бы назвать крахом, подходит к своему логическому концу. При первых проблесках медленно наступающего утра мы стряхиваем ночные кошмары и с удивлением открываем для себя бодрую свежесть антидемагогического мира, который предлагает нам равноправные отношения со всеми формами рожденного им искусства. Будем же помнить, что в этом пробуждении немалую роль сыграла пишущая машинка самиздата, сумевшая не только выстоять в суровом поединке с левиафаном, но и победить.

*Октябрь — ноябрь 1990
Ленинград*

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО



София ХЕНТОВА

ЖЕНЩИНЫ В ЖИЗНИ ШОСТАКОВИЧА

Странная тема. До недавних лет в СССР даже запретная, хотя к политике не относилась и не относится. Ложь и ханжество распространялись на то, что именуется личной жизнью художника, его интимным миром. Об этом, если и писалось, то вскользь, мимоходом, осторожно, с сухой информативностью. Редакторское перо беспощадно вымарывало подробности. А когда какие-то любовные, семейные публикации неожиданно пробивались на поверхность, это вызывало гнев и осуждение: памятливые разносы по поводу обнаружения писем Чехова к Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой, писем Маяковского к Лиле Юрьевне Брик.

Правда, делались исключения для тех, кто давно канонизирован: любовные перипетии Пушкина, Лермонтова, несколько скупее — Некрасова, Тургенева, дается место для дискуссий о взаимоотношениях Льва Толстого с женой Софьей Андреевной. Между тем, личность неотделима от творчества и очевидна истина, что исключая интимные стороны биографии, мы тем самым обедняем понимание художника, проникновение в его творчество, которое всегда, в большей или меньшей степени, отражает и чувства любовные, семейные.

Сколько страниц о семейных обстоятельствах и переживаниях Шостаковича вычеркивалось в моих биографических книгах о нем! Какой бы ни была их направленность и «акценты», неизменным оставалось

одно: требование «идеологической чистоты» и эмоциональной сдержанности в освещении любовных чувств. Достижением сочла, когда в двухтомнике «Шостакович» удалось рассказать о первой жене Нине Васильевне Варзар, упомянуть вторую — Маргариту Андреевну Кайнову, отметить роль третьей жены — Ирины Антоновны Супинской, скрасившей его последние тринадцать лет, и упомянуть ранние чувства к Наталье Кубе, Татьяне Гливенко, Елене Константиновской, планы женитьбы на Галине Уствольской.

Это было сделано сдержанно, строго и даже с некоторой опаской. Между тем, следы любовных чувств, пусть и не так, как у Шумана, все же остались в его творчестве, влияли на философию жизни, а в конце пути и открылись с исповедальной полнотой и глубиной.

* * *

Он был от природы очень эмоционален. Человек, которого впоследствии не раз назовут формалистом, придумывавшим музыку, в действительности жил чувствами, страстями, мгновенными переживаниями: это было изначальным и в творчестве и в отношениях с людьми. Можно сказать, что Шостакович обладал гениальной интуицией, которая диктовала и его поведение и творчество.

Диалектика заключалась в сочетании вулканической эмоциональности и самодисциплины. Цельность характера определялась его глубинной конфликтностью. Это тонко подметил Михаил Зощенко, писавший о Шостаковиче: «В нем — огромные противоречия. В нем одно зачеркивает другое. Это — конфликт в высшей степени».*

Еще в тринадцатилетнем возрасте он оставил такой знак в творчестве — среди ранних прелюдий соч. 2, наряду с посвящениями сестре-пианистке Марии, есть и посвящение, зашифрованное инициалами — Н. К., которые долго никем не расшифровывались.

Не станем отвлекать читательское внимание на рассказ о поисках таинственной «Н.К.» — это происходило вполне в стиле занимательных историй Ираклия Андронникова. Помогали многие: ныне покойная старшая сестра Шостаковича Ма-

*Цит. по Шагинян М.С. 50 писем Д.Д.Шостаковича. Новый мир, 1982, №12, с. 133.

рия Дмитриевна, его друзья, композитор Дмитрий Борисович Кабалевский и его жена. В конце концов выяснилось, что «Н.К.» — Наталья Николаевна Кубе, которую я искала в Ленинграде, жила на Урале, в Ташкенте. Из-за своего «социального происхождения» и брака с немцем она только на склоне лет получила право возвратиться в родной город, скромной пенсионеркой после десятилетий преподавания, став к тому времени уже признанным экономистом.

Нас, можно сказать, свел на своем авторском концерте Д. Б. Кабалевский, с семьей которого Наталья Николаевна давно дружила. Мы стали часто встречаться. Были в Наталье Николаевне простота, достоинство и естественность. Наблюдая ее характер, я заметила, что ей присущи многие черты, привлекавшие Шостаковича в женщинах. Красота значения не имела — она его даже пугала. Нравились миловидность, доброта, мягкость — тип женщины, столь проникновенно обрисованный И.С.Тургеневым. Удивительно, что подросток смог ощутить эти черты в десятилетней девочке.

1919 год. В Петрограде голод. Чтобы подкормить сына, Софья Васильевна Шостакович устраивается на несколько недель в пансионат в Лесном. Туда же приезжает с дочерью Наталья Карловна Кубе — жена петроградского врача. Знакомятся, говорят о детях, о тяготах жизни, о новой власти. Десятилетняя Наташа весь день резвится возле пансионата, тринадцатилетний Митя Шостакович в детских играх не участвует: он готовится к поступлению в консерваторию. Изредка мать его буквально выгоняет из дома, к детям, чтобы отдохнул. Наташа не обращает внимания на невзрачного плохо одетого подростка — в кепке, толстовке и больших, не по росту, башмаках.

Дети затевают представление: басни Крылова разыгрываются, как маленькие сценки. Митя тоже в этом участвует — актерски изображает две басни — «Стрекоза и муравей» и «Осел и соловей». Наташу он никак не выделяет, да и в памяти девочки едва сохраняется эта недолгая встреча.

Проходит двадцать лет. У Шостаковича, уже семь лет женатого, заболевают дети: дочь Галина и сын Максим. Встре-

воженный, он приглашает для определения диагноза и лечения старого врача Николая Николаевича Кубе. Когда осмотр закончен и предписания сделаны, Шостакович, провожая врача, робко спросит: «А как ваша дочь? Где она?». И добавит: «Я ее помню».

Ничто у Шостаковича не проходило бесследно. Прелюдия с посвящением Н.К. будет написана в 1919 году, сыграна А. К. Глазунову при поступлении в консерваторию. Всего юный Шостакович сочинит восемь прелюдий, те пять, что сохранятся, долго будут лежать в личном архиве консерваторского приятеля Г.Я.Юдина, который их опубликует уже после смерти Шостаковича. И музыку к двум басням Крылова, когда-то инсценированным детьми в Лесном, Шостакович тоже сочинит, для голоса с оркестром. После его смерти их исполнит певица Л.Филатова с оркестром под управлением Григория Рождественского.

Об этом Наталья Николаевна Кубе, несмотря на дружбу с Кабалевским, живя в Ташкенте, не знала. Не было ей известно и о посвящении прелюдии соч. 2. Прочитала об этом случайно, в книге «Молодые годы Шостаковича».

Когда этот своеобразный маленький роман стал известен, ее начали преследовать журналисты: Наталью Николаевну стали фотографировать, о ней стали писать. Напрасно она убеждала, что это было не более чем детское увлечение.

Первая любовь Шостаковича интересовала людей. В самой ее мимолетности, невысказанности, в том, что была она выражена только в музыке, сказывалась натура гения, для которого музыка уже с детства становилась чем-то главным, единственным.

* * *

Но вот к лету 1923 года относится зарождение любви настоящей, глубокой, трудной, оказавшей влияние на всю дальнейшую жизнь композитора.

Этим летом Мария и Дмитрий Шостаковичи отправились в Крым, в Гаспру, где Дмитрий, заболевший туберкулезом внутригрудных лимфатических желез, должен был начать курс ле-

чения. Болезнь сына повергла Софью Васильевну в ужас. Год назад от легочного заболевания умер отец Дмитрий Болеславович, туберкулезом болели многие из родственников.

Хоть и были бедны, собрали немного денег, продали рояль. Художник Б.М.Кустодиев, лечившийся в Гаспре, в санатории Дома ученых, устроил так, что Шостаковичи тоже питались в этом санатории, а комнатку сняли неподалеку. В столовой они оказались за одним столом с Таней Гливенко — семнадцатилетней москвичкой, посланной для поправки здоровья после окончания школы.

Митя и Таня подружились, вместе гуляли, иногда он играл для отдыхающих Листа, Шопена, кое-что свое.

«Мы еще были как дети, — вспоминала позже Т. Гливенко. — Я была тоненькая-претоненькая. Он был очень общительным. Веселились. Бегали купаться, но ему купаться не позволялось, видимо, из-за недавней болезни. Иногда он садился за стол на веранде, что-то писал на нотных листах и просил меня: «Посиди рядом».

Они были сверстники, родились осенью 1906 года, — как и все их поколение, рано повзрослели, любовь их была светлой, тихой и радостной. Гливенко уехала раньше Шостаковичей, и Дмитрий писал ей: «Теперь на твоём месте в столовой сидит какая-то толстая дама и это очень неприятно». Тоскуя, он много работал: у него уже сложилась привычка, вернее психологическая особенность, — переживания, невзгоды обращали к активному творчеству. Так было в 1922 году, после смерти отца, когда появилась Сюита для двух фортепиано. В следующем году — памяти погибшего от туберкулеза друга-поэта Владимира Курчавова посвящаются виолончельные пьесы. Трагический 1937 год — дата Пятой симфонии, 1948 — цикла «Из еврейской народной поэзии», и т.д.

Точная дата Трио для фортепиано, скрипки и виолончели устанавливается по письмам к Т. И. Гливенко. Начало работы — август 1923 года, Гаспра, откуда тотчас сообщил Татьяна: «Посвящается тебе, если ты ничего не будешь иметь против».

Торопясь познакомить Гливенко с посвященным ей Трио, Шостакович послал ей в Москву со своим приятелем Михаи-

лом Квадри полный эскиз партитуры, но адресату его Квадри не передал.

13 декабря 1923 года Трио, переименованное вследствие одночастности в Поэму для скрипки, виолончели и фортепиано, было сыграно в концерте студентов-композиторов и, как писал учитель Шостаковича М.Д.Штейнберг, «произвело прекрасное впечатление».

Трио заметно отличалось от других тогдашних сочинений Шостаковича своим лиризмом, и, видимо, немалую роль сыграло первое большое чувство — приходило более глубокое проникновение в мир, в переживания человека. Тема Трио — стремления человека к высоким целям жизни — становится ведущей, постоянной темой творчества Шостаковича, которую он с удивительным для молодого композитора совершенством воплощает в Первой симфонии.

Замысел ее относится к тому же памятного 1923 году. Работа началась в январе 1924 года, продолжилась летом и осенью. Шостаковича тянет в Москву, к Гливенко. Он подает заявление в Московскую консерваторию. В быту обещает помощь М.Н.Тухачевский.

Но переезд в Москву так и не осуществился: Софья Васильевна не отпускала сына на самостоятельное существование, без жилья и средств. К тому же Штейнберг и фортепианный педагог Шостаковича Л. В. Николаев добились того, чтобы их ученик был оставлен в Ленинградской консерватории, и появились реальные концертные перспективы: начались выступления в Кружке любителей камерной музыки.

20 марта 1925 года в Москве состоялся первый авторский концерт Шостаковича, вернее его сочинения составили отделение концерта, а второе отделение включало сочинения Шебалина.

Гливенко была на этом концерте и после его окончания стояла рядом с Шостаковичем, рыдавшим на подоконнике у артистической. Рыдал он из-за того, что успеха значительного не было: Шебалин произвел тогда впечатление более сильное.

Неудача побудила форсировать окончание симфонии, и в начале мая 1926 года Гливенко приехала на премьеру в Ленин-

град. В Большом зале филармонии она появилась вместе с сестрой Шостаковича Марией, с которой подружилась: обе девушки держались робко, триумф симфонии ошеломил их. Из артистической тайком взяли афишу на память: попросить не осмелились.

Было решено, что летом Шостакович поедет отдыхать в Анапу, где семья Гливенко сняла дачу. Состояние его здоровья было катастрофическим. Занятия на двух факультетах, интенсивная работа над симфонией, служба в кинотеатрах тапером ради заработка, постоянное недоедание — все это, как он сам писал в своей первой Автобиографии, «подорвало здоровье и расшатало нервную систему». Наступила сильная депрессия. Сочиненное казалось неудовлетворительным. К творческим сомнениям добавились личные. Гливенко была моложе его на две недели: оба подходили к двадцатилетнему возрасту. Минуло три года знакомства и дружбы. Возникал вопрос о совместной жизни, а твердости и решимости Шостакович в себе не находил. С тогдашним приятелем Сергеем Протопоповым перед отъездом в Анапу 17 июня 1926 года делился: «Отдохнуть — это значит не только спать в меру, а и успокоить душу. Душа у меня беспокойна». Жаловался, что «добрые знакомые всегда считают своим долгом ... сеять сомнения в мамину душу». Думал о том, удобно ли ехать в Анапу? В каком качестве? Что будет дальше? На дорогу и комнату в Анапе не хватало денег. Консерватория смогла выделить своему выдающемуся выпускнику лишь восемьдесят рублей, и Шостакович иронизировал: «Одних папирос-то сколько можно купить!»*

И все же в Анапу поехал. И провел там счастливый месяц. Может быть, самый счастливый в его личной жизни. Целые дни находились вместе, гуляли, ездили в Туапсе, о чем впоследствии Шостакович вспоминал не без юмора: «Кроме того, я здесь чуть-чуть не был съеден стаей диких собак. Если бы не моя находчивость и храбрость (...я наделен этими качествами в избытке), то вряд ли бы я продолжал жить и радоваться»...**

*Письмо от 17 июня 1926 года. Гос. центр, музей муз. культуры, ф. 329, №590.

**Письмо к Е.Е. Константиновской от 29 июня 1934 года.

Семья Гливенко, да и сама Татьяна предстоящего устройства жизни тактично не касались. Ничто не омрачало их отношений, и в Ленинград Шостакович возвратился отдохнувшим, бодрым, полон надежд.

Письма этого периода показывают, что Шостакович пытается определить свой взгляд на любовь, брак, семью. Как и во всем, он стремится здесь к определенности, устойчивости, но их нет. Крушение устоев жизни, внесенное революцией, касается и личных отношений. Сватовство, церковный брак — все подвергается поруганию. Быстро женились — называлось это «расписаться» — и так же быстро разводились.

Воспитанный в семье, где верность и чистота являлись органическим свойством интеллигентности, Шостакович не мог принять то, что наблюдал вокруг. Потребность в любви скрывалась и природной робостью. Да, он тоже признавал свободу чувств, но как это совмещать с отцовским чувством, воспитанием детей, нравственностью, да, наконец, просто с обычной порядочностью?

О том, как еще в те годы Шостаковича мучили эти вопросы, свидетельствует его письмо матери, сохранившееся в ее семейном архиве. «Чисто животная любовь... это такая гадость, что о ней не стоит говорить. Я думаю, что у тебя не было обо мне таких мыслей. В данном случае человек ничем не отличается от животного. Теперь, если, предположим, жена разлюбила своего мужа и отдалась другому, любимому человеку, и они, несмотря на общественные предрассудки, стали открыто жить, в этом нет ничего плохого. Наоборот, это даже хорошо, что любовь действительно свободна. Обет, данный перед алтарем, самая страшная сторона религии. Любовь не может продолжаться долго. Самое, конечно, лучшее, что можно вообразить, это полное упразднение быта, т.е. всяких оков и обязанностей при любви. Но, конечно, это утопия. Если не будет брака, то не будет и семьи, а тогда это будет уже совсем плохо... И, мамочка дорогая, я тебя предупреждаю, что, возможно, если я полюблю когда-нибудь, то моей целью не будет связать себя браком... Но в то же время существует святое призвание матери и отца. Так что когда обо всем по-

думаешь, то прямо голова начинает трещать. Во всяком случае, любовь свободна!»*

Мнение матери было для Шостаковича в те годы решающим. Как же относилась Софья Васильевна к Гливенко? Точных документальных свидетельств нет. Ответ может быть предположительным и основываться на источниках косвенных, устных.

Сама Таня Гливенко предполагала, что Софья Васильевна была противницей их брака. Вернее было бы считать, что Софья Васильевна страшилась раннего брака сына и для этого были веские основания. Не только бедность, даже нищета, семьи. Она уже видела огромный талант сына, верила в этот талант, понимала, что будущее потребует много сил, покоя, сосредоточенности на творчестве. Сын ее не был готов к браку. Он не имел для создания семьи никаких условий, а просто свободных, безответственных любовных связей Софья Васильевна не признавала.

Двойственность, с которой не смогли справиться в личных чувствах столь могучие натуры, как Маяковский, Есенин, проявилась и в отношениях Шостаковича и Гливенко. Она писала: «Были такие идеи: считали, что замуж нельзя выходить, надо отдельно жить. Он писал, что ищет комнату и все у него спрашивают, для кого. Теперь-то я понимаю, что мать его, очевидно, была в расстройстве чувств, ее можно понять: сын мальчишка... И как-то кончилось тем, что он написал мне странное письмо, на грани непонятного. В крайней обиде я это письмо порвала. Если бы он написал, что не любит меня... Потом Митя приезжал. Мы встречались».

В 1927 году Шостакович в Детском Селе, отдыхая после сочинения Второй симфонии, познакомился с Ниной Варзар — восемнадцатилетней студенткой-физиком Ленинградского университета и стал появляться в квартире Варзаров, на набережной Красного Флота. Новым взглядам на жизнь способствовал Иван Иванович Соллертинский, ставший самым близким другом, чье влияние выходило за творческие, интеллекту-

* Шостакович Д. Д. Письма к матери. «Нева», 1986, №9, с. 168.

альные рамки. Влюбчивый, эмоциональный Соллертинский не видел в женщинах спутников жизни. Жизнь шла в двух несопадавших плоскостях: одна, главная — интеллектуальная, творческая, другая, сопутствующая — любовные наслаждения, радость и удовольствия от сексуальных отношений, увлечения, в общем не оставлявшие большого следа. И что удивительно: этот неуклюжий, неряшливый человек очень нравился женщинам и, даже расставаясь с ними, сохранял отношения дружеские.

Не здесь ли истина? — вопрошал себя Шостакович. Пример Соллертинского действовал, но следовать ему полностью не мог: не тот был характер. Отсюда и непоследовательность Шостаковича, непонятная и оскорбительная для Гливенко.

Вокруг молодого композитора, красивого и хрупкого, появлялись в эти годы и гомосексуалисты. Среди них выделялся врач-психиатр Шевелев, внешностью и властным характером похожий на знаменитого Дягилева, сыгравшего столь большую роль в жизни Игоря Стравинского. Эффектный Шевелев — в меховой шубе нараспашку и боярской шапке — бывал у Шостаковичей, но недолго: Софья Васильевна сделала все, чтобы прервать это знакомство.

Обо всем этом Гливенко, разумеется, не подозревала: их эпизодические встречи не давали возможности вникать в нюансы настроения Шостаковича. К двадцати трем годам ей хотелось простого человеческого счастья. Ей хотелось семьи. В 1929 году среди ее поклонников выделился талантливый химик А.Берлин. О планах брака с Шостаковичем он знал и ждал своего часа терпеливо, окружая Татьяну вниманием и заботой.

Отчаявшись, потеряв веру в тщетном ожидании, она согласилась выйти замуж за Берлина: «В один из приездов Шостаковича — это было в 1929 году — я ему сказала: «Знаешь, я выхожу замуж». По-моему, он сначала не поверил. Уезжая из Москвы, позвонил мне с вокзала, проверял: «Неужели ты и впрямь выходишь замуж?». Тут уж я, что называется, «полезла в бутылку» и сказала: «Да, действительно».

Он этого не ожидал.

И все-таки, когда я ему подтвердила, что выхожу замуж, он не сказал: ни в коем случае, может быть, он мне не поверил? Все-таки, даже когда люди друг друга любят, чужая душа — потемки. Мы жили в разных городах, я не знала Нину Васильевну*. И она меня никогда не видела. Он мне о ней не рассказывал...

Я вышла замуж в феврале 1929 года. После этого он еще приезжал и виделся с обоими — со мной и моим мужем».

Расставшись с Татьяной Гливенко, Шостакович по-новому ощутил, что она для него значила. Он умолял ее расторгнуть брак. Он признавал свою ошибку, корил себя, проявлял неприступную ему настойчивость. Мать этим усилиям не препятствовала, сестры Мария и Зоя были на его стороне.

Переживания не отразились на интенсивности его творчества: на это время пришлось сочинение балета «Золотой век», начало работы над оперой «Леди Макбет Мценского уезда». Постепенно Шостакович обретал самостоятельность. Улучшилось материальное положение семьи, и мать уже могла не опасаться бытовых невзгод. Мария вышла замуж за известного физика профессора Фредерикса и поселилась с ним отдельно. В их доме был полный достаток. На Зое женился москвич-биолог Г.Хрущев, и она переехала в Москву.

«В 1930 году, — рассказывала Гливенко, — Митя прислал мне письмо, просил приехать в Ленинград и остаться с ним.

Я поехала. Это было в конце 1930 года. Как трудно об этом вспоминать!

Я все-таки не решилась на разрыв с мужем. Мария Дмитриевна рыдала, что-то недоговаривалось. Он спрашивал: «Ну хорошо, ну хорошо, ты переезжаешь».

Я возвратилась в Москву. Он долго мне писал: «Вот я приеду, решайся...»

А я? Или характер у меня такой дурацкий или мужа мне было жалко? Я почувствовала, что он, ощущая, что я не приеду, с кем-то сблизился. Сложно все было. Путанно...

*Нина Варзар.

Есть вещи, о которых нет и, может быть, никогда не будет охоты рассказывать. Я красотой не отличалась, но поклонников, слава богу, имела, однако такого отношения никто не проявлял: Шостакович всегда думал о других, а не о себе. Даже в личной жизни. Это меня поражало. Даже когда он мне писал и просил приехать к нему, он думал о том, как мне сказать об этом мужу, чтобы ему не так больно было. Он писал: «Если тебе трудно, я приеду, помогу тебе с мужем разговаривать».

Он обратился к помощи сестры, не зная нового обстоятельства: «Приехала в Москву Мария Дмитриевна и увидела меня в несколько ином внешнем виде. Спустя много лет она мне призналась: «Увидела, что ты беременна, и поняла...» В 1932 году у меня родился старший сын».

Так закончился этот роман.

Прошло сорок пять лет. В Москве, на тесной кухоньке современной квартирки я разговаривала с Татьяной Ивановной Гливенко. Ее нельзя было назвать старухой. В семьдесят лет она сохранила подвижность, миловидность. Занималась домашним хозяйством, воспитанием внуков.

Письма Шостаковича она передала младшему сыну с условием, чтобы обнародовать их после смерти — и не сразу.

Ей очень не хотелось вспоминать об этой любви. Можно представить, что должна была чувствовать пожилая, измученная невзгодами женщина, когда-то любившая юношу, который оказался гением. Не раз, вероятно, задавала себе вопрос, не было ли ее ошибки, слабости в том, что не нашла в себе решимости преодолеть его колебания, не разгадала эту сложную натуру. Было неудивительно, что Гливенко долго избегала встречи с биографом Шостаковича, согласилась только по настоянию младшей сестры композитора Зои Дмитриевны, жившей в Москве и дружившей с Гливенко.

Первый вопрос, который задала Татьяна Ивановна, был прост и резок:

— Зачем вы ко мне пришли. Зачем?

Но постепенно оттаяла и, не обращая внимания на включенный магнитофон, говорила о пережитом немногословно,

стараясь быть точной, справедливой, никого не обвиняя и не оправдывая. Говорила женщина, любившая и сохранившая эту первую любовь, как самое сокровенное и, вместе с тем, не поступившаяся ради этого чувства верностью семье и долгу перед близким человеком.

Теперь она была вдовой, с единственным сыном и с мудрой покорностью служила внукам — новому поколению: своего рода очарованная душа, достойная пера Ромена Роллана, как и Аннета Ривьер.

Нерешительность, робость и колебания, характерные для отношений молодого Шостаковича с Татьяной Ивановной Гливенко, сопутствовали и дружбе с Ниной Варзар.

Периодически он стал появляться у Варзаров с 1928 года. В их ленинградской квартире на набережной Красного Флота им кое-что писалось для оперы «Нос».

В этом доме, когда-то принадлежавшем графам Орловым-Давыдовым, в начале двадцатых годов поселилось несколько семей ученых и артистов. Справа от центрального подъезда, украшенного античной скульптурой и резными зеркалами, вход вел в квартиру номер 10 на первом этаже, занятую семьей юриста Василия Васильевича Варзара. Замечательными были традиции этой семьи. Мать, Софья Михайловна, урожденная Домбровская, приходилась родственницей знаменитому генералу Парижской коммуны Ярославу Домбровскому, спасенному от каторги Болеславом Шостаковичем — дедом композитора. Прадед по материнской линии, Иоганн-Август Христиан Тишнер, специалист по производству роялей, дружил с М.И. Глинкой: в семье хранились адресованные Тишнеру письма Глинки. Музыку сочиняли бабушка Александра Варзар — почитательница Льва Толстого и ее сестра Анна. Но самой колоритной фигурой в семье был дед — Василий Егорович Варзар. В молодости он участвовал в революционных кружках, был учеником и последователем Петра Лаврова, проводил статистические обследования русской промышленности.

Молодежь собиралась по четвергам, отведенным для развлечений строгой Софьей Михайловной, ученым-астрономом,

уверенной рукой направлявшей трех дочерей к творческой деятельности. Ирина и Людмила обучались в Академии художеств, младшая Нина, или, как все ее называли, Нита, училась в Ленинградском университете на физико-математическом факультете. Как и все в семье, она немного занималась музыкой, брала уроки пения, но далее любительского музицирования не пошла.

Шостаковича Нита привлекала обаянием, веселым и уравновешенным нравом — радость жизни была в ней ключом.

Ее сестра Ирина Васильевна Варзар сохранила в памяти четверги, на которых Шостакович появлялся вместе с Соллертинским: на стол вооружался медный самовар и блюдо бубликов. В гостиной на расстроенном фортепиано фирмы «Герман и К°» Шостакович безропотно играл фокстроты и вальсы, изредка и неумело пытаясь танцевать с Нитой.

Она увлекалась спортом, мастерски ходила на лыжах, участвовала в альпинистских экспедициях.

Но решительного слова Шостакович не произносил, и на этот раз создавалось впечатление, что в страхе он словно бежит от возможности счастья, а это огорчало Ниту Варзар, как огорчало и Татьяну Гливенко. Ситуация была сходной, с той разницей, что здесь нерешительность предполагаемого жениха умножалась на сомнения практичных родителей Ниты. Кем был в их глазах Шостакович? Композитором, чьи перспективы представлялись куда как не определенными: когда он появился у Варзаров, работа над оперой «Нос» и балетом «Болт» еще продолжалась, и вскоре обе постановки потерпели неудачу. Материальная обеспеченность, достаточная для бедной вдовы Софьи Васильевны, не была прочной в глазах родителей Нины. К тому же Софья Михайловна Варзар считала, что дочь должна до замужества обязательно закончить университет. Казалось, что этот по виду мальчик, словно оторванный от реальности, сам нуждался в помощи.

Положение осложнялось отношениями с Софьей Васильевной. Гордая и вспыльчивая, она считала Варзаров людьми меркантильными, расчетливыми, не способными оценить ее сына.

Колебания, отходы, перерывы во встречах были также связаны с надеждами на то, что не потеряна еще и Таня Гливенко. Шостакович метался между двумя чувствами, каждое из которых казалось ему неодолимым.

Крайняя нервность вызывала страх импотенции. Галина Иосифовна Серебрякова писала: «Он был влюблен. Рассуждал о характере Гоголя. Мне показалось, что у него был страх перед сексуальной изнанкой жизни».

Отражались ли эти метания в творчестве? В связи с сочинявшейся тогда оперой «Леди Макбет Мценского уезда» Асафьев замечал: «Женщины не было до сих пор в творчестве Шостаковича. Был пол, была эротика, но не было женщины — человека, ее психики, тепла и эмоций».*

Кажется, тема любви в период «Леди Макбет» стала для Шостаковича глубоко личной. Переживания «ожесточали» работу: он нуждался в творческой исповеди.

Его собственный тяжелый узел развязала беременность Гливенко. Она родила сына в апреле 1932 года, а в мае Шостакович женился на Нине Васильевне Варзар. Стремительно: Соллертинский отправил его и Нину Васильевну в Детское Село, и там 13 мая зарегистрировали брак. Без огласки. Без торжества. Даже мать узнала о перемене, как о свершившемся факте. По свидетельству Гливенко, «он вскоре поехал в Москву, кажется, в связи с музыкой к постановке в вахтанговском театре «Гамлета». Он попросил мать: «Не надо меня провожать». Мать все-таки пришла на вокзал и увидела с ним в купе Нину Васильевну».

Стали жить сообща на улице Марата.

Нина Варзар (после замужества до 1934 года она сохраняла девичью фамилию) приняла уклад, привычки шостаковичской семьи: равнодушие к вещам, одежде, уюту. «Даже чай стала пить без сахара, как мы привыкли с голодных лет», — вспоминала Мария Дмитриевна Шостакович. Невестка приняла на

*Асафьев Б.В. О творчестве Д.Шостаковича и его опере «Леди Макбет Мценского уезда». В кн.: Асафьев Б. В. Критические статьи и рецензии. М.-Л., «Музыка», 1967, с. 244.

себя заботы о квартире, ремонтах, о многих бытовых делах, распоряжаясь с легкостью, которую ей давал ровный характер. С родственниками мужа близости не было, но и разногласий тоже. Шостакович приободрился, успокоился.

Сохранявшиеся за семьей четыре комнаты в коммунальной квартире на улице Марата стали неудобны. Гонорар за оперу «Леди Макбет Мценского уезда» позволил приобрести кооперативную трехкомнатную квартиру в Дмитровском переулке, в доме №3, в третьем надстроенном этаже — квартиру не очень светлую, неуютную, но зато отдельную и в привычном районе, рядом с улицей Марата: Софье Васильевне не хотелось уезжать из мест, где прошли ее счастливые годы; она была привязана к переулкам и улочкам с привычными, неизменившимися названиями — Поварской, Кузнечный, Свечной, Колокольная, Стремянная.

С устройством в Дмитровском дом стал еще более открытым и веселым. За стол усаживали всех, опустошая буфет: готовить Нина Васильевна не любила, обходилась вареньем, компотами, печеньем. Шуткам и розыгрышам не было конца. Компанией захаживали в уютное кафе рядом с кинотеатром «Колизей» на Невском проспекте, в крохотном кинотеатре «Луч» на улице Восстания смотрели фильмы с участием Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса.

Шостакович производил впечатление человека, любящего жену и довольного семейной жизнью. На ее сексуальную сторону он уже не смотрел с прежней юношеской брезгливостью, а наслаждался с радостью. Но нервность и стыдливость оставались: на людях нежности не допускали. Его смущало и сковывало даже то, что комнаты на Дмитровском — смежные, перегородки тонкие. Много, чего обычные люди просто не замечали, способно было в нем погасить страсть и желание: не всегда Нине Васильевне удавалось ласками его успокоить, привести в душевное равновесие. Этой совсем молодой женщине он казался ребенком, требующим не страсти, а утешения. Можно сказать, что в их семейной жизни к Нине Васильевне переходило мужское начало.

Летом 1932 года молодые супруги поехали на отдых в Гаспру, туда, где когда-то он встретился с Таней Гливенко: Шос-

такович прощался с прошлым. Здесь, в Гаспре, была сочинена значительная часть третьего акта «Леди Макбет Мценского уезда».

Поначалу он предполагал посвятить оперу Б.В.Асафьеву, но передумал, и на титульной странице появилось посвящение жене — Нине Васильевне Варзар, многозначительное посвящение, учитывая тему, масштаб, значение нового полотна.

Судя по продуктивности 1933 года, можно предположить, что наладившаяся размеренная семейная жизнь, успокоившая нервы, способствовала интенсивности творчества. Одна за другой без перерывов сочиняются двадцать четыре фортепианные прелюдии и Первый фортепианный концерт. В них заметна неожиданная сторона. Возрождая лирическое высказывание, характерное для русской фортепианной школы, Шостакович, вместе с тем, словно бы стесняется своих чувств, прикрывая их иронией над самим собой. Этот, ставший для него с тех пор типичным, эмоциональный «сплав» Мравинский впоследствии назвал маскировкой чувств: «Такая маскировка иногда сбивает слушателей с толку, создает у них превратное представление о кажущейся эмоциональности Шостаковича. На самом же деле в его музыке таятся глубокие лирические чувства, которые тщательно оберегаются от грубого взгляда и неосторожного прикосновения, не выставляются напоказ. Надо уметь их уловить — и тогда вы не сможете не оценить их возвышенности, чистоты и сдержанной силы». Б.Асафьев, услышав Первый фортепианный концерт, сразу отнес лиризм к решительным завоеваниям композитора «по линии очеловечивания музыки», связал концерт с проникновенными заключительными страницами «Леди Макбет».

Первый отпечатанный экземпляр партитуры концерта Шостакович подарил жене, с надписью «Моей милой, горячо любимой Нинуше», подчеркивая тем самым близость ей этой музыки.

Судя по сохранившимся письмам, свидетельствам друзей, безоблачная семейная жизнь Шостаковича продолжалась до весны 1934 года — не столь уж длительно. Полученная в альпинистском походе болезнь почек не позволяла Нине Василь-

евне иметь детей, а Шостакович горячо их желал, не представлял без них семейного счастья, и, таким образом, его начавшиеся «отходы» получали известное оправдание. dav

Уже в 1934 году весной завязался у него бурный роман. На международном фестивале в Ленинграде он познакомился с двадцатилетней студенткой-филологом Еленой Константиновской, которая была переводчицей на встречах Шостаковича с зарубежными музыкантами. В отличие от Нины Васильевны, равнодушной к нарядам и внешнему виду, Елена одевалась элегантно, культивировала свое изящество, женственность.

Началось все с уроков английского языка: Шостакович давно считал необходимым восполнить этот пробел. Соллертинский пытался обучать его немецкому: не получилось. И вот летом 1934 года он стал заниматься английским с Константиновской. Уроки проходили у него дома, на Дмитровском, и однажды завершились признаниями в любви. Вскоре Шостакович отправился в концертную поездку в Баку, Батуми и с дороги дал волю чувствам в письмах: писал их ежедневно, а то и по два в день, с мальчишеской пылкостью требуя от Константиновской столь же постоянных откликов. Всего за поездку писем набралось сорок два. Константиновская их сохранила, пронесла через все перипетии своей бурной жизни и в 1975 году предоставила для обнародования, сопроводив записанным на магнитофонную пленку рассказом о давнем неудавшемся романе: как и Гливенко, была в это время Константиновская вдовой, преподавала иностранные языки в Ленинградской консерватории и жила воспоминаниями прошлого.

Переписка эта не только документ любви — шире. В этих строках — характер молодого Шостаковича. Они доказывают, что не только в юности — что естественно, — но и позже, создав «Леди Макбет», задумывая и осуществляя монументальную трагическую Четвертую симфонию, на пороге тридцатилетия, познав любовь в ее преградах и радостях, он остается по-мальчишески непосредственным, безоглядно открытым, в чем-то наивным. Влюбленный, он трогательно привлекателен. Зоркость и пронизательность сочетаются с доверчивостью, горячность со старомодной учтивостью. В ироничности, остро-

умии, привычном юморе проявляются его энергия, сила, не признающая стеснений, примечаящая смешное, забавное в любых условиях и обстоятельствах. Слово ребенок, он в письмах веселится, забавляется и заражает озорством.

Для биографии Шостаковича эти письма важны и сведениями творческими. В общем не склонный вводить женщин в свой композиторский мир, он на этот раз сообщает Константиновской факты существенные: о знакомстве с А.И.Хачатуряном, о замысле оперы-фарса, сочинении фуг, отношении к цыганскому пению. По письмам составляется подробный хронограф жизни Шостакович тем важным летом 1934 года, на гребне славы, после триумфа «Леди Макбет».

Первая пачка писем относится к числам от 15 июня 1934 года: поезд Москва — Баку.

«15. VI. 1934.

Моя милая Ляля. Вот уже второй день, как я выехал из Москвы. Вынужден писать карандашом, так как чернила в ручке кончились.

Сегодня ехать стало намного легче. Стоит дождливая погода, из-за этого не жарко.

Очень милые соседи попались в поезде. Просидел с ними вчера до поздней ночи, хоть и стыдно признаться, но занимались тем, что выпивали и закусывали. Вообще, грузины на редкость обходительный народ...

Ехать скучно, скучно из-за того, что я еду один, без Ляли. Нужно мне было бы уговорить тебя ехать со мной в Баку, а в случае твоего отказа увезти силой. Ведь мы живем во время сильных страстей и бурных поступков... Простить себе не могу, что не похитил тебя и не повез в Баку. Чудно бы мы ехали.

Ляля, моя любимая. Моя радость, скучно мне без тебя и грустно от всего комплекса переживаний. Ты в мою жизнь ворвалась, как гром среди ясного неба. Я влюблен безумно, страстно и жить без тебя не могу. Жди меня, Лялька, я скоро вернусь и мы вместе решим все вопросы.

Крепко целую, Д.Ш.»

«15.VI.1934.

Ляля, не могу я удержаться от желания написать тебе еще одно письмо. От скуки полез в чемодан, достал из него чернила и снова могу писать... Боюсь, что предыдущее письмо будет трудно разобрать, так как я его писал карандашом.

Ляля, золото мое, лучшее достижение, все время думаю о тебе, моя радость. Ехать мне очень скучно. После короткого дождя опять вылезло солнце и печет с такой силой, что невозможно. В окошко без перерыва летит пыль, забирается в глаза, нос, рот, уши. Кошмар.

Грустно мне быть в разлуке с моей любовью, ужасно я беспокоюсь, что ты мне не написала письма, хотя и обещала это сделать. Но зато такая мне будет радость, если я получу в Баку от моей бесконечно любимой, самой дорогой, прекрасной Ляли. Я мечтаю о том, как буду читать, как я убегу с письмом в какой-нибудь уединенный уголок и как буду вчитываться в любимые строки. Ляля, за что же это я так полюбил тебя, и нет того в тебе, от чего бы я не приходил в восторг и от чего не ощутил бы огромную, горячую и жуткую страсть. Ляля, люблю, люблю так, как никто, никогда в жизни не любил. Моя любимая, золото, моя любимая, дорогая, прекрасная, как я люблю тебя. Мою любовь я кладу к твоим ногам. Неужели же ты ее безжалостно растопчешь? Крепко обнимаю тебя, целую в губы крепко-крепко. Знай мою любовь. Моя любимая, скоро ли увижу тебя? Скоро ли ты будешь моей?

Твой Д.Ш.»

«Ляля, любимая моя девочка.

...В Москве сел в мой вагон, но в другое купе армянский композитор Хачатурян. Он очень славный оказался спутник. Вместе с ним я обедал в вагоне-ресторане, и я должен сказать, что Хачатурян мне понравился куда больше, нежели обед. Потому что я после обеда остался голодным. Он принес мне замечательной колбасы и стоял над душой до тех пор, пока я ее не съел. Превосходный мой человек! Можно сказать, что с того момента, как я влюбился в тебя, то почти совсем не могу есть, несмотря на чувство голода. Правильно где-то было сказано, что «страсть это болезнь». Болезнь тяжелая... Я счаст-

лив, что болею этой болезнью к тебе. Мое солнышко, я жду с восторгом и трепетом того момента, когда смогу тебя обнять, расцеловать... и почувствовать моей. Ляля, родная моя, как это тяжело... Трудно тебе, наверное, разобрать мои каракули... Крепко целую. Горячо любящий Митя».

«16.VI.1934

Милая Ляля. Изнываю от пыли и духоты. Это прямо Дантов ад, египетская жара. Осталось мне ехать еще 20 часов. Пока поезд идет аккуратно, и я надеюсь, что не опоздаю. Проехали час тому назад Минеральные Воды. Моего спутника композитора Хачатуряна вышла встречать его жена, которая живет сейчас в Железноводске. Они беззастенчиво целовались и обнимались на перроне, нисколько не стесняясь присутствием посторонней публики. Сейчас Хачатурян сидит, как солнце, вернее, как хорошо вычищенный сапог, и едет дальше в значительно более хорошем настроении. Жена его очень мила собой и тоже композиторша. Я бы не женился на композиторше. Впрочем, это дело вкуса.

В окнах очень красивый вид... Все это меня мало веселит, так как я скукаю без Ляли, и, кроме того, очень жарко. Не надоел ли я Вам своим письмом?

Не могу я удержаться от этого способа общения с Вами... Завтра у меня тяжелый день.

...В 9 часов репетирую и вечером играю. Зато 18, 19 и 20 я буду бездельничать...

Ляля, любимая,.. Боюсь, что мне скоро не удастся повидаться с тобой... Крепко тебя целую. Д.Ш.»

«16. VI. 1934

Милая моя Ляля.... Сейчас опять стало легче дышать. Разразилась гроза. Идет сильный дождь. Через 16 минут буду в Баку. Кончится музыкальное путешествие, с тем, чтобы с 22 числа опять его продолжить...

Как мне хочется, чтобы все устроилось так, чтобы я был бы счастлив».

«17.VI. 1934. Баку.

Моя милая, ненаглядная Лиля. После ленинградских холодов очень трудно переносить здешнюю жару. Кроме жары здесь дуют сильные ветры — «Бо-ку» по-русски значит город ветров (см. соответствующее произведение Киршона).^{*} Сейчас дует так называемый «Норд». Это ветер, дующий из города в море. Пожалуй, самый неприятный ветер, так как он поднимает целые столбы пыли. Ветер, дующий из моря в город, называется «Марьянна». Когда я сегодня репетировал, дул «Норд». Весь рояль был засыпан песком. Репетировал также наш общий знакомый Б. М. Фрейдков. Ему так засыпало пылью горло (он, как известно, поет), что до сих пор выхаркивает из себя груды пыли. Первый раз в жизни я благодарил судьбу за то, что я не певец. Хотя играть пальцами по пыльным клавишам тоже очень неприятно. Ввиду большого наплыва публики концерт завтра целиком повторяется. Концерты здесь происходят на открытой эстраде, в саду. Кроме того, 21 будет весь концерт из семи моих сочинений. Здесь играет оркестр Московской Филармонии. Великолепен трубач Юрьев. Мой концерт поэтому получается прямо как конфетка. Играет он выразительно — не то, что в Ленинграде трубач Шмидт.

Вот как обстоят мои музыкальные и погодные дела на настоящем отрезке времени. Забыл еще сообщить, что меня очень радует присутствие Фрейдкова и мало радует присутствие драматурга Вишневского, «Оптимистической трагедией» коего Вы восхищаетесь.

Что касается моих личных дел, то они с каждой минутой становятся все хуже и хуже. Иными словами, я Вас люблю все больше и больше. Сейчас как раз наступил тот момент, когда мне стало ясно, что без Вас я не могу жить. Что делать?.. И все ближе и ближе развязка...»

«19. VI. Баку.

...После вчерашнего концерта мы с Фрейдковым пошли в ресторан и слушали цыган. Большой я любитель этого жанра. В

^{*}Пьеса драматурга В.М.Киршона «Город ветров» (1929) пользовалась большим успехом. — *прим. автора.*

силу чувствительности моего характера. Я еле сдерживал слезы — до того хорошо. Кроме них, под джаз выступает негр. Поет и танцует тоже очень хорошо. Видите, как я провожу время. В три часа ночи я вернулся в номер и сейчас восемь часов, я уже встал и пишу Вам. Любовь... Из-за нее не могу пить, не могу есть и пр. В одиннадцать часов пойду... узнаю: нет ли письма? Размечтался...»

«20.VI.1934. Баку.

...Так-то Вы выполняете Ваши обещания!

Запомним это. Обещали мне писать и вот я уже четыре дня прожил в Баку, а письма от Вас нет. Нехорошо, нехорошо, это меня огорчает. Утешаю себя мыслью, что у Вас так много работы, что Вы не можете вырвать трех минут времени и побаловать Вашего поклонника письмом.

А я тут совсем расхворался. Из сухого плеврит стал мокрым, плюс к тому сильные головные боли. И все из-за Вас. Если бы я лежал дома, то сразу бы поправился. А я, вместо этого, бегаю на почту... «Нет ли уже письма, — спрашиваю. — Нет, вам пишут». А в Баку страшные ветры. Меня и продувает во время этих экскурсий.

Если сегодня я не получу письма, то больше Вам писать не буду... Раз Вы не пишете, то мне приходят в голову самые мрачные мысли.

Солнышко мое, Ляля моя любимая, прости, простите, что я Вас в чем-то упрекаю. Не сердитесь. Все из-за любви к Вам. А за любовь нельзя сердиться. Что же я с собой сделаю? Я стараюсь Вас разлюбить, а вместо этого люблю все больше и больше. И в моей любви к Вам много печали и огорчений. Ведь тут играют роль очень сложные обстоятельства. Вот взяли бы Вы, пожалели меня и написали несколько слов.

Вчера ходил в здешний цирк. Смотрел французскую борьбу.

...Потом пошли с Фрейдковым слушать цыган, которые работают сейчас в ресторане «Новой Европы». Очень мне понравились».

«20.VI.1934. Баку.

Моя милая Ляля. Перед моими глазами на столе лежит твоя телеграмма. Я чувствую, что буквально задыхаюсь от радости

при взгляде на нее. Получил я ее только сегодня. Пошел я сегодня на почту отправлять в Крым деньги. Когда я отправил деньги, мне пришла в голову мысль: нет ли мне телеграммы до востребования? Есть. Я ругаю себя за то, что не спросил вчера или позавчера. Письма я спрашивал каждый день, а телеграммы не догадывался. Ляля, то, что я спросил сегодня телеграмму, — это был жест утопающего, хватающегося за соломинку. Я никак не рассчитывал, что мне будет телеграмма, и оказалось, что есть. Боже мой, как я обрадовался. Ляля, моя любимая! Спасибо за телеграмму, спасибо моя радость, моя любовь. Я сейчас готов лопнуть от радости. Так полон я ею.

Сегодня мне было очень грустно, и я послал тебе письмо, в котором упрекал тебя за невыполнение своего обещания насчет письма. Теперь я жду писем, так как знаю, что они посланы. Я бегаю каждый день на почту... и скоро получу письма. Господи, какое счастье меня ожидает. Я поглупел от радости. Ляля моя, как я люблю тебя, моя дорогая, каким я счастливым почувствовал себя сегодня, после получения телеграммы. Счастье мое, ну что же письма так долго идут? Не перепутала ли ты адреса? Теперь уже поздно. Послезавтра в пять часов я уезжаю в Батуми. И в Батуми, может быть, тоже будет ждать меня письмо от моей горячо и страстно любимой и желанной Ляли.

Ляля, я тут в первый же день прихворал плевритом, чувствовал себя очень плохо и, кроме того, настроение мое было отчаянное, но как только я получил твою телеграмму, я сразу же поправился. Я так хорошо себя сейчас чувствую. Единственное, что меня сейчас огорчает, это мысль, что ты так далеко от меня, что я никак не могу обнять тебя, расцеловать и сказать, что так люблю, как никто никогда никого не любил. Радость моя, я так счастлив только от телеграммы. Что же со мной будет от счастья, если ты будешь моей. Уж тогда я, наверное, сразу умру от такого громадного счастья. Уж если у меня самого сердце так сильно бьется, то тогда оно выскочит из груди и прямо упадет к твоим ногам вместе со мною.

Ляля, я так сейчас счастлив, что описать невозможно. Завтра напишу более спокойно и деловито.

Любимая моя, целую тебя крепко-крепко. Твой Митя».

«21.VI.1934. Баку.

Ляля, бурный поток радости, который охватил меня вчера, после получения Вашей телеграммы, иссяк. Сменился мрачной грустью и черной меланхолией. Писем от Вас нет, у меня осталась последняя надежда на завтрашнее утро. Поезд на Батуми отходит в час дня. Следовательно, я успею до отъезда сбежать на почту. Если же и завтра не будет, то уж придется оставить всякую надежду на получение от Вас писем, по крайней мере в Баку. Утешаю я себя тем, что отвратительно работает почта. Но все-таки это слабое утешение...

Грустно. Сижусь сейчас и дрожу от страшного невроза. Тридцать три несчастья упали мне на голову. 1-е) Сегодня вечером будет концерт из моих сочинений. 2-е) Предстоящее путешествие в Батуми и Крым со всеми связанными с этим неудобствами и хлопотами. 3-е) Мысли о моей личной жизни. 4, 5, 6, 7... до 33-го. Нету от вас письма. Ляля, как это больно. Я Вас прошу, напишите мне после получения этого письма по адресу: Москва, 9. До востребования. 1-го июля я буду в Москве и я надеюсь, что там застану от вас весточку.

Писать кончаю, так как я сейчас очень грущу. Напишу из Батуми или с парохода на пути в Крым. Надеюсь, что тогда я буду поспокойнее. Горячо любящий Д.Шостакович».

«24.VI.1934. Батуми.

Моя милая Ляля. Итак, получил я сегодня Ваше письмо.

Приехал я в Батуми в два часа ночи по местному времени. С вокзала отправился со своим спутником в гостиницу. По прибытии на наше счастье оказались свободные номера. Каждый из нас взял по номеру у моря. Большой номер с двумя кроватями и с верандой, выходящей прямо на море. Мы успели с ним поужинать в местном кабаке... с подачей пива. Почта была закрыта. Вернулись в гостиницу и легли спать. Рано утром я встал, нанял «фаэтон» и поехал на вокзал за своими чемоданами. Привез чемоданы и пошел на почту. Получил три телеграммы и два письма. Одно из них от Вас. С почты я зашел в магазин, купил себе бутылку шампанского (в Батуми есть в свободной продаже) и вернулся домой. Прочел все телеграммы и письмо. Вашего письма я не распечатывал. В гос-

тинице меня ждала ванна. Пошел я в ванну, вымылся, переоделся, и совсем как жених в день свадьбы (чистый, бритый, одетый во все свежeweыстиранное) «приступает» к своей невесте, с таким же настроением я приступил к чтению Вашего письма, предварительно с треском раскупорив шампанское. Как видите, я не сразу приступил к чтению. Я долго оттягивал этот момент. Чувствовал я и волнение и радость — и все, что хотите. Наконец я разорвал конверт и начал читать. А прочитав, почувствовал, что нужно выпить за Ваше здоровье второй стакан шампанского. Ляля, я счастлив...»

«24.VI.1934. Батуми.

Ляля, моя несравненная и любимая. Минут двадцать тому назад я вернулся из Кобулет, куда ездил наслаждаться природой. Погода стоит пасмурная, моросит дождь. Специально для меня, так как жары я не выношу. Кобулет находится в двадцати двух километрах от Батуми. Поездом езды один час. Провел я там два часа. Гулял, сидел на море и вернулся в Батуми. Очень устал и лег спать. Уже совсем было загрузил, как вспомнил Вас. Сон как рукой сняло. Я встал, оделся и пишу Вам. О чем писать, ей-богу не знаю. Что люблю Вас? Это я Вам много раз говорил и писал. Просто буду писать, что мне придет в голову. Завтра еду в Ялту. Билета у меня еще нет, но говорят, что будет... Идет завтра, оказывается, «Абхазия». Это намного хуже, чем «Грузия» или «Крым».

Последнее письмо я Вам буду писать из «Абхазии»... О моем приезде в Ленинград я Вас уведомя телеграммой. Встречать меня не приходите. В телеграмме напишу Вам день, час и место свидания. На этом свидании должны быть решены все вопросы... Приеду, расскажу Вам много-много...»

«25.VI.1934. Батуми.

...Если последние дни я был относительно спокоен, то сейчас я взволнован в большей степени... И чего это я Вас встретил, познакомился и влюбился... Жил бы я так спокойно. Это появилось и разрушило весь уклад моей устоявшейся жизни. Впрочем, Вы не виноваты. При чем тут Вы, если Вы такая чудная и очаровательная».

«25.VI.1934. Батуми.

Ляля, пусть это письмо будет моим последним батумским приветом. У меня очень странное ощущение: пока я в Батуми, то Вы мне в какой-то степени близки. Чем я ближе буду к Ялте, тем дальше Вы будете от меня, а чем ближе к Ленинграду, тем еще дальше. Своего рода диалектика, единство противоположностей. «Абхазия» отходит через час. Я уже уложился и сейчас пойду усаживаться. Уже полночь. Порт виден из окна моего номера: сияет огнями. «Абхазия» тоже сияет. До порта здесь самое большее две минуты ходьбы медленного шага. Ездил я сегодня на «Зеленый мыс». Смотрел знаменитый Ботанический сад. Все это необычайно красиво, но все это ментально забывается, как только я вспоминаю Вас. Вы прекраснее солнца, тем более — прекраснее разных магнолий и пальм. Я не верю в то, что я буду Вашим, что Вы будете моей. Иногда верю, иногда не верю. Вот сейчас настроение такое, что трудно поверить. Трудно. С «Абхазии» я еще Вам, наверное, смогу написать, а из Ялты никак. Но пока еще этот способ в моих руках, и я им пользуюсь. Боюсь я, что надоедаю Вам моими письмами. Но уж тут ничего не могу поделать. Если бы я был уверен в том, что надоедаю, то тогда, тогда... не писал бы, но мне кажется, что все-таки я занимаю некоторое место в Вашем сердце. Меньшее, чем Вы в моем, но все же. А Вы так заполонили мое сердце, что сердце мое готово лопнуть».

«Абхазия» уже гудит. Надо скорее садиться. До свидания, мое солнышко, до свидания, моя любимая Ляля...

Обнимаю Вас, прижимаю к сердцу. Целую крепко, крепко, бесчисленное количество раз. Д.Шостакович».

«26.VI.1934. «Абхазия».

Милая Ляля. Вот уже три часа, как мы должны были выехать из Поти (первая остановка после Батуми), но все время стоим. В машинном отделении случилась авария. Выбыла из строя одна машина. Послали запрос по радио в Одессу, что делать. К десяти часам, т.е. через два часа ждут ответа. Предположения такие: 1) Ждать встречного экспресса, пересадить на него пассажиров, завести их обратно в Батуми и завтра выехать из Батуми. Таким образом, теряются двое суток време-

ни. А у меня уже есть билет от Севастополя до Москвы, на 29/VI. 2) «Абхазия» идет в Одессу при помощи одной машины, не заходя ни в один порт, в том числе в Ялту. В Одессе рассаживают пассажиров, едущих не до Одессы, и развозят по тем местам, куда они едут. Второй вариант меня в некоторой степени устраивает больше, ибо если «Абхазия» через два часа поплывет в Одессу, то в Одессе мы будем 28 вечером. Можно успеть к четырем часам в Севастополь 29 числа, к отходу поезда. Я бы не обратил на это никакого внимания, если бы не был связан с Ниной (это моя жена). Ей от этого будет много беспокойств и волнений. Как только положение выяснится, буду ей телеграфировать. Совершенно не представляю, как распутается все это дело.

В отношении организационном мое путешествие протекало великолепно. Везде были хорошие билеты на поезда, везде номера в гостиницах, и даже в Батуми я достал билет на «Абхазию» без всяких трудов. И вот, когда наступил самый приятный момент, а именно путешествие по морю, и я это очень люблю, все стройное здание моего путешествия рухнуло, как карточный домик. Впрочем, горевать еще рано. Может, зайдем в Ялту и все будет благополучно. Верится в это с трудом. Уж очень долго мы в Поти стоим, а машина сломалась всерьез... Ужасно это неприятно. Тем более мне трудно переживать из-за известных Вам обстоятельств. Когда я чувствую себя несчастным, а некоторые основания для этого у меня есть, то всякое несчастье, случающееся со мной, помимо основного, прямо убивает меня наповал.

Пассажиры волнуются. Парикмахер пароходный тоже волнуется: в Сухуми должна подсесть к нему в помощь маникюрша, а если она не подсядет, то он будет очень несчастлив, так как маникюрша именно в этот рейс должна дать ему решительный ответ на его сладострастные притязания к ней: да или нет. Поэтому у него дрожат руки и ноги и режет он своих пациентов нещадно. Мне это он все рассказал, когда я выразил ему свое участие, видя, что он страшно нервничает. В ответ на это я узнал, что он пылко влюблен в маникюршу и (см. выше). Всюду жизнь — как говорится в священном писании. А я

влюблен в Лялю, но парикмахеру об этом не рассказывал, и, затаив страсть в себе, стал лечить йодом порезы, которые появились в результате пылкости пароходного Фигаро.

Д.Шостакович».

«28.VI.1934. Милая моя, любимая Ляля. Стоим мы сейчас на рейде в Гаграх. «Армения» сильно опаздывает. В Гагры приходим с трехчасовым опозданием. Из-за того, что выбыла из строя «Абхазия», «Армения» везде стоит дольше, чем ей полагается: она забирает кроме своего груза еще груз, рассчитанный на «Абхазию». Если так будет продолжаться, то и в Ялту я приеду не в шесть часов утра, а в три дня 29 числа. Сейчас мы должны быть уже в Сочи, а все стоим в Гаграх. Я боюсь, что своими письмами я Вам надоедаю, но все же пишу. Ничего не поделаешь. Любовь. А письма это единственный способ общения с Вами, которым я обладаю «на данном отрезке времени». Ляля, Вы замечательная женщина. Я Вас сейчас еще плохо знаю, но уже то, что я в Вас нашел, достаточно, чтобы прийти в телячий восторг. Когда вернусь в Ленинград, расскажу Вам, что я нашел в Вас такого замечательного и от чего я просыпаюсь и ложусь спать только с одной мыслью о Вас. Для того, чтобы описать все Ваши буквально поразительные достоинства, нужно обладать достаточно бойким пером, каковым я не обладаю. А рассказать Вам будет гораздо легче, ибо то, чего я не смогу высказать словами, я выскажу жестом, мимикой и горячим поцелуем в Ваши чудные губки. Ляля, моя родная, ведь я Вас так не оставлю; слишком сильны те чувства, которые горят во мне неугасимо все сильнее...

Сегодня ровно пятнадцать дней, как я Вас не вижу. Самые разные мысли волнуют меня, мучают, и — стыдно в этом признаться — в первую очередь ревность. Я ни разу в жизни не испытывал этого чувства... Буду писать о моей любви. Но моя любовь связана с ревностью и неуверенностью во взаимности...»

«29.VI.1934. ...Подъезжаем к Анапе. Через двенадцать часов после отъезда из Анапы — Ялта. Вот какие дела. Возможно, что это письмо последнее. Может быть, завтра утром успею черкнуть два слова. Мне так грустно, так тяжело, что невоз-

можно описать... Неужели Вы, случайно появившись в моей жизни, бесследно исчезнете? Страшно подумать об этом.

Скоро закончится день. Наступит ночь: одинокая, темная. В Ялту опаздываем на шесть часов. Одно утешение, что не нужно-будет вставать в пять часов и ползти натошак на берег. ...Если я утром не поем, то страдаю головными болями. Хватит ее между двух моральных огорчений (любовь...) и одного физического (плеврит, который еще не прошел у меня).

Солнышко мое, мне бывает хорошо во всех отношениях, кроме одного (не скажу какого) только в Вашем присутствии. Ляля, мне грустно и в силу трусливости моего характера страшно. Что-то меня ждет на ближайшем отрезке времени.

...Ляля, это письмо почти что последнее. До встречи, вероятно, писать не буду. Мне очень тяжело, но я в плену. Если мой роман с Вами закончится ничем, то дай бог Вам, чтобы Вас кто-нибудь полюбил так же, как я Вас. Желаю тебе счастья, моя любимая, желанная. Ляля, целую крепко, крепко. Твой до гроба Д.Ш.»

«29.VI.1934. Стоим в Туапсе. Здорово опаздываем. Должны были выехать из Туапсе в шесть часов утра. Сейчас восемь и мы только что подъехали. Стоянка продолжится три часа (?). Простоим часов пять. Опоздание солидное. Осталось мне проехать Новороссийск, Анапу. А после Анапы будет Ялта. Ехать во всяком случае еще долго. Раньше чем часа через три-четыре завтрашнего дня не приедем. В Анапе в 1926 году я прожил месяц. Довольно много воспоминаний, но не творческого порядка, а скорее любовного. Кроме того, я там чуть-чуть не был съеден стаей диких собак. Если бы не моя находчивость и храбрость (Вы, наверное, обратили внимание, что я наделен этими качествами в избытке), то вряд ли бы я продолжал жить и радоваться в 1934 году. Вот так я вспоминаю случаи из жизни. Вспоминаю также еще одно выдающееся событие. В 1929 году, в Туапсе, я видел, как солидный и взрослый мужчина бежал с выражением крайнего испуга на лице от свиньи. Свинья почему-то была им очень недовольна и всячески пыталась его укусить. Зрелище, достойное кисти Айвазовского. Чем дольше я еду, чем ближе подъезжаю к Ялте, тем хуже делает-

ся мое настроение. Это сплошной нервный зуд. Уже спать не могу, в общем все «удовольствия», связанные с плохим характером. Ах, если бы это путешествие я совершал не один, а с тобой, моя любимая Ляля. Как бы это было замечательно. Пока что мне приходится об этом только мечтать и строить на эту тему воздушные замки. Грустно мне. Ужасно грустно.

...В музыкальном салоне есть прескверный рояль, на котором я вчера поиграл. Удовольствия никому не доставил и сам не получил. Добрая половина клавиш не действует. Жалко. А то, когда я грущу, люблю побаловаться игрой на рояле. На некоторое время становится легче.

Мое солнышко, хоть и далеко ты, но все-таки лучи твои доходят и согревают мою душу. Вообще, Ляля, извини меня, но ты мне столь дорогой и близкий человек, что я не могу обращаться к тебе на «Вы». Не сердись и, если тебе очень неприятно, дай в Ленинграде об этом знать. Если я задержусь в Москве, то напиши мне туда по адресу: Москва, 9. До востребования».

«30.VI.1934. Ляля, подъезжаю к Ялте. Не могу ударжаться и не написать тебе прощальный привет. Все время вспоминаю название пьесы Афиногенова «Страх». Не столь пьесу, сколь название. Мне страшно. Что-то меня ждет в Ялте. Ночь сегодняшнюю не спал. Встал в четыре часа утра. Уже светло. Погода чудная, море тихое. При выходе на палубу мне уже казалось, что я вижу Ялту. Это, конечно, ерунда. Никакой Ялты еще видно. Будем там через час примерно. За вчерашний день и сегодняшнюю ночь пароход сильно сократил свое опоздание. В Ялту приедем с опозданием на час, на полтора.

Жди меня в Ленинграде и обязательно приходи в тот день и час, который я назначу в телеграмме.

Писать больше не могу. Слишком сильно я сейчас страдаю. Целую крепко-крепко. Страстно любящий Д.Шостакович».

В Ялте Шостаковича встретила жена Нина Васильевна, отсюда они на пароходе отправились в Одессу, из Одессы в Москву и в Поленово, в Дом отдыха Большого театра. В Поленове Шостакович вел двойственную жизнь. По воспоминаниям

М. В. Кубацкой, «он был все время вместе с женой и большого общества не искал. Это была их лучшая пора». О разрыве не было и речи. Но уже 6 июля переписка с Константиновской возобновилась. Среди излияний и изложения забавных происшествий сообщается о трудном творческом состоянии — очередном периоде застоя, о наметках оперы-фарса, что приобретает важное значение в контексте других оперных планов тридцатых годов. Существенно и упоминание о сочинявшихся фугах. Что касается планов личной жизни, то Шостакович делает многозначительное и для возлюбленной отнюдь не обнадеживающее признание: «Человек я очень слабохарактерный и смогу ли я достигнуть своего счастья, не знаю».

«6.VII.1934. Поленово.

Ляля. Рассчитывал я от Вас получить в Москве письмо, но зря. Письма не было. Очень прошу Вас написать мне по адресу: город Таруса Серпуховского округа. До востребования. Пишите лишь в том случае, если хотите продолжить со мной знакомство. Отсутствие письма в Москве воспринял как оскорбление. Я ведь Вам писал, чтобы Вы написали по адресу: Москва, 9. До востребования. Там писем не оказалось. Таруса находится очень далеко от Поленова. Это самая близкая почта. Если через шесть дней я там не получу письма, то между нами все будет кончено. Д.Шостакович».

«13.VII.1934. Поленово.

...Я каждый день хожу из Поленова в Тарусу. Это час ходьбы. И час обратно. При моей неподвижности это подвиг... Не сердитесь на мое предыдущее письмо. Я вспыльчив и очень обидчив. Я обижен на Вас еще за одно Ваше погрешение. Но сцену Вам устрою при нашем свидании. Вообще, очень много хочу Вам рассказать. Любовь моя к Вам разгорается все сильнее и сильнее. Что делать — не знаю. Необходимо мне скорее с Вами повидаться. Боюсь, что раньше 1 августа не удастся... Крепко-крепко целую и люблю все больше и больше. Д. Шостакович».

«17.VII.1934. Москва.

Милая Ляля. Я в Москве. Сегодня в одиннадцать часов утра выехал на машине из Поленова. После шестичасовой тряски

по ужасной дороге я очутился в Москве... Приехал я к Шеба-лину. У него пообедал и после этого пошел в «Националь» к одному ленинградскому товарищу. Там пообедал вторично. Затем пошел в кино и смотрел картину «Герои Арктики». Оттуда пошел к Шебалину пешком по бульварам, от всей души наслаждаясь чудной ночью и одиночеством... Завтра весь день проведу в Москве, а послезавтра уеду в Поленово. До сумасшествия скучаю по Вас. Надеюсь, что до возвращения в Поленово получу от вас письмо. Уж Вы, пожалуйста, пишите мне...

Когда я приеду в Ленинград, то за день до этого pošлю Вам телеграмму, где назначу место и время свидания. Очень прошу Вас прийти. Хочу серьезно с Вами разговаривать. Холодно, бесстрастно и объективно. Из этого не значит, что в беседе будет отсутствовать моя горячая к Вам любовь. Мою любовь к Вам я бережно провез через Баку, Батуми, Ялту, Гаспру, Севастополь, Москву, Тарусу, Бехово и пр. и пр. и пр. Она у меня растет... Подождите до 5-го или 10-го августа. Умоляю Вас... Обнимаю и целую. Д.Шостакович».

«Милая Ляля. Я задерживаюсь в Поленове до 10-го августа. Мне очень от этого обстоятельства грустно, но ничего не поделаешь. Так сложились дела. Грустно, что я не скоро увижу Вас, грустно что Вы мне не пишете. Знаю, что Вы очень заняты, что Вам трудно писать, что Вы устаете от большого количества работы и туристов. Задержка происходит из-за того, что у нас на квартире еще не окончен ремонт. А жить во время ремонта невозможно. Пыльно, грязно, ходят маляры, водопроводчики и т.д. Скучаю я без Вас. Вижу часто во сне. Думаю все время. Моя родная Ляля, вспоминаете ли Вы меня? Ждете ли меня или забыли? У Вас, наверное, столько пылких поклонников, что где уж всех запомнить. Жить здесь скучно. Погода последние дни стоит дождливая и холодная. Папирос нигде нету. Курю трубку. Скоро кончится табак и придется курить махорку. Единственное утешение у меня то, что рано или поздно я Вас увижу и скажу Вам, как я Вас люблю и как я тосковал без моей любимой Ляли. Немецким языком не занимаюсь. Музыка не сочиняю. Пишу только скучные-прескучные фуги. Читаю с восторгом Тургенева. С меньшим востор-

гом, но не совсем без такового прочел «Капитальный ремонт» Вашего ученика Соболева. Все же он талантливый человек и в некоторых местах это очень ярко чувствуется. Задумал я написать оперу-фарс. Сюжет я уже выдумал. Все элементы фарса налицо. Впрочем, самое интересное то, что начинается фарсом, а кончается кровавой трагедией. Думаю я об этой опере уже давно. И тут на свободе и на отдыхе додумал сюжет до конца. Теперь дело в мельчайших подробностях, а потом можно перейти к партитуре... Крепко Вас обнимаю и целую. Д. Шостакович».

«18.VII.1934. Москва.

Моя любимая, солнышко мое, Ляля. Сегодня я получил Ваше письмо, которое мне переслали из Баку... Спасибо тебе, моя радость... В Поленове я часто сидел, обрывая лепестки у ромашки по следующему способу: любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, своим назовет. И лишь только один раз вышло «к черту пошлет».

«26.VII.1934. Поленово.

Ляля. Спасибо Вам за Ваше последнее письмо...

Есть что-то подлое в той жизни, которую я веду сейчас. Сочинять я ничего не могу. А так как ничего делать тоже не могу, то стал ежедневно сочинять по одной фуге. Написал уже три штуки. Очень плохо получилось. Из-за этого чувствую себя несчастным. Вообще, гораздо приятнее работать запоем, много, без передышки, чем ничего не делать и «отдыхать».

«9.VIII.1934. Поленово.

Милая Ляля. Выезжаю я отсюда 12 августа. Буду дома 15-го. Задержался я здесь из-за того, что у нас в квартире ремонт. Провел время здесь хорошо, но очень скучно. Все время думал о Вас и о том, что Вы меня мало баловали Вашими письмами. Всегда очень страшно возвращаться домой после долгого отсутствия. В таких случаях всегда ждет какая-нибудь неприятность. На этот раз таковая уже произошла. Ряд граждан, по недоразумению называющихся композиторами, поднял травлю по адресу Иохельсона, Ашкенази*, да заодно и по моему адре-

*Иохельсон В.Е. — ленинградский музыковед.

су. Что-то будет? Честно Вам признаюсь, что я все время старался разлюбить и позабыть Вас, но ничего из этого не вышло. Мечтаю о том, чтобы Вы полюбили меня и стали бы моей женой. Видите, как далеко я зашел в своих мечтах, несмотря на то, что я в некотором роде женат. Что из этого выйдет, не знаю. Человек я очень слабохарактерный и смогу ли я достичь своего счастья, не знаю. Первое, что для этого нужно, это взаимность с Вашей стороны...»

Тринадцатого августа 1934 года в Москве произошел разрыв с Ниной Васильевной по ее инициативе. Но Шостакович не обрадовался обретенной «свободе», а воспринял ее как трагедию, сообщая Е. Е. Константиновской: «Мне очень грустно и тяжело это переживать». Как всегда в трудные минуты, находит утешение в творчестве: к 17 августа сочинена первая часть Сонаты для виолончели и фортепиано. Строит планы покупки дачи под Ленинградом и с этой целью берет какую-то работу за двадцать тысяч рублей. Все это непохоже на человека, спешащего начать новую семейную жизнь.

«17.VIII.1934. Москва.

Спасибо за письмо, моя любимая ненаглядная Ляля. Это была для меня огромная радость и поддержка в моем смятении чувств... Завтра еду в Ленинград.

...Привет от Вас Шебалину передать не могу, так как он уже давно уехал куда-то на юг. Я живу один в его квартире, так как его семья вся разъехалась. Ухожу с утра, прихожу поздно. В середине пути всегда покрываюсь холодным потом от ужаса. Ужас происходит из-за того, что... забываю закрыть дверь, когда ухожу. Страшные картины рисуются мне, но по возвращении нахожу все на месте. Каждый день вижу Атовмьяна*. У него растет очаровательная дочка. Очень ему завидую. У меня, как Вам известно, нет ни сына, ни дочки. И даже жены нет. Будет ли опять? Как Вы думаете? Ночами мне не спится. Начал работать. Сочинил почти всю первую часть Сонаты для виолончели и рояля. Насчет фарса не двигаюсь с места. Не-

*Атовмьян Л.Т. — композитор, составитель сюит из музыки Д.Д.Шостаковича к драматическим спектаклям и кинофильмам.

много охладел я к этой затее. Хочу купить себе дачу под Ленинградом. Для этой цели согласился сделать одну работу за двадцать тысяч рублей... Хочу Вас видеть безумно. Вы пишете, что поняли из моего письма, что я жалею о случившемся. Вы меня не поняли. Я не жалею. Вернее, я жалею умом, но не сердцем. Сердце же молчит. Ляля, как давно я Вас не видел. Больше двух месяцев. Люблю Вас все больше и больше. Учтите это обстоятельство и когда мы увидимся, то скажите мне, могу ли я рассчитывать на взаимность с Вашей стороны. И если «да», то ведь придется сделать все оргвыводы, чтобы не расставаться...»

Возвратившись в Ленинград, Шостакович налаживает отношения с женой и сообщает Константиновской:

«31.XII.1934.

Милая Ляля! Желая Вам в 1935 году больших радостей...

У меня очень больна Нина. Я совершенно измучился от утомления. Исполняю обязанности сиделки, сестры милосердия и т.д. Поэтому я Вам не пишу и не звоню».

В 1935 году Шостакович стал появляться с Константиновской открыто на спектаклях, концертах, приходил к ней домой на Кировский проспект, прислал ей письмо из Турции, куда ездил летом в концертное турне, привез ей оттуда подарок — сафьяновый чемоданчик, но из дому вынести его не решился. Письма этого периода, в сущности, отражают оттяжки, колебания. Последнее из сохранившихся писем датировано началом сентября: «...Дней на пять я беру у Вас «отпуск», так как нахожусь сейчас в очень тяжелом состоянии и мне нужно успокоиться. Будьте спокойны и Вы. Я все устрою обязательно... если ты не отказываешься быть моей женой...»

Развод Шостакович затеял своеобразным способом — через «посредника»: дело было поручено композитору А.А.Ашкенази, помогавшему Шостаковичу во многих бытовых затруднениях; практически беспомощный, он всегда нуждался в таких людях и имел их при себе.

Впоследствии Ашкенази откровенно рассказал, как он выполнял своеобразную миссию: «Нина Васильевна уехала с матерью в Детское Село, в Дом отдыха Академии наук. Шоста-

кович написал ей письмо о том, что просит развода, но сам опустить письмо в почтовый ящик боялся. Попросил это сделать меня, хотя почтовый ящик находился рядом с его домом. Ответа на письмо не последовало и тогда Шостакович попросил меня поехать в Детское Село, к Нине Васильевне. Он мне ужасные вещи говорил о ее отношении к нему... не уверен, что он был прав, как и Софья Васильевна, которая уверяла меня, что этот брак был навязанным, что Варзары чуть ли не с иконой требовали, чтобы он женился... Возможно, женитьба Шостаковича на Константиновской Софью Васильевну не очень устраивала, но ради развода с Ниной Васильевной она пошла бы на этот союз. Константиновская уже бывала у Шостаковичей, ее обласкали, но она вела себя прилично, повторяла, что, если Нина Васильевна не даст развода, она на брак не пойдет. Кто может судить о семейных делах! Позже я хорошо узнал Нину Васильевну: милая, добрая женщина.

Когда я приехал в Детское Село и стал ей излагать положение, что сам Шостакович об этом говорить боится, Нина Васильевна сказала: «Хорошо. Я согласна на развод». И ее мать Софья Михайловна поддержала решение дочери.

Еще раз открывался свободный путь. А Шостакович выжидал. Участились его встречи с Гливенко. Они не были преднамеренными. Гливенко рассказывала: «Судьба почему-то сводила нас».

В разговорах семейных дел не касались. Лишь однажды он заметил о Нине Васильевне: «У меня очень умная жена, очень умная...» «В 1935 году, — рассказывала Гливенко, — я жила летом на даче в ста километрах от Москвы. Приехала в Москву за покупками и на Арбате вижу Митю... Мы с ним долго-долго разговаривали. Потом я узнала от Зои, что он в то время разводился с женой и оттого у него было такое настроение».

О семейных делах стал советоваться с Алисой Максимовной Шебалиной — женой Виссариона Яковлевича Шебалина, это Шебалиной запомнилось: «Он приехал в Москву, как всегда, остановился у нас. Мы шли по Каменному мосту, и он сказал: «Я хочу иметь детей, что ты мне скажешь?» — «Нине нужно рожать». — «Вот спасибо. Теперь знаю, о чем буду говорить». — «О чем?» — «Или у меня будут дети или пусть уходит».

Спустя сорок лет Е. Константиновская так рассказала о грустном финале неудавшегося романа: «Я была измучена. Наконец он решился. Все было как в дурном сне. Я прождала до глубокой ночи. Позвонила ему. Жена ответила: «Дмитрий Дмитриевич остается дома».

На этом все кончилось...»

В мае 1936 года у Шостаковичей родилась дочь. Увлечением была поставлена черта: он всегда и настойчиво говорил об ответственности перед детьми, о том, что, как бы ни было трудно, семья должна сохраняться ради детей. Это убеждение слышали сестры, друзья. Об этом знала и Гливенко, как о незыблемом принципе: «Когда появились дети, даже если бы он развелся, он бы со мной не сблизился. Он придерживался твердого взгляда, что ради детей семью нужно сохранять — это я точно знаю. Когда сын Марии Дмитриевны развелся, Дмитрий Дмитриевич возмутился и воскликнул: «Как можно, когда есть ребенок!» Очевидно, у него с женой была договоренность ради детей семью не ломать...»

А Константиновская?

«На меня посыпались несчастья. По доносу меня исключили из комсомола, арестовали. В тюрьме я получила открытку от Шостаковича. Когда меня выпустили, он пришел ко мне с альбомом ругательных рецензий подмышкой: это было в 1936 году после разносных статей «Правды» о его творчестве. Он сказал: «Вот видите, как хорошо, что Вы не вышли за меня замуж».

Я попросилась в Испанию, где шла гражданская война. Там я познакомилась с кинооператором-документалистом Р. Карменом и вышла за него замуж. Когда я возвратилась, мать Шостаковича Софья Васильевна сказала: «Вот Ляля и вернулась с хорошим мужем». На что Шостакович ответил: «Кто знает, может быть, ей было бы лучше стирать пеленки моих детей».

Дружеские отношения с Марией Дмитриевной, Софьей Васильевной сохранялись. Они называли меня «наша несостоявшаяся родственница».

* * *

Семью укрепило не только рождение дочери, но и гонения, последовавшие вслед за статьями «Правды», в которых Шос-

такович объявлялся формалистом, пишущим чуждую народу сумбурную музыку. Он узнал трусость и предательство тех, кто еще недавно его восхвалял. Почти никто его не поддерживал — шельмование было единодушным, с робкими оговорками.

В тяжелое для него время Нина Васильевна сохранила спокойствие: в доме ничего не менялось. Она проявила себя верным другом, хотя от музыки его была достаточно далека.

Решили иметь еще одного ребенка, и родился сын, названный Максимом — в память Максима Кострикина, арестованного и расстрелянного в 1937 году.

В тот год репрессии коснулись и семьи Шостаковичей и друзей: арестовали мужа старшей сестры профессора Фредерикса, а ее выслали в Среднюю Азию, отправили в концлагерь тещу Софью Михайловну Варзар. Летом был расстрелян М.Н.Тухачевский, с которым Шостакович дружил. Круг сужался: Шостакович тоже ожидал ареста.

В эту пору Нина Васильевна проявила себя как надежная опора, не терявшая стойкости, поддерживавшая измученного мужа.

Он сочинял Пятую симфонию, и в горестях выковалась ее необыкновенная высота, классическое совершенство.

После симфонии Шостакович обратился к квартетному творчеству: появился Первый квартет, справедливо названный весенним. В нем отзвуки счастливого отцовства. Семейные радости перенеслись в светлую, солнечную музыку Квартета. Сам Шостакович связывал ее с образом детства: «Сочиняя свой Первый струнный квартет, я стремился передать в нем образы детства, несколько наивные, светлые, весенние настроения».

Пожалуй, больше никогда не появится у Шостаковича такой безоблачной картины. Она полностью соответствует счастливой семейной жизни в те три довоенных года и сопутствующему душевному спокойствию. Пятая симфония, возвратив славу, признание, упрочила материальный достаток: от заказов не было отбоя. Музыка к фильмам «Волочаевские дни», «Великий гражданин», «Друзья», «Человек с ружьем», «Выборг-

ская сторона», «Сказка о глупом мышонке» принесла огромные гонорары. Они позволяли содержать в помощь Нине Васильевне няню и домработницу для ведения хозяйства. Трехкомнатную квартиру на Кировском проспекте сменяли на просторную четырехкомнатную, с большой лоджией, ее обставить помогли старики Варзары, знавшие толк в красивых и добротных вещах. Появилось некое подобие уюта, удобства. Из коридора Нина Васильевна выделила маленькую фотолaborаторию: занявшись фотографией, она систематически фотографировала мужа и таким образом складывалась своего рода фотолетопись его жизни.

Теперь Шостакович — в центре жизни ленинградских композиторов, и это касается не только творчества, но и быта, происшествий в семье. В письмах к В.Шебалину, перед которым раскрывался особенно откровенно, прежняя наивность сочетается с острой психологической наблюдательностью. Вот ленинградских музыкантов взбудораживает трагедия в семье композитора Валерия Желобинского. В порыве ревности он стреляет в жену, ранит ее, а затем и себя. Негодование коллег разделял Соллертинский. А взволнованный Шостакович пишет об этой трагедии в стиле Достоевского, с обстоятельностью, напоминающей страницы «Братьев Карамазовых». Чтобы понять и помочь, едет в больницу навестить жену Желобинского и его самого, по словам Шостаковича, «всеми забытого и презираемого». Взвешивает доводы «за» и «против». И признается Шебалину: «Сгоряча я сделал некий вывод. Я писал — он законченный негодяй или сумасшедший. Должен заявить, что скороспелые суждения иногда бывают несправедливыми... После происшедшего я поддался первому порыву. Порыв прошел и настало время анализа...» Анализ привел к выводу: «Считаю свою предыдущую оценку неправильной. Слишком легко и просто рассуждать. После моей беседы с Соллертинским последний тоже несколько сбавил свой гнев... Во мне умер и прокурор и адвокат». Чувства людские сложнее схем, приговоров. Мы видим, как в жизни его все более волнует проблема справедливости, понимания человеческой личности.

Законченные формы обретает его многосложный характер. Творческой зрелости сопутствует зрелость личностная. Мариэтта Шагинян, познакомившись с ним, пишет в своем дневнике: «Впечатление от его личности еще более сильное, чем от его музыки, — очень хороший, чистый, непосредственный, без фальши, но есть много от польского национального характера...»* По ее просьбе М.Зощенко подробно высказывает свое суждение — результат наблюдений, подчеркивая связь натуры с искусством: «Вам казалось, что он — «хрупкий, ломкий, уходящий в себя, бесконечно непосредственный и чистый ребенок». Это так. Но если бы было только так, то огромного искусства (как у него) не получилось бы. Он именно то, что Вы говорите, плюс к тому — жесткий, едкий, чрезвычайно умный, пожалуй, сильный, деспотичный и не совсем добрый (хотя от ума добрый). Вот в каком сочетании надо его увидеть. И тогда в какой-то мере можно понять его искусство.**

Весной 1943 года, в разгар войны, Шостаковичи переселились в Москву. Была предоставлена большая пустая квартира на улице Кирова, и пришлось начинать обустройство, а это оказалось столь трудным, хлопотным, что Шостакович выбился из творческой колеи. Помогали Вильямсы — художник Петр Вильямс и его жена Аннуся: с ней Шостакович подружился еще в тридцатые годы.

Во дворе дома на улице Кирова размещалась тогда научная лаборатория по изучению космических лучей, которой руководил известный физик Артем Исаакович Алиханьян. Он был соучеником Нины Васильевны по Ленинградскому университету: отсюда шло знакомство. Алиханьян предложил ей занять в его лаборатории должность младшего научного сотрудника.

Нина Васильевна проявила себя толковым физиком и ей поручили тему, связанную с пребыванием ежегодно в течение нескольких месяцев в Армении, в обсерватории на горе Арагац. Шостаковичу поездки не нравились, но терпел и не считал себя вправе лишать жену любимого дела.

*Из дневника. Цит. по: Шагинян М.С. 50 писем Д.Д.Шостаковича. С. 130.

**Из письма М.М.Зощенко к М.С.Шагинян. Цит. по: Шагинян М.С. 50 писем Д. Д. Шостаковича. С. 131.

В 1947 году им предоставили лучшее жилье в новом доме на Кутузовском проспекте: пробили стену, соединили две квартиры и получили кабинет, спальня, столовая, детская с удобствами. По распоряжению Сталина Шостаковичу была подарена дача в Кратове, которую обменяли на дачу в Болшеве. Таким образом, семья прочно обжилась в Москве, на Кутузовском проспекте. Там и встретили еще одну полосу изничтожения, в 1948 году. И вновь Нина Васильевна оказалась опорой, помогла Шостаковичу преодолеть беду, справилась с материальными трудностями.

Вскоре она, однако, сблизилась с Алиханьяном. Талантливый, компанейский, начисто лишенный тех нервных комплексов и страхов, которые делали Шостаковича беззащитным, Алиханьян окружил Нину Васильевну заботой и лаской: впервые она почувствовала твердую мужскую руку, на которую могла опереться. Полюбила ли она Алиханьяна? Послушаем откровенное свидетельство ее закадычной подруги Анны Вильямс, записанное, когда супругов Шостаковичей уже не было в живых: «Нет, Нина не любила. Это была физиология. Его силы, мысли, жизнь отдавались музыке, которая требовала всего человека. А ей, столь жизнерадостной, наверное, не хватало совсем земного». Галина Серебрякова, дружившая с Алиханьяном, считала по-иному: отдавая должное характеру и заботам Нины Васильевны, замечала: «Но любила она Артема Алиханьяна. Он, Алиханьян, показывал мне несколько ее писем».

Семейного разрыва не произошло. Шостакович как бы принял измену жены. Не было ни скандалов, ни громких объяснений, а если и пришлось что-то оговорить, то произошло это спокойно, так что никто, и особенно дети, ни о чем не узнали.

«Шостаковичи детей не бросают» — эта фраза, которую Дмитрий Дмитриевич по другим семейным поводам не раз повторял, объясняла ситуацию лишь частично. Он слишком много творчески перенес, настрадался, чтобы прибавлять еще и семейные катаклизмы, переезды, новые устройства. Он признавал право жены на новое чувство — ведь и сам он в прошлом, будучи женатым, влюбился. Он понимал, что нести ей груз

брака с ним было нелегко, и давно примирился с тем, что полного семейного счастья не достигнет. Может быть, измена Нины потому и не явилась для него столь уж большой неожиданностью: он ее предвидел.

Но парадоксально то, что любовь его к Нине Васильевне не угасла. Ничто не менялось в каждодневном обиходе, воспитании детей. Алиханьян появлялся в доме, как добрый знакомый, запросто, посиживал, разговаривал с Шостаковичем.

Достоинство, с каким держались супруги, пресекало пересуды и сплетни. Коллеги и знакомые удивлялись, но молчали.

Шостакович нашел утешение в чувстве к своей талантливой ученице Галине Уствольской, и от Нины Васильевны это не скрыл. Уствольская была единственной студенткой-женщиной в шостаковичском композиторском классе Ленинградской консерватории, когда в 1937 году Шостакович согласился на педагогическую работу. В женщин-композиторов он не верил.

Обучение Уствольской проходило трудно. То, что она сочиняла, не укладывалось в консерваторские рамки, и Шостаковичу, как он позднее вспоминал, приходилось вести за нее с коллегами «форменные бои». Необычным был ее характер — замкнутый, бескомпромиссный, с обостренной нервной чувствительностью, да и внешний облик — невысокой девочки с челочкой, в свободных однотипных платьях, изящество которых заключалось разве лишь в их предельной простоте.

Сохранилась написанная рукой Шостаковича и предназначенная для консерватории автобиография Уствольской: отчаявшись получить от нее этот документ, необходимый для ее пребывания в аспирантуре, Шостакович сочинил его сам. Дата — 1947 год, в тот год после перерыва, вызванного войной, Уствольская продолжила обучение у Шостаковича.

Роман был бурным, и творчество тоже являлось как бы действующим его лицом: так судьба опровергла давнишнее, высказанное в письме к Константиновской убеждение: «я бы на композиторше не женился».

Встречи происходили в Ленинграде, куда Шостакович часто ездил. Вот как о них рассказывала Галина Ивановна Уствольская 14 мая 1977 года, когда это стало прошлым:

«Я долго жила в коммунальной квартире, вместе с родителями — там Дмитрий не бывал. А вот когда переехала в квартиру на Благодатном переулке, он, приезжая в Ленинград, часто приходил. Я там жила четырнадцать лет, на которые пришлось и наше тесное общение... Ездили за город. Однажды шли по лесу, и он вдруг разбросал между деревьями деньги! Стояла ранняя весна. Подтаивал снег. Он любил снежный покров. Когда таял снег, ему становилось грустно. Дважды я была на даче в Болшеве... Мы много гуляли. Тогда были в моде разговоры о летающих тарелках. Как-то он увидел в небе летящую точку и заметил: «Вот летающая тарелка. И на ней люди». Он был очень впечатлителен.

После премьеры «Песни о лесах» в Ленинграде мы пришли в Европейскую гостиницу, где он тогда жил, и он зарыдал, уткнувшись в подушку. На столе стояла водка и закуска. Выпил немножко и быстро утешился. Тогда он любил иногда подхлестнуть себя алкоголем. Но пьяным не бывал».

Обучал Шостакович Уствольскую, как и других учеников, не отдавая ей предпочтения. Влиянию учителя она не поддавалась. Считала: «Лучший курс жизни — все перенести в себе. Я изучала музыку. Но это не было связано лишь с рекомендациями Дмитрия Дмитриевича. Готовое меню не годилось. Играла сама. Раза два с ним играла в четыре руки, но не в классе, а у него на квартире: он тогда уже переехал на Можайское шоссе, позднее наименованное Кутузовским проспектом. Он подарил мне симфонии Малера. Давал Стравинского. Я слышала сделанное Шостаковичем переложение «Симфонии псалмов» Стравинского».

Уствольская показывала Шостаковичу все, что сочиняла. Он хвалил, восхищался, находил для себя некоторые импульсы — это сказало, в частности, в Пятом квартете, куда включил тему из финала Трио для кларнета, скрипки и фортепиано Уствольской.

«Он мне говорил: «Ты — явление, а я — талант». Он умел увлекаться. Как-то сказал, что общение со мной делает его лучше, при этом он никогда не помогал публиковать мои сочинения, не способствовал их исполнению». Сокровенность его

чувства не позволяла. И выходило, что самая талантливая его ученица, близкая ему как женщина, жила бедно, ее сильную и новую по языку музыку почти не играли, считали «модернистской», а Шостакович, занимавший официальные должности, слово которого было столь авторитетно, сохранял нейтралитет, хотя творчество Уствольской ценил очень высоко, огромное напряжение ее музыки действовало на него так, что однажды, услышав Октет, вынужден был затем покинуть концерт — как он писал, «Октет на меня произвел столь сильное впечатление, что я не смог себя заставить слушать второе отделение... Удивительно прекрасная и сильная музыка»*

В ноябре 1954 года Нина Васильевна в очередной раз уехала в Армению, на Арагац. Оттуда позвонила домой, в Москву: «Пеките пироги. Соскучилась по домашней еде».

3 декабря Шостаковича вечером вызвали из Большого зала консерватории, с концерта баса Бориса Гмыри: в Ереване Нине Васильевне сделали операцию.

Он полетел в Ереван с дочерью Галей, у сына еще не было готово зимнее пальто.

Нину Васильевну увидел уже без сознания и волновался, что форточка в палате открыта, и она может простудиться.

Гроб с ее телом везли на самолете, а Шостакович с дочерью ехал поездом. Их встречала А. Вильямс: «Шел мокрый снег. Я вошла в купе. Он повредил палец и пришлось заехать в Кремлевскую больницу, а оттуда домой. Нина лежала в столовой на столе, в цинковом гробу. Митя сказал: «Какая она хорошенькая».

Хоронили 9 декабря из квартиры на Кутузовском. Звучала в записи Восьмая симфония, написанная в 1943, в пору полного семейного согласия. Стоял лютый мороз, и на Новодевичьем кладбище, отказавшись от речей, Шостакович повторял: «И мне здесь есть местечко. И мне тоже!..»

Горевал сильно. Плохое не помнилось — только хорошее. Страшно было, как будет растить, воспитывать детей, вести

*Из письма Б. И. Тищенко от 9 февраля 1971 года. Архив Б. И. Тищенко.

дом. На девятый день домработница Мария услышала из кабинета рыдания.

Человеческая злоба, всегда жестокая к гениям, нашла повод: распространялись слухи, что причиной смерти была не лучевая болезнь, а внематочная беременность, «о болезни Нины Васильевны прибывали пасквильные письма. Он их не читал». (А. Вильямс.)

Потянулись трудные будни. Дому нужна была хозяйка, Шостаковичу — опора, женщина.

Вдовство усилило интерес в нему — знаменитому и еще не старому: в сорок восемь лет он сохранял в облике нечно юное. По Москве поползли слухи: в качестве «невест» называли пианистку Татьяну Николаеву, с которой встречался в связи с исполнением его прелюдий и фуг. Часто появлялась овдовевшая семь лет назад Аннуся Вильямс, приносила пирожки, но близости не получалось: «Это было невозможно — я думала о Пете, он о Нине. Прошлое нас разъединило».

Возник план женитьбы на Галине Уствольской: теперь давнишняя любовь могла получить реальное воплощение. Секрета не делал. Сказал об этом детям. «Хотел приблизить меня к себе сразу. Писал много писем, — вспоминала Уствольская. — Когда мне удаляли гланды в клинике Военно-медицинской академии, писал по два письма в день, и няня удивлялась: «Что это тебе за мальчишка пишет!» Писем могло быть и больше, если бы я была более общительной... Он подписывался — «Твой Митя», настоятельно просил, чтобы я называла его Митей. Я так не могла и подписывалась Галя Уствольская... Он любил, когда я говорила по-немецки, и просил: «Поговори по-немецки». В «Песне о земле» Малера я переводила ему Abschiedslied. Он хотел выучиться по-немецки, но не смог. Спрашивал: «Почему ты не хочешь выйти за меня замуж?»

Уствольская на это не решалась: не чувствовала себя способной к самоотдаче, необходимой Шостаковичу, к ведению семьи с его взрослыми детьми, хозяйству, бытовым заботам, а главное, ее любовь не была такой, чтобы все отступило и разум замолчал.

Появилась на горизонте Галина Серебрякова, возвратившаяся из долгого заточения. В двадцатые годы она вышла замуж

за крупного партийца-дипломата Г.Сокольников, жила в Англии, писала книги о Карле Марксе — блестящая, преуспевающая, красивая женщина. Во время сталинского террора тридцатых годов Сокольников расстреляли, Серебрякову отправили в концлагерь, где она пробыла семнадцать лет. С Шостаковичем после возвращения она встретилась в Кремле, на собрании, где в присутствии Н.С.Хрущева и других партийных руководителей рассказывала о репрессиях: «Я выступала, рассказала все в открытую — о своих муках. В зале кто-то упал в обморок. Когда заседание закончилось и выступавшие остались с членами правительства, мне сказали:

— Вас там кто-то спрашивает...

— Пропустите.

Это был Шостакович. Мы не встречались лет двадцать. Он не искал меня. Не помогал моей дочери. Оказалось, это он упал в обморок в зале, после моего рассказа.

Встреча была странной. Он там же, в Кремле вынул свою записную книжку, показал там мой номер телефона, адрес — Варшавское шоссе, дом 2, квартира 19, — как доказательство, что он меня не забыл: «Видишь, я все уже узнал, записал, но у меня не хватило мужества увидеть тебя старой, больной. Мне страшно было тебя увидеть».

Серебрякова на правах давней приятельницы бывала в квартире Шостаковича на Кутузовском — особенно часто в 1955 году. Впоследствии она вспоминала: «Один случай меня потряс. Я приехала к нему неожиданно. Захотелось и приехала. Шостакович варил манную кашу на кухне и волновался, получится ли каша:

— Я надумал покормить.

— Неужели никого в доме нет?

— Нет, а кормить надо. Я думаю, что сварю хорошую кашу.

Повеяло таким одиночеством: Шостакович и каша. В другой раз застала его сестру Марию Дмитриевну. Она мне обрадовалась, печалилась о брате, просила приезжать...»

Видя, что надежд на брак нет, Серебрякова тем не менее продолжала с Шостаковичем дружбу, он сочинил музыку к фильму «Год как жизнь» — о К. Марксе, по сценарию Серебря-

ковой, бывал у нее в писательском поселке Переделкино, где Серебрякова купила и оборудовала дачу и жила там с новым мужем, бывалым разведчиком Семеновым: этот человек с детективной биографией Шостаковичу нравился.

В 1956 году летом Шостакович участвовал в музыкальном жюри Международного фестиваля молодежи в Москве. Напротив него на заседании жюри сидела инструктор Центрального комитета комсомола Маргарита Андреевна Кайнова. Не будучи музыкантом, приставленная к жюри как комсомольский вожак, она в обсуждении конкурсных песен почти не участвовала, доверяя композиторам и поэтам распределять премии.

Шостакович попросил своего приятеля Евгения Долматовского: «Познакомь меня с этой девушкой!». Долматовский познакомил, не придавая этому факту никакого значения: вдовец Шостакович имел право на маленькую интрижку в комсомольском обществе.

На следующий день Шостакович позвонил Кайновой с предложением:

— Выходите за меня замуж.

— Но вы же меня не знаете, — удивилась Кайнова, ошеломленная скоропалительностью.

Что это было? Любовь с первого взгляда? Буря в сердце зрелого человека, требовавшая немедленного выхода? Или сочетание неизменных с молодости страстности и крайней нерешительности? Впереди маячил страх одиночества, опасался, что, как и прежде, будет колебаться, и бросился в омут, ни на что не оглядываясь, доверяя интуиции, так чтобы нигде не прозвучало «нет» и все обсуждения и пересуды преклились свершившимся фактом.

Кайнова не устояла. Примечательно, как буднично Шостакович сообщил об этом близкому семье человеку, своей помощнице Зинаиде Александровне Гаямовой. Рассказал между прочим, среди других дел, связанных с уходом за могилой Нины Васильевны: «Перед отъездом в Комарово я был на кладбище. Могила в очень хорошем состоянии. Я очень прошу Вас 4 августа передать сторожике Елене Петровне 50 рублей. Живем мы хорошо, только очень плохая погода. Сообщаю Вам важ-

ную новость. Я женился. Мою жену зовут Маргарита Андреевна Кайнова. Крепко жму руку. Д. Шостакович».

Обратим внимание: перед регистрацией брака Шостакович — на кладбище, на могиле матери его детей. О чем думал? Что переживал?

Молодая мачеха появилась в квартире на Кутузовском, где жили повзрослевшие дети, еще живо помнившие мать. Мачеха ничем не была на нее похожа, но авторитет отца и привычная атмосфера согласия долгое время исключали противоречия и конфликты.

Рядом с молодой женой Шостакович помолодел, в нем проснулся мужчина, он казался влюбленным, истосковавшимся по ласке, заботе.

Осенью 1956 года было отмечено его пятидесятилетие. К этой дате, в июне-августе, в первые месяцы жизни с Кайновой он сочинил Шестой квартет.

Вновь, как и в Первом квартете, созданном в период семейного согласия, в новом квартете преобладают свет, надежды. Констрасты сглажены. Темпы сдержанны. Каждая из четырех частей оттеняет грани единого чувства с удивительной тонкостью, никакие эмоциональные штрихи — тревожность и затаенная грусть разработки в первой части, излюбленной Шостаковичем пассакальи в третьей части — не смещают господствующего «акцента»: человек успокоился, радуется хорошим дням, солнцу. Видимо, Шостакович старался приблизить квартетную форму к уровню понимания Кайновой, не уступая, однако, в устойчивых чертах стиля и языка.

Лето супруги проводили в Комарово, на даче Варзаров — в той половине, которая после смерти Нины Васильевны отошла к ее детям. Соседство ее престарелых, убитых горем родителей не смущало. Шостакович старался ввести молодую жену в свой дружеский круг, наносил с ней визиты, в том числе и подругам Нины Васильевны. Помню, как встретила его с Кайновой в гостях, в дачном домике, и он познакомил с ней со старомодной учтивостью: «Позвольте представить вам — моя жена Маргарита Андреевна Кайнова» — это было сказано быстро, четко и как-то заученно. Другой раз увиделись в вагоне

пригородного поезда, по пути в Ленинград: Кайнова увлеченно читала книжку из библиотечки приключений, выпускавшей-ся Воениздатом, и в разговоре не участвовала.

Когда впоследствии я расспрашивала о Кайновой друзей, коллег Шостаковича, в их памяти мало что оставалось: вторая жена знаменитого композитора как-то не обращала на себя внимания. М.Блантер вспоминал: «Они у меня обедали. По его просьбе. Я поднял тост за нее. Еще была встреча в Праге, когда я с женой гостил у чешских композиторов. Пришел Дмитрий Дмитриевич с Кайновой, шутил, рассказывал анекдот — он это любил, остренькое. Она сказала неодобрительно: «Мужской анекдот».

Постепенно Кайнова разобралась в большой безалаберной семье, где без домработницы за стол не садились, деньги считать не умели и детям предоставлялась непонятная ей самостоятельность, а отец никогда не повышал голоса.

Многое ей в поступках и поведении детей не нравилось, и она действовала, как ей казалось, во благо, с комсомольской решительностью. Попривыкнув к внешней мягкости шостаковичского характера, она однажды похвалила песни Соловьева-Седого и заметила: «Вот ты бы, Митя, тоже такие песни написал». Шостакович побледнел, но ярость сдержал.

Приметы семейного конфликта назревали исподволь и обострились в связи с намечавшимся замужеством Гали Шостакович. Жених — Евгений Чуковский, хоть и был внуком знаменитого писателя Корнея Ивановича Чуковского, чьи книжки Кайнова знала, ей не нравился, и она этого не скрывала. Не ладились отношения и с пасынком Максимом. Атмосфера в доме накалялась. Спокойно мирясь с непониманием его музыки, Шостакович не мог вытерпеть бестактных советов и демонстративного примитивизма: это явилось последней каплей. Как всегда, сам от неприятных объяснений уклонился: решение расторгнуть брак изложил письменно и сделал это летом 1959 года, в Комарово, на даче, где можно было избежать, хотя бы поначалу, огласки, сочувствия.

Кайнова уехала в Москву, а вслед за ней привез вещи Мак-

сим: двадцатилетнего сына Шостакович ввел в неприятные хлопоты.

Разлад он переживал молча. В письмах сообщал: «...собираюсь подольше пожить в Комарове. У нас все благополучно». И даже в августе, когда разрыв совершился, повторял: «У нас все благополучно». Друга Лео Арнштама, по доброте пытавшегося помочь Кайновой, предупреждал: «Хорошо, что ты ей помогаешь, но не ожидай, что мое решение изменится». Расспросы пресекал. Серебряковой как-то обронил, что Кайнова не любила его музыки, и бросил такую фразу: «Понимаешь, тридцать тысяч вылетело в трубу». Однажды мы сидели в его кабинете, раздался телефонный звонок Кайновой — он был встревожен, что-то лепетал.

Оформив развод, Шостакович позаботился о материальном устройстве бывшей жены: купил для нее кооперативную квартиру в новом доме, определил ежемесячное пособие в двести рублей — в той же сумме, которую выделял дочери и сыну, когда они обзавелись семьями. Другьям, недоумевавшим по поводу щедрости к молодой, работоспособной женщине, он пояснил: «Она должна жить, как привыкла».

Вернулось одиночество, еще более горестное, чем прежде. Личная неустроенность усугубляла всегдашнюю нервозность. Обнаружились явные признаки злоеющей болезни конечностей. На свадьбе сына, выйдя покурить, Шостакович вдруг оступился, почувствовал сильную боль в ноге. Диагностировали перелом, отправили в больницу. Поехал в Тбилиси, чтобы подлечиться на курорте Цхалтубо, но ванны эффекта не принесли, и Шостакович сообщал с огорчением: «Врач говорит, чтобы ... я опять сюда приехал.... С сочинением ничего не получается. Это меня огорчает».*

Дома не сиделось. И без того частые путешествия, связанные с творческими и общественными интересами, в это время почти не прерываются: Варшава — на фестиваль «Варшавская осень», в Шотландию, Англию, Францию вместе с оркестром Ленинградской филармонии.

*Письмо З.А.Гаямовой от 7 июля 1961 года. ЦГАЛИ, ф. 2779, оп. 1, ед. кр. 98.

В творчестве возвращается к сатире — к теме гримас жизни: на стихи Саши Черного пишет вокальный цикл для сопрано «Сатиры» с номерами: «Критику», «Пробуждение весны», «Потомки», «Недоразумение», «Крейцера соната». Музыкальная интонация слита со словом, подает его выпукло, заостряя сатиру: театр масок с жутким смехом и исступленной жалобой:

Я как филин на обломках переломанных богов

В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов,

Я хочу немножко света для себя, пока я жив;

От портного до поэта всем понятен мой призыв.

Один из автографов сатир был подарен Г. И. Уствольской с надписью: «Дорогой Гале Уствольской от любящего Д. Шостаковича». И дата — 6 апреля 1961 года. К этому времени у Уствольской собралась уникальная коллекция автографов: Пятый квартет, цикл «Из еврейской народной поэзии», циклы на стихи Пушкина, фортепианные прелюдии и фуги, опера «Игроки»... Встречи с ней Шостаковича возобновились. Она тоже перенесла трагедию: в 1960 году потеряла мужа композитора Юрия Балкашина: он внезапно скончался от удущья в Репине, в Доме творчества композитора.

И она и Шостакович теперь одиноки, но от брака Уствольская по-прежнему отказывается.

Гнетущее одиночество Шостакович глушил все более интенсивной работой: взвалил на себя обязанности первого секретаря Союза композиторов РСФСР, председательствовал во множестве комиссий, был членом Совета мира. Не снижалась и творческая интенсивность: на 1959-1962 годы пришлись Первый виолончельный концерт, Двенадцатая симфония, Седьмой и Восьмой квартеты, «Новороссийские куранты», музыка к фильму «Пять дней — пять ночей», инструментовка хоров А. Давиденко «На десятой версте», «Улица волнуется».

Трудности личной судьбы возвращали к мыслям о прошлом, к образу Нины Васильевны. К ее пятидесятилетию сочинил Седьмой квартет, совсем небольшой — двенадцатиминутную миниатюру из трех, исполняемых без перерыва частей: музыка передает сложность чувств с чеховским тонким психологизмом и совершенством лаконичной формы. В этом изменчивом рассказе — скрытый драматизм, затаенная печаль. Ис-

пользуется форма элегии, вторая часть — мечта, романтика, чистота чувства. В финале квартета появляется таинственный и светлый вальс, и все замыкается кодой, характер которой становится типичным для финалов Шостаковича: печаль света.

Нет данных о каких-либо привязанностях Шостаковича в трехлетье — 1959-1962. По словам Анны Вильямс, «для женщин места не оставалось. Какая-то балерина, писавшая либретто, распространила слух о романе с Шостаковичем. Он шутил: «Покажите мне эту балерину, чтобы я знал, с кем у меня роман».

И все-таки где-то подспудно надежда на возможность нового семейного устройства сохранялась. Холостяцкая одинокая жизнь была не по характеру этому нервному человеку, с неугасавшими эмоциями: немолодой, больной, привыкший к работе, он более чем когда-либо нуждался в тепле и помощи.

Судя по воспоминаниям дружившего тогда с Шостаковичем музыковеда Л. Лебединского, знакомство с Ириной Антоновой Супинской произошло на концерте в большом зале Московской консерватории. Заметив черноволосую худенькую женщину в очках, стоявшую в кругу музыкантов, Шостакович спросил у Лебединского:

— Кто эта — «очкарик»?

— Редактор издательства.

— Так познакомь, — попросил Шостакович, как когда-то просил Долматовского.

Супинская как литературный редактор издательства «Советский композитор» участвовала в публикации оперетты «Москва, Черемушки». Возникшие вопросы приходило выяснять к Шостаковичу, и он смог ее увидеть поближе.

Это был человек с трудной, трагической биографией: рано потеряла мать, в 1937 году арестовали отца — крупного этнографа, воспитывалась у бабушки и деда, пережила с ними ленинградскую блокаду и перевезенная по Ладожской дороге жизни оказалась в детском доме, откуда ее вызволила и взяла на воспитание тетка. После окончания московского педагогического института имени В.И. Ленина Ирина Супинская

на педагогическую работу сразу устроиться не смогла и потому поступила в издательство «Советский композитор», как ей казалось, временно. Мужем ее стал экономист Гуревич, летами много старше: так устроилась ее самостоятельная семейная жизнь.

Перемена семейного положения Шостаковича на этот раз не произошла столь стремительно, как было в браке с Кайновой: встречи с Супинской на концертах, по издательским делам продолжались довольно долго и не давали повода для многозначительных выводов, лишь однажды супруга Давида Федоровича Ойстраха Оксана Ивановна, провожая мужа и Шостаковича в Ленинград, заметила на вокзале рядом с Шостаковичем молодую женщину и сказала об этом Марии Кожуновой: «Кажется, готовится что-то серьезное».

Что могло привлечь молодую женщину к Шостаковичу, кроме его славы? Ему было пятьдесят шесть лет, но, хотя болезнь его, диагностированная как полиомиелит взрослых, уже ясно проявлялась, стариком он не выглядел. Еще ходил бодро и быстро, работал без усталости, и нечто юношеское в его облике, тонком и порывистом, сохранялось, а его учтивость, приветливость, неугасавшее чувство юмора обвораживали всех, кто с ним общался. Начитанной, любившей музыку Ирине Антоновне импонировала любовь такого человека, возможность жить на высотах творчества и интеллекта, в общении с элитой духовного мира.

Совместную жизнь Шостакович и Супинская начали летом 1962 года, когда дети находились в подмосковной Жуковке, на даче, недавно купленной Шостаковичем у академика Алиханова — брата Артема Алиханьяна.

Оформление нового брака затянулось из-за развода Супинской, и только в ноябре брачное свидетельство было получено. Торжества не устраивали: так уж выходило, что все три раза Шостакович женился буднично, без огласки. На этот раз купили по набору кухонной мебели — себе и Гале и кое-какие бытовые устройства: Ирина Антоновна принималась за ведение дома основательно.

В первое время деньгами по доверенности распоряжалась, как это было прежде, Галя, но спустя полгода все перешло к

Ирине Антоновне, и постепенно она полностью освободила Шостаковича от бытовых забот. В творческих делах помогала Гаямова, после ее смерти пытались нанять других секретарей, но они Шостаковича не устраивали, и Ирина Антоновна приняла на себя и эти обязанности, однако в принципиальные решения мужа не вмешивалась. Совсем молодая женщина — сверстница его дочери — проявила те качества, которые нужны были Шостаковичу в это время. Когда неугасавшей жажде творчества сопутствовали роковые болезни, рядом был человек с редкой выдержкой, терпением, тактом, деловой хваткой, хозяйственностью, державшийся на людях естественно и скромно. Можно сказать, что с редкой гибкостью Ирина Супинская, став Ириной Шостакович, как бы впитала шостаковичский статус, поняла и восприняла смысл того, что можно было назвать высоким словом — миссия.

Шостакович это оценил, обращаясь с молодой женой ласково, спокойно, и от друзей ожидал доброго отношения к ней. Шебалину, пережившему два инсульта, жившему замкнуто на Николиной горе, писал об Ирине Антоновне: «У нее имеется лишь один большой недостаток: ей двадцать семь лет. В остальном она очень хорошая, умная, веселая, простая, симпатичная. Носит очки, буквы «л» и «р» не выговаривает. Надеюсь ... сумеем нанести Вам визит. В этом отношении жизнь меня побаловала».

На Николиной горе, куда повез жену к старому верному другу, было холодно. Шебалин говорить почти не мог, но смотрел на Ирину Антоновну с симпатией. Пили чай на террасе. Шостакович просмотрел рукописи Шебалина, несмотря на болезнь не прекратившего сочинение музыки.

Первым произведением, написанным Шостаковичем в период сближения с Ириной Антоновной, был хор «Бабий яр» на стихи Е. Евтушенко: тема была близка ей — человеку с двунациональными истоками — русскими и еврейскими. Ирина Антоновна принесла Шостаковичу в больницу, куда его уложили для очередного лечения, сборник стихов Евтушенко «Взмах руки», откуда Шостакович извлек тексты для последующих частей циклического сочинения, ставшего Тринадцатой симфонией.

Первым путешествием супругов по выходе Шостаковича из больницы стала поездка под Киев, в деревню Рудыки, к знаменитому басу Борису Гмыре, которому Шостакович сыграл симфонию и предложил спеть на премьере сольную партию.

Август супруги провели в Солотче, под Рязанью, где жила тетя Ирины Антоновны Ревекка Михайловна Гулева с мужем Константином Федоровичем Романовым — ответственным сотрудником Рязанского совнархоза: Ирина Антоновна убедила мужа, что в Солотче удастся отдохнуть от московских дел, вдали от людского любопытства.

В этом рязанском крае, воспетом Паустовским, не было пышных красот, которых навиделся Шостакович в южных краях; его радовали «скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном», слышал «крики перепелов и ястребов, свист иволги, суеуелный стук дятлов... шорох дождей в рыжей хвое».* Ничто так не отвечало его настроению, как эта скромная, исконно русская природа; только в детстве испытывал он похожее чувство, слушая лесные звуки в Ириновке, вблизи Петрограда.

Август был ясным и теплым. Иногда проходили ливни, освежая землю. Ранним утром в окна врывается густой чистый воздух, обостряя запахи трав и деревьев. Никогда еще в богатой переменами жизни не доводилось ему чувствовать себя столь умиротворенно. З. Гаямовой сообщал: «Мы хорошо здесь устроились и, наверное, проживем хорошо». Заботы Гулевых о племяннице и ее знаменитом муже не были навязчивыми. Утром Шостакович работал, писал письма, гулял, вечерами подолгу беседовал с Константином Федоровичем о хрущевских реформах, политических событиях. Ирина Антоновна оказалась единственной из жен, кому удалось сдружить Шостаковича со своими родственниками.

В Солотче Шостакович получил отказ Гмыри от исполнения Тринадцатой симфонии: певец не посмел ослушаться запрета

* Паустовский К. Г. «Мещорская старина», Собр. соч. в 6 томах, м.: ГИХЛ, 1958, т. 4 с. 194-195.

украинского начальства, не желавшего воспоминаний о Бабьем яре, где расстреливали евреев.

Ирина Антоновна затребовала у Гмыри партитуру обратно и с болью переживала затем вместе с мужем уклонение Е.Мравинского от дирижирования симфонией, безуспешные попытки Г.Вишневской найти исполнителя — баса, угрозу срыва генеральной репетиции и премьеры, — все это время Шостакович видел рядом жену. Появившиеся трудности сблизили их, помогли быстро пройти неизбежный в каждом браке этап привыкания друг к другу. Зная о печальном опыте взаимоотношений Кайновой с детьми, Ирина Антоновна удерживалась от вмешательства в их дела, поступки, в установленное Шостаковичем их материальное обеспечение. Отношения с Галей Шостакович сложились дружеские, с Максимом обоюдных симпатий не получилось; портрет матери висел в его комнате и других женщин как ее замены он не признавал. Но до открытого недоброжелательства с Ириной Антоновной не доходило. За эту сторону жизни Шостакович тоже теперь был спокоен.

Ирина Антоновна с ним почти не расставалась, ездили вместе, а поездок в шестидесятые годы, когда Шостакович являлся руководителем композиторской организации РСФСР, было очень много. Каждый раз Ирина Антоновна собирала необходимые вещи, бумаги, вела записи. Заметно уютней стала меблировка квартиры. Убедившись в равнодушии Шостаковича к одежде, нежелании менять ее, обряжаясь в новые костюмы, и вместе с тем в его крайней чистоплотности, Ирина Антоновна с утра наготавливала все необходимое, исходя из намеченных дел, встреч, следила за чистотой, своевременностью еды с блюдами, привычными Шостаковичу. Дом упорядочился и это помогало продуктивности работы. Постепенно Ирина Антоновна смогла даже до некоторой степени приблизиться к процессу творчества, вернее, к отбору литературных источников и работе над ними, что стало особенно важным в связи с тяготением Шостаковича к исповедальной поэзии. Стихи Рильке, Апполинера, Цветаевой, Лорки приносила Ирина Антоновна. Из больницы он ей посылает письма с перечис-

лением изменений, которые внес в стихи для музыки Четырнадцатой симфонии. Она присутствует во время его беседы с А.Вознесенским по поводу новых переводов сонетов Микельанджело для вокального цикла. С ней вместе задумывает и намечает либреттный план камерной оперы «Черный монах» по Чехову, и она в библиотечных архивах находит ноты Серенады Брага, которая звучит у Чехова как лейтмотив повествования и которую Шостакович блистательно обрабатывает для двух голосов, скрипки и фортепиано.

Летом, да и в другие поры года, Шостакович уезжал с Ириной Антоновной из Москвы в Репинский Дом творчества композиторов, под Ленинградом, в Дилижан — армянский композиторский Дом творчества, в Крым — как и прежде, весной, два раза — на озеро Балатон в Венгрии, в латышскую Юрмалу. Расширилась и «география» зарубежных путешествий теперь уже с женой — много раз: Англия, Франция, США, Болгария, ФРГ, ГДР, причем деловые интересы — постановки опер, концерты — сочетались с туристическими. Шостакович, повторявший, что «в гостях хорошо, а дома лучше», любивший, чтобы каждая вещь имела определенное, неизменное место и была привычна, теперь казался непоседой, приспособленным к гостиницам, к переменам. Что это было? Желанием жены открыть неизвестный ей мир или сдвигами в характере Шостаковича?

Можно предположить, что здесь парадоксальным образом сказывалась его болезнь, вернее, несколько болезней, интенсивные атаки которых начались спустя четыре года после женитьбы.

Весной 1966 года случился первый инфаркт в Ленинграде, после концерта, предшествовавшего шестидесятилетию. Больничная неподвижность усугубила нараставшую слабость конечностей.

Оправившись, Шостакович решил полечить ноги и руки у ортопеда Г.А.Илизарова, в Кургане. Туда ездил с Ириной Антоновной несколько раз и провел в клинике Илизарова в общей сложности около полугода, в небольшой палате, вместе с Ириной Антоновной, сумевшей и там наладить возможный

уют. Обнадеживающие результаты были достигнуты, но в 1971 году Шостаковича постиг второй инфаркт, и курганское лечение пришлось прекратить.

Он ужасно сопротивлялся болезням, не уходил в них, а, наоборот, противопоставлял им сохранившуюся вопреки всему активность, и поездки малоподвижного человека были формой сопротивления болезни, самоспасения, а может быть, и самолечения.

При этом в любой стране Шостаковичи обращались к врачам, искали выхода. И не находили.

В Москве Шостаковича по два-три раза в год укладывали в привилегированные больницы в Кунцеве или на улице Грановского, на первый этаж, где лечили иностранцев и куда обычно советские деятели не попадали во избежание контактов. Но Шостаковичу доверяли.

Ирина Антоновна проводила с ним в больнице весь день, с девяти утра до девяти вечера, а иногда и ночь: спала в кресле. Притерпевшись к больнице, Шостакович и там занимался сочинением музыки, общался с друзьями.

Ирина Антоновна в эти больничные месяцы являлась единственным связующим звеном между Шостаковичем и остальным миром. Она поддерживала больного мужа, отвозила в переписку нотные рукописи, звонила по нужным телефонам, следила, чтобы квартира и дача не запускались и все там было всегда готово для Шостаковича, занималась покупками: ее жизнь полностью подчинялась больному, немощному мужу, его воле, направленной на то, чтобы действовать, работать несмотря ни на что.

Нелегкой оказалась, таким образом, супружеская судьба у Ирины Антоновны. Она несла ее, не жалуясь, как человек, не по возрасту умудренный опытом и привязанностью: жена, помощница, сиделка.

В эту закатную пору о женщинах, с которыми судьба сводила его, Шостакович вспоминает только с добрыми чувствами. Нет ни обид, ни сожалений. Когда Б.Тищенко высказывает ему восхищение новым Трио Уствольской, он отвечает: «Я знаю и очень люблю ее Трио, скрипичную сонату, Двенадцать пре-

людей и многие другие произведения. А.К.Лядов (композитор) когда-то сказал: «Пушкин — явление великое. Когда-нибудь так будет говорить весь мир» (цитирую, возможно, не очень точно — С. Х.). Я верю в то, что творчество Г. Н.Уствольской обретет всемирное признание всех, кому дорого настоящее музыкальное творчество».* Эта характеристика становится широко известной. Он справляется о жизни Т. И.Гливенко, в Кунцевской больнице встречается с Галиной Серебряковой, а скульптурный портрет Нины Васильевны, изваянный Саррой Лебедевой, стоит в его спальне, перед глазами. Письма его к Нине Васильевне З. Гаямова передает детям.

После второго инфаркта и прекращения лечения у Илизарова Шостакович уже почти не передвигался, с трудом садился в автомашину, которую водила Ирина Антоновна, не мог застегнуть пальто, одеть кашне, ежедневная ванна завершалась с помощью Ирины Антоновны, которую вызывал из коридора звуками колокольчика.

Музыку продолжал сочинять: ноты записывал, поддерживая правую руку более подвижной левой, низко склонившись над столом. И так до самого конца, наступившего 9 августа 1975 года.

* * *

Среди истин, относящихся к жизни гениев, есть и такая: у гения должна быть не только хорошая жена, но и хорошая вдова.

М. А. Кайнова умерла вскоре после смерти Шостаковича. Никогда она о нем не высказывалась, писем его не оставила и вела себя так, словно и не было в ее жизни того несчастного замужества.

Ирину Антоновну смерть Шостаковича потрясла. Не только потерей, но и страхом, каким станет ее дальнейшее существование, без Шостаковича, чей авторитет и воля, каким бы ни была его мягкость, определяли все.

*Из письма 17 апреля 1970 г. Архив Б.И.Тищенко.

Завещания он не оставил. Устных распоряжений тоже. Был случай, когда, возвратившись после заседания о тяжбе по поводу наследства С. С. Прокофьева, измученный этим надругательством над памятью великого композитора, он сказал дома: «После меня чтобы такого не было, иначе я приду к вам с того света».

Это запомнилось.

После похорон Шостаковича Ирина Антоновна уехала с Галей на ее дачу в Комарово: это было знаком того, что нерушимость семьи сохраняется.

Договорились, что квартира на улице Неждановой со всей обстановкой и архивом Шостаковича останутся за Ириной Антоновной, а дети будут владельцами купленного Шостаковичем еще до брака дома в Жуковке, причем на участке, неподалеку от дома, Ирина Антоновна выстроит для себя отдельный летний дом.

Это положение сохранялось, пока Максим с сыном не остались на Западе.

Бегство сына и внука Шостаковича не могло на некоторое время не осложнить положение других родственников. Прежние враги Шостаковича, завидовавшие его славе, подняли головы в надежде на очередные запреты и поношения.

Ирина Антоновна просила — и все более настойчиво — передать ей в Жуковке кабинет Шостаковича для сохранности и будущего музея. Галина Шостакович это сделать отказалась, считая, что уже то, чем располагала вдова, — квартира, архив, деньги, выстроенная ею дача — обеспечивали ее полностью, а кабинет Шостаковича сможет сохранить и его дочь.

Возник конфликт. Вдова подала в суд и это вызвало бурю пересудов и сплетен: то, чего боялся Шостакович, свершилось.

Суд тянулся долго. Годы. Назначался. Начинался. Откладывался. В ход шли документы, свидетельства. Две семьи — дочери Шостаковича и его вдовы, жившие на одном участке, в соседних домах, не встречались, не разговаривали: враги.

В дело вмешался Т.Хренников, чье влияние распространялось за рамки Союза композиторов, который он возглавлял.

Судебное разбирательство прекратили. Кабинет на втором этаже Галина закрыла, располагаясь с семьей в помещении

на первом этаже, а лето проводя в Комарове.

Ирина Антоновна не оставалась одинокой, хотя замуж не выходила.

Первоначально спутник нашелся временный — грузинский режиссер, в Москву наезжавший по творческим делам.

После одного из путешествий Ирины Антоновны в квартире Шостаковича появился молодой азербайджанский архитектор и обосновался прочно, но, поскольку и эта связь официального оформления не получала, Ирина Антоновна пользовалась правами и привилегиями как вдова Шостаковича: ее приглашали на многие шостковичские фестивали, премьеры, концерты, она сохранила добрые отношения с его учениками, друзьями, помогала работе над книгами о Шостаковиче, покровительствовала некоторым авторам в устройстве их публикаций, главным образом, за рубежом, архив был упорядочен, описан, неисполненное передано для премьер Г.Рождественскому, Е. Нестеренко, квартету имени Бородина. Когда ситуация в стране решительно изменилась к либерализации, Ирина Антоновна дала ход неизвестной сатире Шостаковича на музыкальный консерватизм, на Сталина, Жданова — это имело огромный общественный резонанс. При участии Ирины Антоновны осуществился выпуск первого собрания сочинений Шостаковича.

Не все ей удавалось. Через пятнадцать лет после смерти гения музыки XX века еще не было музея, разрушались квартиры, где он жил, и другие связанные с ним памятные места. Разрозненно хранились, а иногда и пропадали письма, ранние сочинения. Здесь не было ее вины: хаос в стране сказывался и на культуре, на музыке.

Идет время.

Когда пишутся эти строки — к 1990 году из женской части семьи Шостаковича остались двое: дочь — в пятидесятичетырехлетнем возрасте и вдова — пятидесяти шести лет.

Биография гения, перипетии его трудной, трагической жизни отходят ко все более далекой истории...

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

БОРЬБА В КРЕМЛЕ —

ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Вслед за американским изданием (издательство "Додд. Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко на шумевшая книга "Андропов".

СОДЕРЖАНИЕ

**ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ: ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
КРЕМЛЬ — О МИРЕ**

**О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
ПОХОРОНАМИ**

**ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО
ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ
ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?
КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!**

**ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ
БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО
ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ
КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ**

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue
Leonia, NJ 07605, USA

РАЗГОВОР О ВАСИЛИИ СИТНИКОВЕ

Плотность «культурного слоя» в виде картин, скульптур, книг, журналов, рукописей, машинописей, магнитозаписей на 1 куб. см в нынешних апартаментах (15 м²) поэта и покровителя изящных искусств Константина Константиновича Кузьминского (ККК) сравнима только с плотностью прозы «Между собакой и волком» Саши Соколова. Хозяин ухитряется примостить меня вне «высокого и прекрасного» на складной табуретке поближе к кухонной раковине, втиснув самого себя в зазор между газовой плитой и гигантской рукописью монографии о жизни и творчестве художника Василия Яковлевича Ситникова. Эткими персонажами из «Пьес кухонных раковин» Гарольда Пинтера обсуждаем замену не получившейся попытки устроить выставку Ситникова в Нью-Йорке вернисажем в журнале «Время и мы».

— Константин Константинович, вы же сами только что сказали, что он был первый неофициальный русский художник. Вернисаж «Время и мы» не может не представить своим читателям первого во времени.

— Не только во времени, но и в пространстве. В современной русской живописи я отдаю ему предпочтение даже перед Анатолием Зверевым и Владимиром Яковлевым, а эти художники выше всякого уровня.

В монографии Кузьминского о Ситникове шестьсот страниц. Это бесценный документ: помимо многочисленных репродукций работ художника с его подробнейшими примечаниями к этим работам (каждое из них это своего рода красочный рассказ) она содержит еще письма Василия Яковлевича к брату. ККК — со свойственным ему отсутствием страха перед самыми признанными авторитетами — замечает, что «стань эти письма известны Ван Гогу, он выскочил бы из могилы и оттянул бы себе из зависти второе ухо» — настолько эти письма полнее знаменитых писем к Тео в описании жизни автора: о творческих озарениях художника здесь говорится абсолютно раскованно, неудержимо, в одном потоке с рассказом о мельчайших подробностях жизни.

Константин Кузьминский был тесно связан с Ситниковым с 1985 года до его смерти в 1987. Полгода художник прожил у Кузьминского в галерее, работая над монографией. Кузьминский рассказывает, как Ситников был арестован в начале войны в возрасте 28 лет НКВД и был посажен в Казанскую спец-психбольницу, как выжил в казанских лесах на «рагу из лягушек», как рисовал в психушке портреты сумасшед-

ших, как вернулся в Москву после войны, как стал первым художником андерграунда, замеченным иностранными коллекционерами.

На мой вопрос, почему у Ситникова так много незаконченных работ, ККК отвечает так: «Васька (так ласково его звали за глаза друзья) не дорисовывал все картины. Картина была для него вне времени и пространства. Она могла продолжаться бесконечно, могла начаться и остановиться на наброске, понятия о законченной картине для Ситникова не существовало: картина жила, пока жил он... У него было очень странное отношение к своим работам: проданные работы он продолжал считать своими, он был способен прийти в дом, снять свою картину, уже купленную хозяевами дома, и унести ее в неведомом направлении».

В шестидесятых-семидесятых годах Ситников был самым ходким художником среди иностранцев. Работы его разползлись по всему миру, собрать их практически невозможно. Константин Кузьминский вспоминает: «Когда как-то у Володи Некрасова Евтушенко начал вдумчиво говорить о политике и о генерале Пиночете, Васька выскочил таким чертиком: «А я ему картинку продал!» — «Кому-у-у?!» — «А Пиночету этому». Картины его приобретались и для Элизабет Тейлор, и для Софи Лорен, и для Лоллобриджида. В результате, когда несколько лет назад в Москве хотели показать Ситникова на какой-то выставке, нашли — с трудом — только одну его картину».

— Как он оказался на Западе?

— В 1976 году, в январе месяце, я его встретил в Вене, — продолжает Кузьминский. — Он уехал, чтобы поразить мир своим искусством. Сначала мадам Беттина (хозяйка отеля «Цум Тюркен» — прибежища советских эмигрантов) за тарелку супа вылуцивала из него рисунки, затем ему предложили рисовать обнаженку на товарняк за большие деньги, Васька отказался: «Не хочу товарняк, хочу шедевр». Нашел мецената, хозяина мебельного магазина. Тот предложил ему в своем поместье под Веной, в замке, гигантскую мастерскую. И прокорм. Для начала Васька заколотил наглухо окна в мастерской со сказочным видом на Альпы досками: «Чтобы не мешали писать картину». Он нарисовал самый потрясающий из своих монастырей... Настоящих тем у Ситникова практически было три. Это или шар, или обнаженная натура: округлые формы женского тела, или поле, причем поле холмовидно-выпуклое, обязательно. И если шар, обнаженка, поле были основные объекты Ситникова (т.е., в сущности, одна тема: женщина и земля), то более охотно у него покупали монастыри, брейгелевские монастыри. Сначала он рисовал контуры монастыря, монастыри он изобретал. Потом рисовал в углу свой автопортрет, иногда со сковородкой, иногда с кистью, иногда — с чем попало. Затем населял монастырь невероятным количеством персонажей. Это была вторая стадия создания монастыря. На третьей ступени покрывал все это мириадами снежинок, тщательно вырисовывая каждую. И вся живопись скрывалась за этой пеленой снега. Я сказал — картины у него никогда не кончались, потом этот снег мог бы растаять в дождь, и он бы нарисовал радуго. Потом находила бы туча... Монастырь был для него товаром, но чтобы ему не скучно было работать, он рисовал эти совершенно брейгелев-

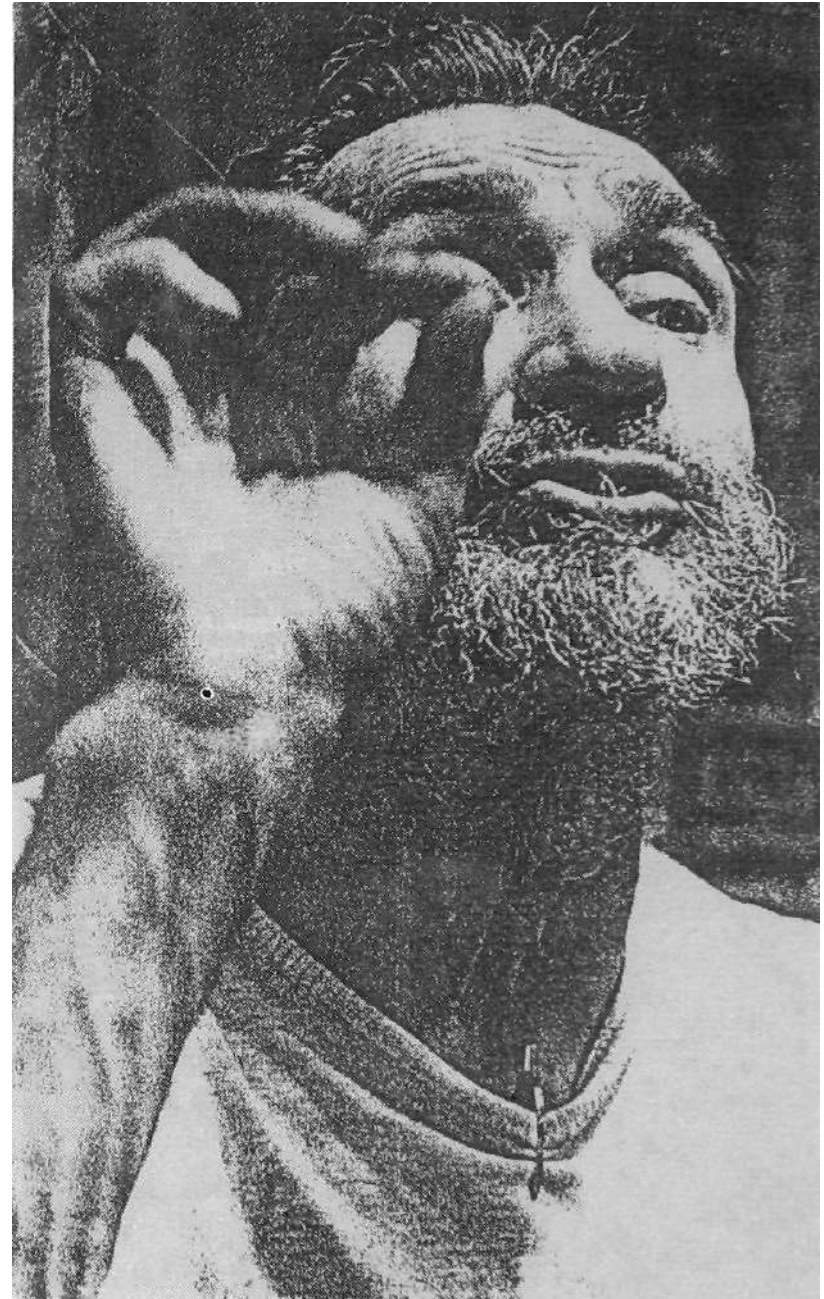
ские сцены в монастыре. Что только не происходит на картине, которую он писал несколько лет для продавца мебели: там стоят милиционеры в ряд, вяжут диссидента, задрав на нем рубаху, из черной «Чайки» выходят члены правительства, дворник вешает флаг, висит афиша: «В спец-психбольнице сегодня вечером демонстрируется заграничный фильм «Не было ни гроша, да вдруг алтын». А в центре картины его хозяин Фердинанд Майер высыпает из черного мешка доллары и Васька сгребаёт лопатой эти доллары... Хозяин повесил эту картину в своем магазине. Эту картину не увидел ни один искусствовед. О ее существовании знают только друзья Ситникова и хозяин мебельного магазина, а также посетители оно́го.

И наконец — через три года! — закончив картину, в 1979 году Ситников прибыл в Америку. Коллекционер русского неофициального искусства Нортон Додж попросил некоторых художников написать манифесты своего творчества. Ситников написал: «Мой манихвест (у него была своя орфография) можно выразить одним словом: качество». Любимым его художником был Иоганн Патинер, учитель Брейгеля.

По мнению Кузьминского, Ситников реалист, отнюдь не сюрреалист, как считают некоторые западные искусствоведы. ККК говорит: «Он часто описывал сам замыслы своих картин, ну, например: "Я лежу под звездами и читаю кобыле стихи, а она ест краюшку хлеба и добро смотрит на меня". Ну и где тут сюрреализм?. Реализм его простирался от лирики до раблезианского гротеска. Я бы его назвал христианином-раблезианцем — по своему восприятию мира».

Константин Константинович Кузьминский оставляет меня наедине с чудо-монографией. Восхищение, однако, омрачается весьма прискорбным фактом: монография существует только в рукописи, и ее сокровища недоступны любителям современной живописи. Нет издателя.

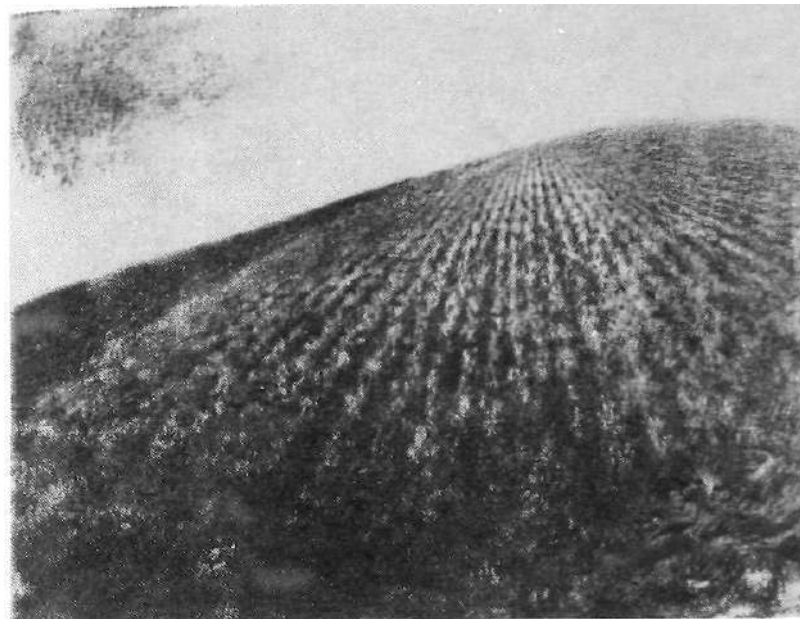
Лилия ПАНН



В. Я. Ситников. Фото К. Тетерятникова.



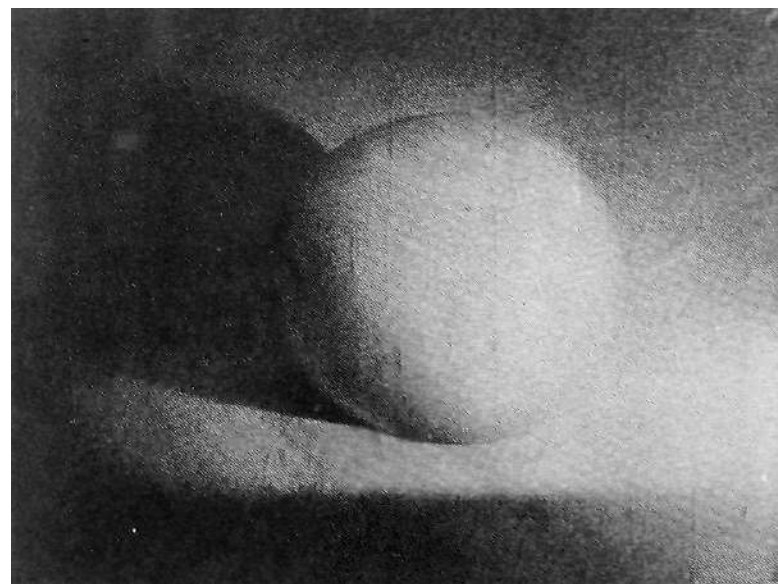
Песня жаворонка. 1960. Из коллекции Музея современного искусства.



Вспаханное поле. 1962. Из коллекции Музея совр. искусства.



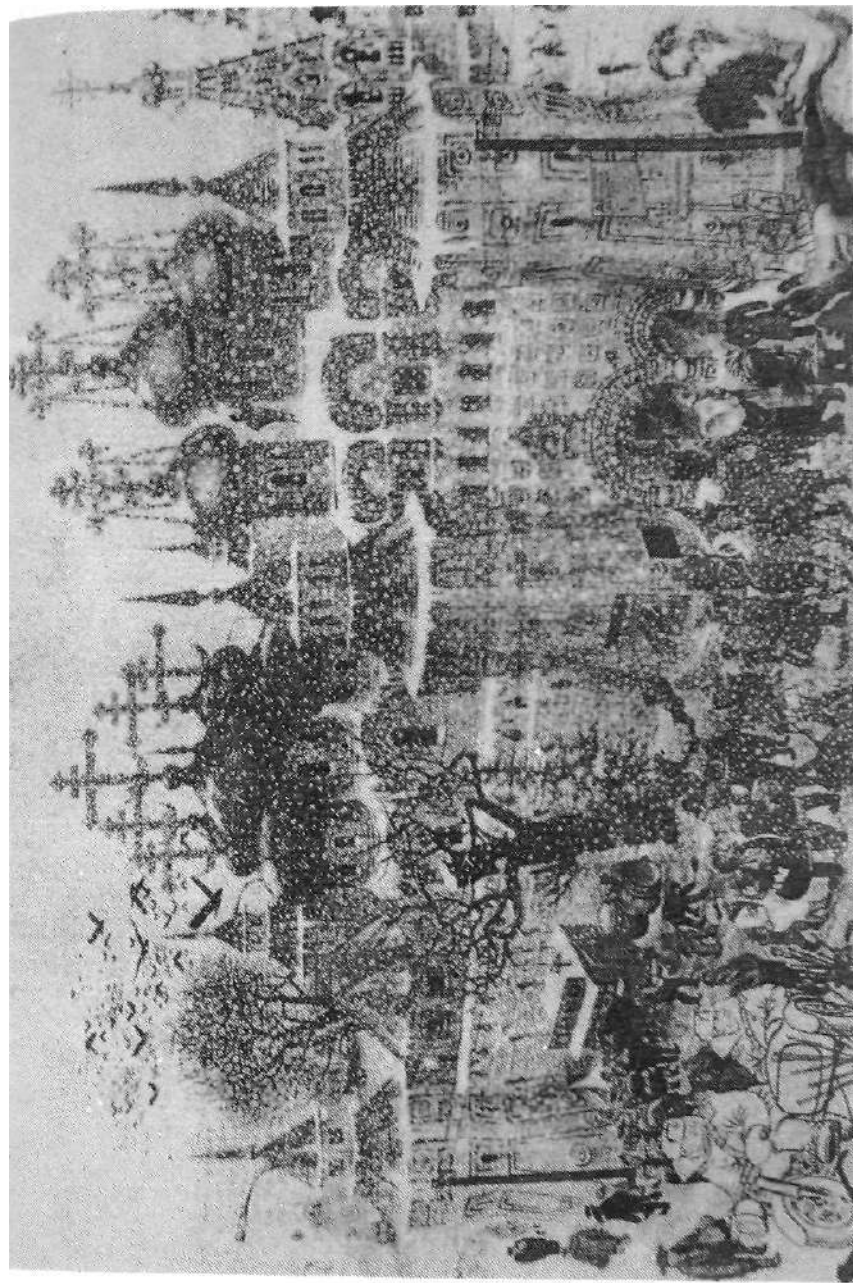
Менты. Фрагмент.



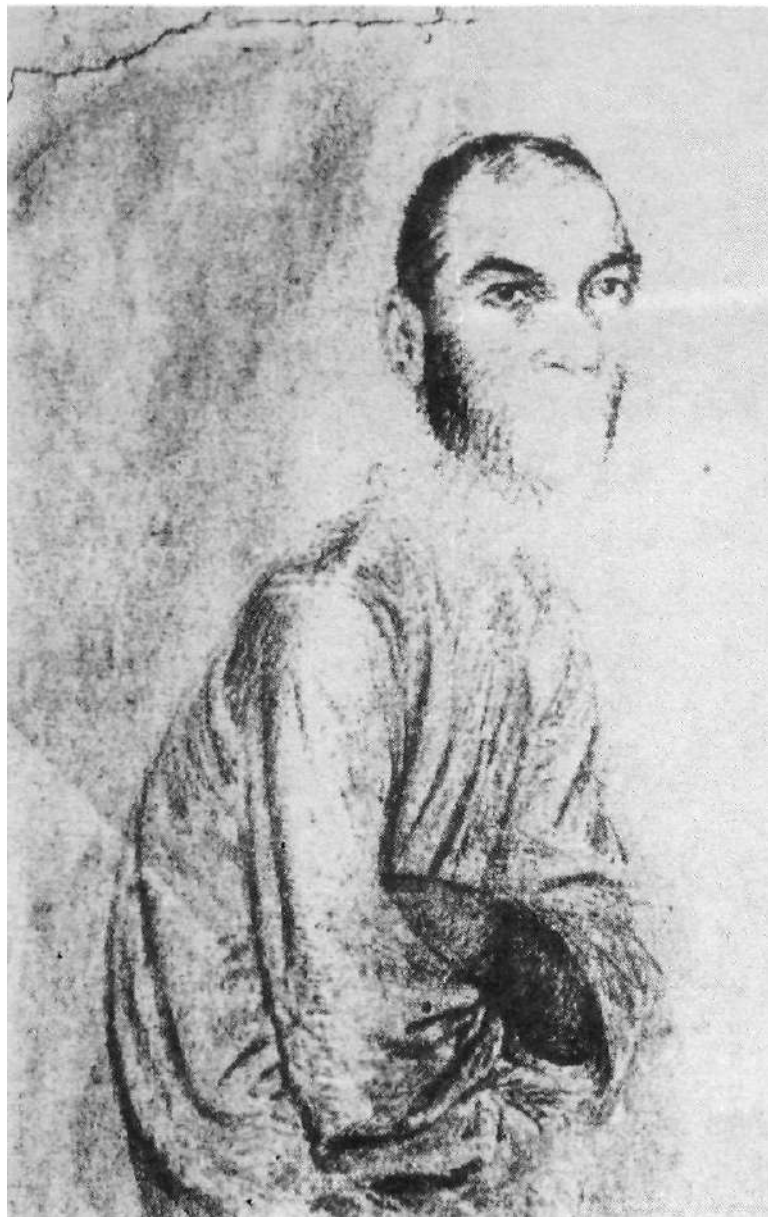
Урок рисования шара. Холст, масло.



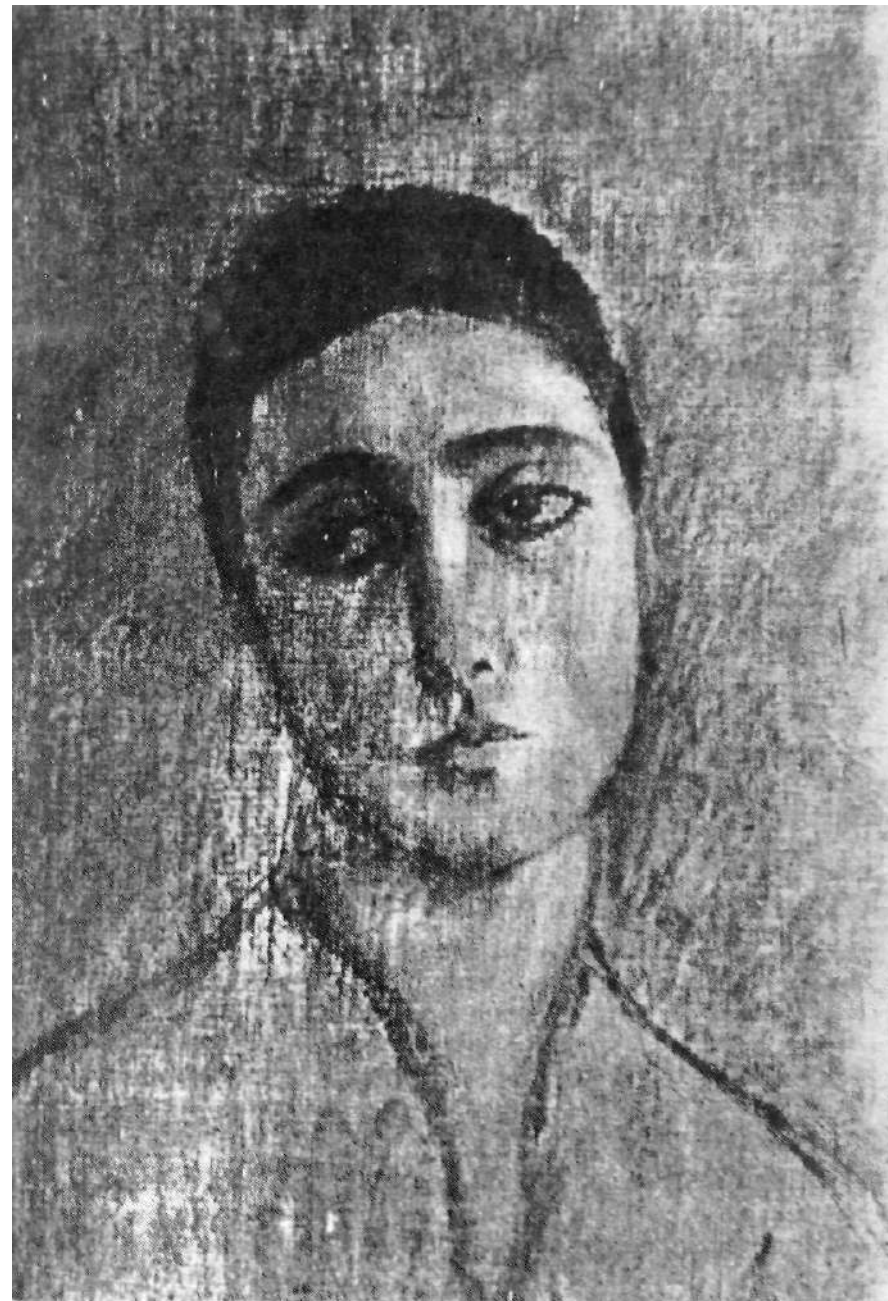
Цыгане.



Монастырь на Кудыкиной горе. 1972.



Писатель из спец-психбольницы.



Портрет психбольной.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. Журналист и писатель, с 1975 года главный редактор журнала «Время и мы». Родился и вырос в Москве. Окончил Московский Юридический институт и одновременно отделение журналистики Московского Полиграфического института. Был корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты «Труд», заведующим отделом информации и специальным корреспондентом «Литературной газеты». В 1973 году выехал в Израиль, там основал журнал «Время и мы». В 1980 году переехал в Соединенные Штаты, где и живет по настоящее время. На Западе выступал в газетах «Нью-Йорк Таймс», «Стампа», «Фиера Литтерариа», «Давар», «Русская мысль» и других. Автор книг «Покинутая Россия», удостоенной второй премии Иерусалимского университета, и «Театр абсурда».

ЮРИЙ АЙХЕНВАЛЬД. Родился в 1928 году. В 1933* году студентом Московского педагогического института им. Потемкина был арестован, получил 10 лет ссылки, а в 1955 году был реабилитирован. В 1957 году окончил Педагогический институт имени Ленина в Москве и до 1968 года работал в школе, откуда был вынужден уйти за то, что подписал письмо в защиту Гинзбурга и Галанскова. К этому времени уже выступал со статьями и рецензиями в московских газетах и журналах, а в театре «Современник» шла в его переводе героическая комедия Э. Ростана «Сирано де Бержерак». Начиная с 1973 года на Западе выходят: две книги стихов и прозы «На грани острой» и «Високосный год». В 1982 и 1984 гг. в США в издательстве «Чалидзе публейшн» было опубликовано двухтомное исследование Айхенвальда «Дон Кихот на русской почве». В СССР до последнего времени печатались только театроведческие работы, а сейчас начинают публиковаться стихи.

ПЕТР ВЕГИН. С 1989 года живет в США. Один из ярких представителей «левой» поэзии шестидесятников. В СССР выпустил 14 книг стихов (в том числе «Избранное»), занимался переводами поэтов Армении, Латвии, Украины. Его стихи переведены на многие языки, отдельными книгами вышли в Югославии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии. Публикуемые стихи взяты из новой книги «Блюзы для Бога». В настоящее время живет в Лос-Анджелесе.

ГРИГОРИЙ МАРК. Родился в 1941 году. По образованию математик. Начал печататься шесть лет назад, выступает на страницах многих русскоязычных журналов на Западе.

ЛЕВ НАВРОЗОВ. Родился и вырос в Москве. Переводил на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Андрея Платонова, Фазиля Искандера. В 1972 году эмигрировал в США, издал первую из семи своих книг, имеющих общее название «Воспитание Левы Наврозова:

жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией». Отрывки из этой книги печатались в журнале «Время и мы», там же были напечатаны эссе и статьи Льва Наврозова «Что знает западная разведка о России», «Посредственность и спасение Запада», «Запад выходит напрямую к гибели», «Где так вольно дышит человек» и другие. Свыше двадцати его статей вошли как официальные материалы в Протоколы Конгресса.

ЗАРА АБДУЛЛАЕВА. Родилась в Москве в 1951 году. В 1972 году закончила филфак МГУ. Тема ее кандидатской диссертации «Театр Чехова», регулярно выступает на страницах московских журналов: «Театр», «Искусство кино», «Вопросы литературы» и др.

ИРИНА МУРАВЬЕВА. Родилась в Москве в 1952 году. В 1973 году окончила филфак МГУ. Занималась переводами немецкой и англоязычной поэзии. Больше всего переводила Лонгфелло, Рильке, Фроста, Дикинсон. В 1985 году эмигрировала в США. На Западе постоянно выступает в русскоязычных журналах: «Континент», «Время и мы», «Грани», «Новый журнал» и др.

СОФИЯ ХЕНТОВА. Профессор Ленинградской консерватории, доктор искусствоведения, член Союза композиторов СССР. Родилась в Витебске. Окончила Ленинградскую консерваторию. Присуждена докторская степень за труды о Шостаковиче. Многолетнее близкое общение с Шостаковичем позволило Хентовой создать его фундаментальную двухтомную биографию, а также серию книг: Шостакович в Петрограде-Ленинграде, Шостакович в Москве, Шостакович на Украине и др. София Хентова — автор 33 книг о музыке, общий тираж которых достиг миллиона экземпляров.

*В 1949 арестован и сослан и в ссылке повторно арестован в 1951 г. См. Википедию. (Д. Т.)

Summary for the 112th issue of "Vremya i My" ("Time and We")

VIKTOR PERELMAN, "The Fall of Cesar" (chapters from a novel. A chronicle of the moral and psychological disintegration of an individual born in a totalitarian society and finding himself an emigre. The narrator is a Soviet journalist who has set out to tell the story of a successful Moscow writer caught in the wheels of the Soviet bureaucratic machine. The story of the character gradually turns into confession and mental self-torture for the writer. Through his subconscious, *the* novel attempts a Freudian analysis of a personality crushed by life.

YURI AIKHENVALD, "Everything — From Nowhere Into Nowhere." Modern poetry.

PYOTR VEGIN, "Blues for God." Modern poetry.

GRIGORI MARK, "Conquerors." Modern poetry.

CORAL BELL, "Toward a New World Order: USSR and NATO, Brothers Forever." The author, a *professor at the University of Sydney, attempts* a forecast of the geopolitical development of the world in the next decade. His hypothesis is that the Soviet Union will pursue further rapprochement with the West and enter the North Atlantic Treaty Organization.

LEV NAVROZOV, "The Hallucinating West." In a detailed analysis of the Western foreign policy establishment, the author dissects Western perception of Gorbachev and his policies.

IRINA MURAYOVA, "To replace Glasnost With Truth." An essay on the new film by Soviet director Stanislav Govorukhin, "This Is No Way to Live."

ZARA ABDULLAYEVA, "The Messiah in a Prizon Zone." An essay on the role of the filmmaker Andrey Tarkovsky and his work in the contemporary Soviet culture.

B. CONSTRICTOR, "The Night Breathed With the Ecstasy of Samizdat." The first attempt of a comprehensive survey of "Samizdat" underground periodicals in the Brezhnev era.

SOPHIA KHENTOVA, "Women in the Life of Shostakovich." The well-known Soviet music critic and Shostakovich biographer writes about the private life of the great modern composer.

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 16 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 111

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Oz, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605, USA

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и вышедшей в 1890-1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи энциклопедического словаря пойдет на закупку одноразовых шприцов и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненые золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание будет осуществлено в течение 1990-1994 гг. Стоимость одного тома 28 амер. дол. Пересылка в США и Канаду 99 центов за том, в другие страны мира 1 дол. 99 центов за том. Оплата подписки может производиться поточно по мере выхода книг в свет. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30-процентная скидка. Стоимость **ВСЕГО ИЗДАНИЯ** в этом случае составит 1600 дол. плюс 56 дол. (в США и Канаде) или 113 дол. (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес в СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton Centre, MA 02159, USA. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира, включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеназванные благотворительные цели.

НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»

МИХАИЛ КРЕПС

«ИНТЕРВЬЮ С ПТИЦЕЙ ФЕНИКС»,

142 стр.

Михаил Крепс — один из интереснейших и оригинальнейших поэтов русского Зарубежья. Его стихи печатают все ведущие русскоязычные журналы — «Континент», «Время и мы», «Новый журнал», «Стрелец», альманах «Встречи» и др.

Новый сборник отличается необычностью стиля и свежестью поэтического восприятия. Стихи сборника, весьма неожиданные и новаторские для русской поэтической традиции, вызвали оживленные дискуссии как среди специалистов-стиховедов, так и рядовых любителей поэзии.

Цена книги — 9 долларов

Пересылка за счет издательства

Заказы направлять по адресу:

В Европе:

Third Wave Publishing House
Chateau du Moulin de Senlis 91230,
Montgeron, France

В США:

Third Wave Publishing House
286 Barrow Street, Jersey City,
NJ 07302, USA

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА. АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД - ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ - ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

*Цена книги - 15 долларов.
Заказы и чеки высылать по адресу:*

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155**

**Александр Орлов
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

**...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...
...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...
...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...
...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...
...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...
...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...
...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...
...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...
...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...**

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

*Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов.
Пересылка - 1 доллар.*

Заказы и чеки посылайте по адресу:

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155**



**The largest independent
American Russian publication**

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издаётся с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. Половец

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ:

ГЛОБУС. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

ПУБЛИЦИСТИКА. В числе постоянных авторов газеты — обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шумин /Лос-Анджелес/, П. Вайль, А. Ганис, С. Доллатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыский /Нью-Йорк/, М. Лемхин /Сан-Франциско/, Д. Сванцкий /«Европейская хроника»/, В. Лазарис, Ю. Шаргородский, Э. Копельнович /Израиль/.

ЛИТЕРАТУРА. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юзе Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саша Соколова, Льева Халифа и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

ГОЛЛИВУД. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинематографе США и других стран.

ЮМОР. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

**«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.**

*Стоимость годовой подписки в США и Канаде — 33,00, полугодовой — 18,00 дол.
Для оформления подписки необходимо заполнить приводимый ниже купон и
выслать его в адрес издательства «Альманах»:*

ALMANACH, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-Панорама» на срок: 12 мес. /33,00 дол./
...6 мес. /18,00 дол./

В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки — 64,00 дол.

Чек /мани-ордер/ на сумму дол. прилагаю.
Газету прошу направлять по адресу:

Имя _____ Телефон: _____

Номер дома _____ Улица _____ Город _____ Штат _____ Зип-код _____



American
Russian
weekly

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ ВОЗНЕСЕНИЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

Первое независимое расследование зверского убийства подростка, донесшего на отца, и процесса создания из мальчика самого известного советского героя, проведенное через пятьдесят лет после трагических и загадочных событий московским писателем, который рискнул сопоставить официальный миф с историческими

документами и показаниями последних очевидцев

Правда о Павлике Морозове, официальном пионере-герое № 1, убитом кулаками, противниками колхоза за то, что мальчик разоблачил своего отца, врага советской власти, тщательно камуфлировалась в течение полувека. Писатель Юрий Дружников отправился в Сибирь, на родину Павлика, а затем объехал одиннадцать городов в поисках оставшихся в живых родственников, очевидцев, свидетелей. Он фотографировал места, людей, документы, сохранившиеся в частных архивах, и записывал показания свидетелей на пленку.

Оказалось, что герой-доносчик не был пионером, колхоза тоже не было. Сын донес на отца вовсе не ради советской власти. И убит мальчик был не кулаками. Их в деревне вообще не существовало. Автору книги удалось разыскать и сфотографировать подлинных убийц, нити от которых тянулись к начальнику Особого сектора личного секретариата Сталина.

264 стр., 75 фотографий, цена 6 дол.

**Книгу можно заказать в издательстве OPI
8, Queen Anne's Gardens, London W 4 1TU, England**

или в книжном деле

A. Neimanis

28 Bauerstrasse

8000 Munich 40, West Germany

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо в окрестности. — 12 долларов.
 М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
 А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
 К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.
 Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
 П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. - 10 долларов.
 А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.
 П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
 В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.
 Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Собоньская. — 5 долларов.
 А.РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
 И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. - 12 долларов
 В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. - 15 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.
 Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.
- Готовится к печати:
 В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимиемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE

LEONIA, NJ 07605, USA

Tel. (201) 592-6155

Цена книги 10 долларов.

В книге 254 стр.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу это — исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде, чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$18.

Заказы и чеки высылать по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605.

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1991

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA

TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на..год. Высылать с номера Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

.....

.....

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE:

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605
(201) 592-6155

Набор, монтаж и подготовка к печати выполнены компанией Design Forces. Тел. (201)333-8420.

OCR и вычитка — Давид Титиевский, сентябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.
На четвертой странице обложки рисунок Василия Ситникова.**

1984. XII. 15 Суббота посвящая Св.цу Александри Николаевны
и Владимир Гашица Александру в Гамбринденка.



Фследующий рас законьчу